

Л. РЖЕВСКИЙ

МЕЖДУ ДВУХ ЗВЕЗД



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

МЕЖДУ ДВУХ ЗВЕЗД

Л. РЖЕВСКИЙ

МЕЖДУ ДВУХ ЗВЕЗД



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1953

BETWEEN TWO STARS

by

L. RZHEVSKI

Copyright, 1953, by

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Часть первая.

ДУЛАГ ... НАДЦАТЫИ

1.

Девушка плакала. Теплые в уголках глаз слезы, пробегая по щекам, быстро остывали; отрываясь от подбородка, падали на шинель, на мшистую влажную прель под ногами, на хвойную засыпь землянки. Когда какая-нибудь из них, не успев скапнуть, скатывалась на шею, девушка зябко ежилась.

В лесу висела сизая мгла осеннего вечера. Пахло болотом, квелыми листьями. Невидимый, миллиардно-голосый гудел голодный комар. Где-то далеко, на нашей стороне, бухало каждые две-три минуты орудие. Раздирая воздух, с визгом проносился над головой другой комар, горячий, стальнопудовый, и немного спустя долетал издалика глухой шлепок разрыва. Последние еще различимые просветы между деревьями наливались тенями, как пузырьки чернилами, и исчезали. Мгла густела, наплывала на землянку, заглатывала ее со всех сторон.

Когда где-то, в чернильной глубине стволов и сумерок, хрустнули ветки и послышались шаги, девушка вздрогнула и еще больше сжалась в комочек. Из страха быть замеченной даже перестала дышать. Шаги приближались.

Устав вглядываться в темь, девушка осторожно перевела дыхание и вдруг всхлипнула. Судорожно, раз, другой, как это случается, когда долго плачут беззвучно.

Не будь этого всхлипывания, Заряжский не заметил бы ее, подойдя к землянке. Теперь же остановился, прислушался, вытащил из кармана маленький динамофонарик и зажужжал им.

Жидкий лучик света выхватил из мрака круглые в светлых чулках, прижатые к самому подбородку колени, нежный овал щеки с мокрыми дорожками слез.

Заряжский открыл было рот — задать вопрос, — но вспомнил тут же, что в ОРБ*) подобрались известные на всю дивизию донжуаны, и женщины в их землянках — не неожиданность, а быт. «Семейные неполадки — вот и точат слезу... Спрашивать — еще на неприятности нарвешься».

Он поймал потухающим лучиком невнятные ступеньки траншейки, спустился, откинул плащ-палатку, заменявшую дверь.

В землянке было темно. Пахло увядшими ветками, кожей и почему-то скверными парикмахерскими духами. Из угла летел храп.

— Командир дома? — спросил Заряжский в темноту.

Храп оборвался. В углу зашевелились:

— Кого это... чорт!.. Ах, это вы, товарищ начальник? — Голос из угла звучал в нос и слегка насмешливо. Хозяина его Заряжский узнал сразу. Это был помощник командира батальона, старший лейтенант Аристов. Потому ли, что Заряжский, младший по чину, был старше его по должности или по свойственному многим кадровым командирам пренебрежению к запасным, — Аристов разговаривал с ним всегда этим тоном легкой насмешки и называл «начальником».

— Подождите-ка маленько, — продолжал Аристов, шаря в карманах и шурша сухими листьями, — сейчас зажгу свечу. У нас темно, как...

Заряжский заранее угадал сравнение и поморщился: не любил этого низкорослого, с раскосыми помонгольски глазами и неизменно циничным жаргоном разведчика.

*) ОРБ — Отдельный разведывательный батальон.

— Комбат уехал осматривать переправу, — сообщил Аристов, чиркнув, наконец, спичку, и зажег прилепленный на ящик с гранатами огарок. — Ничего не попишешь. Сидим, как в мышеловке. Последнюю отдушину того и гляди прихлопнут, и, значит, влипли. — Он звучно шлепнул себя по колену. — Садитесь, товарищ начальник, вот сюда, а ящик вместо стола будет.

Заряжский опустился на кучу веток, сваленных во всю стену землянки. Другое такое же ложе устроено было и вдоль противоположной стенки. Огарок с обгрызенным фитилем светил скверно; однако, присмотревшись, Заряжский различил на этом втором ложе спавшую с головой под одеялом фигуру. Наружу торчали завернувшаяся кверху юбка и сапоги. Между сапогами и юбкой матово просвечивались сливочного цвета ляжки.

Аристов перехватил взгляд и усмехнулся.

— Ну, — спросил он, подтягивая ремень и усаживаясь поудобнее, — с чем пожаловали?

— Приказ на разведку. Срочно. В двух направлениях. Первое — на Красную Буду. Туда пошлете два броневика. Второе — на левом фланге... Карта у вас есть?

— Как бы не так! На всю дивизию дюжина их, не больше. Наши разведчики чутьем орудуют.

— Ну, все равно. Начерчу схему. — Заряжский примостил блокнот на ящик с огарком. Вычерчивая предполагаемую линию фронта и пути разведки, никак не мог отделаться от какого-то неприятного чувства неловкости и досады. Женщина под одеялом зашевелилась, подоткнув задравшуюся юбку. «Не спит. А другая сидит там, на холоде и плачет. Ну, публика!» Желтые, раскосые, слегка прищуренные глаза рядом неотрывно следили за движениями карандаша.

— Однако, вы насобачились! — взял Аристов схему. — Хоть сейчас в топографы. Ну, ну, я шучу, — оборвал он, увидев, что Заряжский нахмурился. — Шутю! Будет выполнено! Броневичков вот только по-

слать не могу. Комбат уехал на двух. Третий неисправный. Бросить, видать, придется. Пошлю конников... Не возражаете?

— Ваше дело. Сведения — немедленно, верховыми.

— А вы уж и сматываетесь? А я думал — хлопнем по стаканчику. Вишневка. Зверобой.

«Стаканчик вишневки было бы хорошо», — подумал Заряжский и сразу вдруг почувствовал каменную усталость. «Да вот — с Аристовым...»

— Вам бы не мешало, небось суток двое не спали.

— Трое, — вздохнул Заряжский. — Но не могу. Приказано тотчас вернуться.

— Ну, — поднялся и Аристов, зевая и потягиваясь, — выйдем вместе. Пойду до связного, приказанья отдавать.

— Что же вы связных на отшибе держите?

— А чтобы не путались под ногами, не мешали. Мы ведь тут не одни. — Вот сестра на попечении у комбата... Ничего, сам схожу. Любишь, говорится, кататься, люби и саночки возить.

— Там, на улице, у вас, кажется, еще одна сестра сидит, — сказал Заряжский, натягивая перчатки. — Эта на чьем попечении?

— На моем. Вот только не приручу никак. Позавчера прислали натертости лечить. Теперь хочет обратно, а санбат-то смылся. Несмышлениш еще, ц..., — процедил он сквозь зубы и задул свечу. — Ничего, работаем, будьте уверочки! — заключил он, откидывая полу палатки и выходя первым.

Циничное словечко по адресу «несмышлениша» резнуло слух. Захотелось взять маленького разведчика сзади за шиворот, тряхнуть крепко, с плеча. Речь шла, значит, вовсе не о «семейных неполадках»... В траншее Заряжский снова зажужжал фонариком и осветил скат у входа.

Девушка продолжала сидеть комочком. Испуганно посмотрела на них и отвернулась, зажмурившись, когда свет фонарика прыгнул ей на лицо. На берете

и рукавах шинели блестели маленькие капельки. В лесу стоял тихий шум частого, ровного, как сквозь сито падающего, дождя.

— Что ж, вы все так и сидите на одном месте? — спросил Заряжский. «Глупый вопрос!» тотчас же добавил он про себя.

Она молчала.

— Вымокнете и простудитесь. А в землянке тепло и сухо.

— В землянку я не хочу, — сказала девушка, вытягивая из-за обшлага платок и вытирая щеки. — До утра просижу здесь, а утром пойду искать санбат.

У нее был низкий грудной голос и чистый с чуть заметным распевцем выговор.

— Это трудно. Даже мы, в штабе, не знаем, где он сейчас находится. Покуда выяснится — не ночевать же вам под дождем.

— Всё равно, в землянку я не пойду... Потому что.. — В лучике света дрогнули и сжались крупные, мягко очерченные, детски пухлые губы.

«Господи, девочка совсем! И опять сейчас заплачет...».

— Беспольный разговор, товарищ начальник! — скрипнул откуда-то голос Аристов. — Обо всем уж говорено-переговорено. Капризничает сестричка. Пошли!

— Скажите, вы умеете верхом? — спросил Заряжский. — Конечно, — нет, никогда не ездили?

— Н-е-е-т!

— Не беда! До КП — до командного пункта дивизии — недалеко. Хотите, возьму вас с собой? У нас там связной от санбата. Как только установим, куда они переехали, отправлю вас с ним восвояси. Идет?

— Ох, конечно! Охотно...

— Есть у вас какие-нибудь вещи?

— Вот только сумочка. Санитарная. Легкая, пу-
стяки.

— Позвольте, однако, товарищ лейтенант, — вывернулся из темноты Аристов. — Протестую! Сестра

находится у нас, в нашем, так сказать, распоряжении. И..

— И раз она свое задание выполнила, то вольна теперь отправляться в распоряжение своей части. Пошли!

— Командир здесь я... И это не по уставу, — продолжал Аристов деревянно. — Я доложу комбату...

— А я командиру дивизии. Всего хорошего! Ждем, значит, донесений. Вы, сестра, идите за мной, я буду светить.

— Все-таки это ночной грабеж! — долетело уже вдогонку. — Ну, ничего, хоть раз начальник разведки явится на КП с каким ни на есть трофеем... Счастливо!

2.

До опушки, где остался вестовой с лошадьми, было несколько сот шагов. Но — петляли, пробираясь сквозь чащу, цепляясь шинелями за щетину сучьев, и раскатистым душем осыпались набухшие ветки. Жидкий свет фонарика захлебывался в плотном, как черничный кисель, мраке, помогал мало. Наконец, принеслось близкое пофыркиванье лошадей и треньканье мундштуков.

Селезнев, вестовой, дремал на корточках, прислонившись к дереву и зацепив за сапог концы поводьев.

— Живо вы справились, товарищ лейтенант, — сказал он, вскакивая и отряхиваясь, как пудель. — Вот мочит-то! Сейчас я вам плащ-палатку достану... Да вы никак не один?

— Вот именно. С сестрой. Палатку дай ей. Набросьте на плечи. Без возражений, прошу. У нас с Селезневым строго. Нас даже сестры слушаются.

— К нам на КП, сестричка?

— К нам. Езжай сам и бери мою в повод. А мы — пешком. А то сестра у нас потеряется. С дороги не собьешься?

— А раньше-то! — хмыкнул Селезнев, ощупью подтягивая стремяна.

— Вам на КП не приходилось бывать? — спросил Заряжский спутницу, когда они тронулись. Плечо девушки под плащ-палаткой касалось на ходу его плеча — она была высокого роста, — лица же в темноте не было видно.

— На КП? — Один раз, когда мы стояли совсем-совсем рядом. Я ходила туда с Руфью за медикаментами.

— С Руфью?

— Это тоже наша санбатовская сестра. Моя подруга. Она хирургическая сестра. Очень знающая. С медицинского факультета.

— Руфь... Необычное имя. Не русская?

— Она здешняя, из Минска.

— А вы тоже не из центральных областей родом. Западнее Москвы во всяком случае. Этак из Смоленщины. А?

— Верно, из-под Смоленска, — удивилась девушка. — Как это вы могли угадать?

— По выговору.

— Разве я не чисто по-русски говорю?

— Очень чисто. Но вот вместо «стояли» вы произнесли «стыяли». Я замечал, что многие смоленские так выговаривают.

— Сто-о-яли... — протянула девушка. — Как все-таки вы могли...

— Я филолог. Это моя специальность — разбираться в диалектах. Ну-с, подругу вашу зовут Руфью, а вас как?

— Милица.

— Тоже необычно. А по отчеству?

— Аркадьевна. Только меня еще так никто не звал.

— Редкое имя.

— Не люблю его... Знаете: некоторые прибавляют «и», и выходит...

— Милиция?.. Кретины! Нет, имя славное, славянское. Милое в нем налицо. Жаль, что хозяйку нельзя рассмотреть в потемках, — пошутил он и не увидел,

а почувствовал, что девушка покраснела. — Аристов во всяком случае нашел вас достойной внимания.

— Ах, он такой ужасный! Я так рада, что вырвалась оттуда, — она приподняла с плеч плащ-палатку и накинула ее на голову. Дождь усиливался.

«Нужно докладывать о ней на КП или нет? Кому? Комдиву, особенно если с ним будет Шальман, — нельзя. Вот кабы Савельеву, если не спит!» Савельев, так называемый комиссар штаба, был очень живой, вечно порхающий, как бабочка, и вечно говоривший молодой человек. Обязанности его при штабе были неясны. Он собирал материалы для стенгазеты, созывал комсомольские и партийные собрания, пытался даже организовать соцсоревнование. С тех пор как армия сидела в почти что наглухо затянутом мешке, — по притих и часами писал в толстом блокноте «дневник боевых действий дивизии». Может быть, как раз по этой малой своей занятости, любил, когда к нему обращались, и на просьбы был отзывчив. «Доложу Савельеву. Разбужу, если спать будет. Только бы на Шальмана не наткнуться!»

С комиссаром дивизии Шальманом у Заряжского с первой же встречи установилась натянутость. Когда он, назначенный на должность помощника начальника разведки и дивизионного переводчика, представлялся начальству, Шальман долго просматривал его бумаги и вдруг спросил: — Ну, а рукописные немецкие документы, если захватим, сможете перевести?

— Не знаю... Заранее не скажу.

— Как же так? А еще доцент! Чему же вас там учили, в аспирантурах?..

Неприятный разговор этот прекратил тогда командир дивизии — добродушный полковник, с астмой, еще из офицеров царской армии. Однако, с тех пор Шальман выслушивал доклады Заряжского неизменно с каким-то презрительно-недоверчивым видом, как бы сомневаясь в их точности.

«Что-то долго мы в одном направлении движемся. Всё — вдоль опушки. Этак и на немцев напорешься...» — Селезнев, придержи-ка коней! Ориентируемся...

Вытаскивая из залубневшей от дождя шинели компас, Заряжский вдруг снова почувствовал, как сильно устал. На стеклышко падали крупные дождевые капли, растекались и мешали смотреть, стрелка никак не хотела успокаиваться. Девушка тоже наклонилась к руке с компасом. Дождь с шумом барабанил по ее палатке. — Заблудились? — спросила она.

— Нет, — качнул он головой, тщетно удерживая прыгающий лучик фонарика на стрелке. — Но нам надо на северо-восток, а дорога эта идет...

— Сию минуту, товарищ лейтенант, должна здесь, на правую руку, просека образоваться, — крикнул Селезнев, наезжая из темноты на Заряжского и натягивая на себя повод до подбородка. — Вот увидите! этой просекой мы к са... самому КП...

Просека «образовалась» действительно скоро. Было это узкое лесное ущелье, по которому, как река, текла плотная черная мгла. Рифами торчали из нее невыкорчеванные пни. Фонарик выжимал бессильные капли света, от работы пружинкой ломило кисть. Девушка споткнулась.

— Дайте-ка руку, — сказал Заряжский. Крепко сжал эту мокрую от дождя с такой восхитительно мягкой кожей руку, и ему вдруг стало на самом деле досадно, что не мог разглядеть спутницу. «Завтра, верно, опять куда-нибудь ехать, так больше и не увидишься... Впрочем, не всё ли равно...»

Они шли, лавируя между пнями, настоящими и только почудившимися, и он улавливал за плечом ее дыхание, все более неровное. Подумал о привале, но вдруг шагах в двадцати от них звякнули затвором:

— Стой! Что пропуск?

— Козлов! Ты? — закричал Селезнев. — Свои, разведка! Видите, товарищ лейтенант, как раз на место попали! Теперь вот вправо, лесом. Шагов двести, не больше. Козлов! Куда тут с лошадьми податься?

— Валяйте на меня. Здесь тропка есть.

— Ну, теперь идите опять плотно за мной! — сказал Заряжский девушке, разглядев тропинку в лес. — Теперь скоро — дома...

**

Командный пункт дивизии был на пригорке, поросшем редким сосняком. Стоявшая здесь ранее, очевидно, саперная, часть вырыла множество землянок с жердяными стенками и легкими накатами из пахучих сосновых бревешек. Засыпанные рыжим хвойным настом, покрывавшим весь холм, землянки и днем не бросались в глаза, сейчас же Заряжский с большим трудом отыскал, наконец, свою — на отшибе, с лесной стороны холма. Смежную землянку занимал Савельев. Остальные вокруг пустовали. Землянка командира и комиссара дивизии помещалась на гребне.

— Ну, вот, — сказал Заряжский, нащупывая ногою ступеньку. — Эта должна быть свободна. Постойте-ка здесь минуточку, я обследую. — Он нырнул в черную расселину траншейки.

— Вот вам и квартира, — говорил он минуту спустя, укладывая вдоль стены наваленные у входа тяжелые немолоченные снопы. — Солома свежая, слышите, как пахнет? Сейчас принесу вам сухую палатку.

— Ах, не надо... — шепнула она про себя и потянула бессильно неподатливые крючки шинели. — «Как здесь тепло. И тихо».

— Вот палатка. Расстелите на соломе, ею же и накроетесь. Шинель — сверху, будет теплее. Во фляжке холодный чай. Здесь, в котелке, немножко сахара.

— Ой, зачем! Я ничего не хочу. Только спать, спать, спать...

— С водой у нас плохо. Пригодится. Фонарик вам тоже оставляю. У меня в землянке свечка. Умеете им действовать? Вот так... А теперь Милица, до свиданья. Спите. Если меня не ушлют с утра на целый день, — завтра увидимся.

— Спасибо вам...

— И вам тоже. За компанию. И если когда-нибудь снова пойдете в чужую часть на перевязки, — берите с собой эту вашу, как ее... Юдифь, что ли?

— Руфь! — засмеялась девушка теплым грудным смешком. — Руфь!

— Ну, Руфь. Спокойной ночи!

**
*

Савельева в землянке не было. Это значило, что он, по всей видимости, сидел у командира дивизии. «Не везет! — с досадой подумал Заряжский. — Придется при всех докладывать». Он постоял с минутой в нерешительности и медленно поднялся по скользкому насту на гребень. Отыскав командирскую землянку, постучал в досчатую дверь.

У командира дивизии, как и предполагал Заряжский, совещались. Помимо самого командира и Савельева, вокруг стола, укрытого огромными, как простыни, свисавшими до полу картами, сидели Шальман и подполковник Тераветисов, начальник штаба, с черными навывкате армянскими глазами и расстегнутой на волосатой груди рубахой. В землянке было тепло и накурено досиня. Должно быть от этого две больших оплывших свечи горели тускло и потрескивали, как кузнечики.

Когда Заряжский вошел, Шальман, оттопырив нижнюю губу и сопя, тыкал толстым красным карандашом в какую-то точку на карте, а Тераветисов что-то ему доказывал, как всегда горячась и размахивая руками.

— А, разведка! — сказал полковник, поворачиваясь всем корпусом к Заряжскому и тяжело дыша. — Ну, что делается в ОРБ? Передали приказ на разведку правого фланга?

— Будет выполнено, товарищ полковник. Только — без броневиков. Командир ОРБ с двумя броневиками уехал обследовать переправу.

— Разведывает тылы вместо противника, — усмехнулся Тераветисов.

— Гм... Сведения о переправе нам тоже не-об-хо-ди-мы, — с расстановкой произнес полковник, снова нагнувшись к карте. — Еще что-нибудь в связи с разведкой?

— Ничего, товарищ полковник. Из ОРБ я привез с собой сестру из нашего санбата. Она хотела...

— Это еще зачем? — перебил Шальман, отрываясь от карты и убирая нижнюю губу. — Сестру, на КП?

— Она хотела в свою часть, а в ОРБ не знают, где расположился санбат. Кроме того... — Заряжский запнулся. — В ОРБ с ней обходились не совсем по-товарищески...

— Все равно! Кто это дал вам такие полномочия? У нас, на КП, и без баб балласту достаточно. Если каждый...

— Эти ОРБ, в общем, сукины дети, — пришел Савельев на выручку. — Я до них давно добираюсь. Устраивают там... чорт знает что из своего командного пункта. Куда вы дели сестру?

— Поместил в пустой землянке, рядом с вашей.

— Все это не суть важно, — со свистом выдохнул командир дивизии. — На вас, лейтенант, у начальника штаба виды: поедете в 92-ую дивизию. Связь с ними уже вторые сутки отсутствует. Лично у генерала Синчука узнаете: что делает противник на его участке; получили ли они приказ на отход с боем; куда собираются отходить. Не по приказу, а фактически, в связи с наличными возможностями. Понятно?

— Понятно, товарищ полковник. Когда я должен ехать?

— Чем скорее, тем лучше. Сведения нужны мне в 8 утра.

— На обратном пути заезжайте в 88 полк, — добавил начальник штаба. — Какого чорта они там не наладят до сих пор телефонной связи!

— Есть, товарищ подполковник.

— Ему бы сперва отдохнуть, — вставил Савельев. — Третью ночь в разъездах.

— Гм... Сейчас одиннадцать. Ступайте спать до четырех. В четыре трогайтесь. Сведения мне — к 8.00. Можете идти!

— Да не хлопчите о коноводе и прочем... Прямо спать! — крикнул Савельев, когда Заряжский уже просунулся в низкую дверцу. — Я распоряджусь, вас разбудят!

— Спать, спать, спать! — повторял про себя Заряжский, спускаясь по пригорку и чувствуя, как ноют подгибающиеся колени. Чтобы не напороться на сучья, широко раскрывал незрячие теперь после света в землянке глаза, но налитые усталостью веки тянули вниз. «Что тяжелее: веки или шинель? Вот, кажется, моя берлога. Не попасть бы к той... Напугаешь... Итак, пять часов перерыва. Спать, спать, спать...»

**

Когда наутро Заряжский и Селезнев, продираясь с лошадьми в поводу через лес, выбрались, наконец, к опушке, — еще только начинало светать. Уже отойдя километра два от КП, услышали они на немецкой стороне глухие выбухи орудий и затем — на нашей — отчетливые отклики разрывов.

— Артиллерийскую подготовку начинают, — сказал Селезнев, прислушиваясь, и серые его глазки с блестящими живчиками по обочинам зрачков потухли и потемнели. — Как ударят теперь на нас с танками, — ну и аминь! Не унести ног. Нипочем. Ну, с чем мы — против танков? Противотанковые орудия, какие есть, — чорт их знает, где, за лесом, стоят. В 88-ом на весь полк четыре станковых пулемета и 200 человек бойцов. Как вы думаете, товарищ лейтенант?

«Вот ведь славный парень, и земляк (Селезнев был из рязанской деревеньки, смежной с их бывшим именем), — подумал Заряжский, — а не скажешь ему, что думаешь... Выучка!»

— Посмотрим! — ответил он уклончиво.

Вышли на опушку.

Лес, обрываясь, уходил далеко вправо, вбирая в себя заливом бесконечный некошенный луг... Дальше он снова тянулся на север высокой лиловой, как морской берег, грядкой. Там, где предполагало взойти солнце, над этой грядкой висело длинное, похожее на клюквенный пудинг, облако. Небо в этом месте таяло и светилось. Выше и на западе оно было мрачно и, как плащом-палаткой, затянуто тучами.

Прорезая луг наискось, к северо-востоку бежала широкая обрытая канавами дорога. Она исчезала, не добегая до дальнего леса, и там, где она исчезала, возникали синим по серому контуры поднятой над луковичными куполами колокольни и бугристые ребра крыш. Это была Меринка — деревня, за которой в лесу располагался КП 92-ой дивизии.

Заряжский вытащил из кармана пестрый кисет, свернул папироску и передал кисет Селезневу. — Смотри-ка — кивнул он в направлении деревни, — немцы дорогу обстреливают! — В самом деле, вслед за шлепками разрывов там и тут по обе стороны дороги взметывались и рассыпались темные земляные фонтанчики.

— Да они никак и деревню зажгли. От колокольни, два пальца вправо, — горит ведь!

Теперь светало с каждой минутой, и густой черный столб поднявшегося над крышами дыма был отчетливо виден.

— Хоть бы автомат был, — прищурился на зарево Селезнев, пыхая «козьей ножкой», — а то — случись что — и отбиться нечем. Ну, что вот она! — он стукнул по винтовке, — пять патронов! А у вас вовсе пистолетишко.

— Бутафорский, трофейное оружие. Не стреляет.

— Ну, вот видите. А ну, как в деревне уж немцы сидят...

— В Меринке? — Нет. Ее же они обстреливают... Докурим и двинемся. К восьми надо быть обратно да еще в полк заезжать...

Заряжский с удивлением чувствовал себя сегодня бодрее и жизнерадостнее, чем когда-либо. Пять часов сна так «выпрямили» его, или — и в этом он сам себе не хотел признаваться — сегодня в первый раз возвращение на КП не было ему так безразлично. «Вернуться, доложить о поездке, и потом — чтобы немножко свободного времени... Помыться, почиститься, поболтать... Да! Как это ни глупо — в тридцать пять лет водушеваться романтической встречей...»

— А я повару шепнул, чтоб он нашей вчерашней барышне позавтракать отнес! — сообщил вдруг Селезнев.

— Догадался он, что ли, о чем я думаю? — спросил сам себя Заряжский, косясь на вестового. Но Селезнев раздумчиво докуривал «козью ножку», и на простодушном его лице со вздернутым, оседланном веснушками носом нельзя было прочесть задней мысли.

— По коням! — швырнул Заряжский окурок и перекрестился мелким, невнятным крестиком (привык уж теперь, на фронте). — Прямо по дороге. Авось пронесет!

Они поскакали.

**

Подъезжая к деревне, еще издали увидели сбившиеся в кучу и поспешно выезжающие за околицу грузовики, застрявшую в вязкой кофейного цвета колее легковую машину, санитарные повозки, пробирающиеся к лесу огородами и ныряющие, как лодки, по грядам, бестолково суетившихся людей — все признаки захваченного врасплох тыла. В канавах у дороги лежали и сидели поодиночке и группами красноармейцы, — не то раненые, не то «спасающиеся». Услышав топот, они поднимали головы и с безразличным любопытством оглядывали Заряжского.

— Какой части? — спросил он одного.

— 92-ой дивизии, — нехотя ответил красноармеец.

— Из обоза, что ли?

— Почему обоза? Из полка. Сейчас все вместе: и обоз, и передовая.

Они рысью проехали горящую теперь уже в нескольких местах деревню и за околицей пустили коней галопом к лесу.

Вдоль опушки муравьями сновали серые шинели. Заваливали деревья, и почерневший по-осеннему лес оскаливался в поле желтыми, острыми, расщепленными комлями. Кое-где рыли окопы. Повременам люди, бросаясь навзничь, прилипали к земле; переждав разрыв, снова вскакивали и снова принимались судорожно работать топорами и лопатами. Немцы на этом участке, видимо, подошли близко и обстреливали окраину леса из минометов.

У опушки оба спешили, и Заряжский отправился один отыскивать командира 92 дивизии. Шел медленно, пробираясь сквозь мокрые заросли орешника, становясь иногда за толстые стволы деревьев, чтобы защититься от близко падающих мин. Пройдя шагов полтора, наткнулся на широкую поперек леса осушительную канаву.

— Где тут командный пункт дивизии, товарищ? — спросил он у какого-то маленького лейтенантика, сидевшего по-турецки прямо на глинистом дне канавы.

— Где командный пункт? Где генерал-майор — там и командный пункт.

— А где генерал-майор?

— А вон, на орудии, — кивнул лейтенантик куда-то на продолжение канавы.

Действительно, шагах в тридцати от них, на небольшой лужайке, стояло орудие. Рядом желтел глиной свежотрытый окопчик. В окопчике теснилось несколько штабных с блокнотами и картами. На орудии, за щитком, сидел командир дивизии, как можно было определить по красным на кожаном пальто отворотам.

— Действия немцев на нашем участке? — переспросил генерал, выслушав рапорт. — Передайте полковнику, что противник атаковал нас с поддержкой

танковых соединений. Сейчас организуем временную оборону, к вечеру начнем отходить. Когда именно? Когда сможем обеспечить плановый отход. Куда? Скажите, что указанные в приказе переправы № 1 и № 2 уже заняты противником. Остается одна переправа — Щебень. Туда и будем двигаться. Всё. Вы сюда на машине или верхом? — спросил генерал каким-то совсем другим, простым и усталым тоном, посмотрев на Заряжского.

— Верхом, товарищ генерал-майор.

— Это хорошо, потому что дорогу немцы все время... Ложись! — вдруг закричал генерал таким мощным голосом, что Заряжский вздрогнул.

Он едва успел соскользнуть в окопчик, как шагах в десяти гулко шлепнулась мина и разорвалась, осыпав всех мокрым глиноземом.

— Вот как у нас, — видите! — сказал генерал, когда Заряжский, вытирая испачканные глиной руки, выбрался из окопчика. — Так и передайте. Счастливо добраться!

**
*

На обратном пути миновали дорогу, которая теперь, по выражению Селезнева, «очень уж обстоятельно» обстреливалась немцами. Дали крюку и, когда добрались до 88 полка, было уже 8 часов.

Заряжскому удалось, растормошив сонных телеграфистов, наладить связь со штабом дивизии, и он сообщил о результатах поездки по телефону.

— Сидите теперь там, — прокричал ему в трубку начальник штаба, — пока не соберете на месте сведений о противнике. Должен же я в конце концов знать, что у них там перед носом делается!

«Перед носом» 88-го, т. е. на протяжении по крайней мере километра обороны по фронту, стояло уже несколько дней затишье. Было ли это «затишье перед бурей», как опасались в штабе, — требовалось выяснить.

— Безнадежное дело, — вздохнул Яша Гольцман, лейтенант из штабных, совсем еще мальчик, со суч-

ными черными глазами и нежным цветом лица. — Ну, какая разведка днем и на открытой почти местности? Люди будут только номер отбивать. А? Как вы сами думаете?

— Приказано. Значит, нужно выполнять. Ну, а помимо всего прочего, положение такое, что и случайные наблюдения пригодятся. На правом фланге бой, вы ведь слышите...

— В мешке сидим... А? — понизив голос, почти шепотом спросил Яша, и в больших глазах его шевельнулся испуг. — Вы скажите, я ведь никому... честное комсомольское между нами! — совсем уже по-ребячьи заключил он.

— В мешке — не в мешке, но около этого. Ничего, выскочим как-нибудь. Но бегите, Яша, бегите, организуйте там...

«Здесь, пожалуй, и до вечера провозишься», — с досадой думал Заряжский, оставшись один. Обогнул одинокую хатку, где помещался штаб полка, и уселся на скользких замшелых бревнах, сваленных у расползающегося плетня. «Подожду тут, благо погода, кажется, разгуливается». Затягивавшая горизонт плащ-палатка в самом деле расползлась уже в нескольких местах. В прорехах, как в полыньях, плескалось глубокое небо. Яркий свет резнул Заряжскому глаза. Он прислонился спиной к плетню и зажмурился.

**

Со сбором сведений провозились до после-обеда, и с каждым часом ожидания досада Заряжского усиливалась. Подытоживая донесения, он даже два оборвал и без того печального Гольцмана за ненужные повторения. В итоге выходило, что передвижений пехоты у немцев не наблюдалось и, значит, перед окопами 88-го полка сидело все то же количество противника — примерно, в один батальон. Из донесений, однако, следовало, что в ближнем немецком тылу заползали теперь танки, о которых раньше не было слышно. Почти везде упоминалось о «гуле моторов», замеченном особенно в последнюю ночь. Вообще го-

воя, этот «гул моторов» был излюбленной отпиской разведчиков, формулой словонаполнения, так сказать. Но настойчивость, с которой о нем повторялось сегодня, заслуживала внимания.

«Можно было про этот «гул моторов» передать и по телефону, — думал Заряжский, садясь на лошадь. — Или в крайнем случае послать связного. Сколько времени ухлопал! А часов в шесть будем, наверно, сматываться».

Он прислушался. Канонада на правом фланге утихла. Теперь где-то далеко, в глубине нашего расположения, то захлебываясь и притихая, то вскипая и ожесточаясь вновь, — разговаривали пулеметы. Солнце, которое к полудню утвердилось было на почти безоблачном небе, снова скатывалось в какие-то рыхлые, как дым, расплзающиеся облака.

«Да... вот тебе и помылся, почистился, поболтал... Впрочем, может быть, Савельев уже услад девушку в санбат. Если связь установилась...».

— Может, барышня наша уже восвоеси отправилась, — сказал вдруг Селезнев, поворачиваясь всем корпусом в седле и глядя на Заряжского серыми поблескивающими глазками. — Если связного прислали...

— Увидим! — подстегнул Заряжский кобылку, обгоняя вестового. «Что, в самом деле, в мыслях он у меня ночует, что ли?» — снова мелькнуло у него в голове.

**
*

— В 18.00 отходим! — сказал начальник штаба, значительно взглянув на Заряжского влажными выпуклыми глазами. — Вам, думаю, придется проехать в ОРБ через час-полтора. Что? Неприятно? Ничего не поделаешь, эти мошенники опять не дают о себе знать. Пока что — отдыхайте.

«Ну, хоть час в моем распоряжении!» — обрадованно подумал Заряжский, вынырнув из командирской траншейки. Крупно зашагал по гребню, разминая щекотную резиновую усталость в ногах от верхов-

вой езды. Час этот казался ему теперь очень важным, значительным. «И всё — потому, что где-то здесь — девушка, которую почти не знаю, не разглядел даже давеча хорошенько, которую...» — Толпа пушистых сосенок в дымчатых подвесках осенней паутины загродила ему путь: прозевал тропинку. «Которую...» — продолжал он, растолкав сосны, и — не договорил, потому что, взглянув вниз, увидел эту «которую».

Она сидела спиной к нему, у входа в землянку, в жидких брызгах позднего остывающего солнца. Из-за ската землянки видны были только ее голова и плечи. Толстые жгуты кос, темные и пушистые, короной лежали вокруг головы. Оранжево-красные лучи делали их бронзовыми и по краям — светящимися.

Услышав за спиной хруст веток, она повернула голову и улыбнулась ему. По тому, как она улыбнулась, он понял, что она его узнала.

«Странно, — подумал он. — Ведь вчера разглядеть лица не было никакой возможности. Впрочем, я тоже всегда узнал бы ее. Из многих... По губам. Какой в самом деле удивительный рисунок! Брови строгие, почти сходятся... А глаза черные... нет, серые.

— Здравствуйте, Милица. А я боялся, что вы меня не узнаете после вчерашних потемок. Думал — представляться придется.

— Нет, что вы... Я как только увидела...

«Как хорошо она улыбается! — И когда улыбается — ямочки. Это вообще банально — ямочки, а у нее — хорошо. Таким надо бы приказать никогда не переставать улыбаться.»

— Что вы меня так разглядываете? — смутилась девушка, и розовые наливки щек подползли под самые ресницы, став пунцовыми. — Садитесь...

— Так еще вчера положено было, чтобы как следует разглядеть. Теперь я вижу, что Аристов, действительно, имел основания беситься.

— Ах, не будем об этом! Расскажите лучше про вашу поездку. Этот комиссар говорил, что вы ездили в самое опасное место. В самый бой. Правда?

— Савельев? Он был у вас?

— Несколько раз. Приносил есть. Кашу. Рассказывал разное. Он хороший...

— Гм!.. Кстати, насчет каши. Это ведь было давно. Сейчас вы, верно, опять голодны?

— Нет, что вы!

Заряжский принес из своей землянки начатую консервную банку, завернутые в газету галеты и чайную ложечку. Сел рядом, расстелив на коленях газету.

— Действуйте вот этой ложечкой... Из Москвы. Единственное, что осталось из дома, все остальное растерял. Сам я буду ножом.

— Да ведь я, право же, совсем, совсем сыта.

— Все равно, подкрепляйтесь. Через полтора часа снимаемся отсюда. Когда и где остановимся — Бог ведает. Берите сами галеты. Руки у меня грязные, но жаль времени мыться. Начальник штаба угрожал снова услатить по делу, а мне хочется поболтать с вами как следует.

— Снова ехать? Вы ведь только-только вернулись.

— К вашим знакомым. В ОРБ. Вы здесь тронетесь уже без меня. Увидимся, значит, в лучшем случае завтра. А если поймаете по дороге свой санбат, то и вовсе, Бог весть, когда.

— Ах, это было бы так чудесно! То есть я хочу сказать, если бы мне удалось найти своих... А вы тогда приехали бы к нам в гости.

Ложечкой она укладывала на галету коричневатые ломтики консервов и, поднося ко рту, подбирала их губами.

«У нее большие руки, — подумал Заряжский. — А пальцы красивые: длинные и нежные». — А вы хотели бы, чтобы я к вам приехал?

— Очень. — Я вам так благодарна. За вчерашнее.

— Не стоит.

Разговорились. Заряжскому нравилась простота, с которой она отвечала на вопросы. Без всякой натянутости, с готовностью и простодушием большого ребенка. Как попала она в санбат? — Очень просто. Окончила десятилетку. Поступила на курсы медицин-

ских сестер. — Родители? О, они, конечно, были против. Особенно отец. Он уже около года тяжело болен. Но она и сама не думала, что так выйдет. То есть, что придется отправляться на фронт. Она рассчитывала работать в областном городе, в одном из лазаретов. Ее и еще нескольких подруг мобилизовали. По комсомольской линии.

— Так вы, значит, комсомолка?

— Да, — ответила она и почему-то опять покраснела.

**
*

Консервы кончились. Оранжевые блики давно уже отползли и растаяли. Заряжский швырнул в кусты пустую консервную банку и в десятый раз посмотрел на часы, ожидая вызова. — Неужто меня помиловали? — Вот было бы отлично! Мы могли бы тогда... — Он вдруг замолчал и прислушался.

Откуда-то из-за леса, с той стороны его, куда недавно сползло солнце, возник густой, сразу проглотивший закатную тишину гул. Гул этот с каждой секундой креп, ширился и надвигался ближе. Это не были самолеты — гул стелился понизу, и лесная заплетенная корнями, как ребрами, почва, казалось, вторила этому гулу, подрагивала и ныла, как рельсы под набегающим поездом. «Гул моторов» — вспомнил Заряжский навязчивый пункт утренних донесений и внезапно почувствовал страх. Сделал было несколько шагов вниз, чтобы выйти на полянку и получше прислушаться, как вдруг совсем близко, как показалось ему, за самым краем этой полянки, треснул выстрел, плотный, округлый, как будто бы кто-то рядом швырнул о камень громадную электрическую лампочку. Еще две таких же лампочки лопнули где-то немного подальше, за северным скатом холма. Через секунду выстрелы забухали сразу в нескольких местах, короткими цепочками, через правильные, выдержанные миги, как гигантский, горластый, ленивый пулемет.

Заряжский повернул назад, затягивая находу пояс.

— Что это? — спросила она с немигающими глазами.

— Скорее в бункер! Одевайтесь, возьмите сумку... Будьте готовы! Я сейчас...

Ему понадобилось не больше минуты, чтобы рассовать по карманам разбросанные в землянке вещи; а когда снова выбежал наверх, сонный только что КП трясло, как в лихорадке. Повсюду с белыми лицами выскакивали из траншеек люди; находу пристегивали снаряжение, бежали, одни — наверх, к командирскому бункеру, другие — к низине, где в ельнике, замаскированные ветками, стояли штабные машины. Кое-кто, не добежав до цели, поворачивал назад; ныряя под землю, схватывал оставленные в землянке вещи — портфели, сумки, карты, связки гранат, коробки с консервами. Кто-то, стоя на коленях, трясущимися руками поджигал выброшенный наспех ворох бумаг, которые никак не хотели загораться. Сверху долетали обрывки приказаний, снизу — брань и всхрипыванье запускаемых моторов. Одна из легковых машин, оглушительно захлебываясь газом, сорвалась с места и, лавируя в ельнике, зарулила в лес. За ней тронулся какой-то грузовой фордик, увязая в сыром хвойном насте и буксуя колесами.

— Что же это такое? — снова спросила Милица, — уже в шинели, с сумкой через плечо, когда Заряжский подбежал к ней от своего бункера.

— Танки. Стреляют — это автоматические пушки. Нам лучше уходить пешком, через лес. Безопаснее.

— Чего же вы стоите? — закричал, набегая на них, Савельев, в шинели нараспашку, с полдюжиной растопыренных веером бутылок в руках. — Живо сматывайтесь! Нас же атакуют! Возьмите по бутылке! Целить по щелям! — Он проворно спустил две бутылки на землю. — Не забудьте, — прокричал он через плечо, вприпрыжку направляясь к дрожащим в ельнике машинам: — сборный пункт за болотом. Северо-восточнее холма 5 километров!

— Пошли, Милица! — крикнул Заряжский: треск выстрелов теперь уже решительно заглушал голоса. — Сюда, сюда! Давайте руку!

Они сбежали с холма, пересекли плохо наезженную лесную дорогу и врылись в чащу.

4.

Шли быстро, насколько позволяли корни, низкие поземные ветви и заросли орешника. Молчали. Заряжский напряженно, всей кожей, прислушивался к грохоту за спиной, боясь шального догоняющего снаряда. Грохот, однако, все труднее и труднее проникал в чащу — они уходили от него.

Пройдя с полчаса, Заряжский облегченно вздохнул и вытащил из кармана компас.

— Теперь ничего. Выберемся как-нибудь. Испугались?

— Очень, — шепнула она, и ямочки едва-едва обозначились на посеревших щеках. — Почему мы одни? Где все остальные?

— Каждый спасается сам по себе. Многие — на машинах. По дороге. Мы тоже — вдоль дороги, только вправо. Пойдем теперь медленнее, чтобы вы не устали.

— Ничего... Так это были танки? Боже мой, какой ужас!

— Пока что они нам уж не страшны. Слышите: угомонилось.

Гул, в самом деле, улегся. Выстрелы прекратились так же вдруг, как и возникли. В лесу стало тихо. Только изредка, теперь уже спереди, доносились далекие всхлипывания моторов.

— Наши машины! — прислушался Заряжский. — Встретимся с ними на сборном пункте.

Постепенно лес стал редеть. Хвойный наст сменился кочками, обросшими, как небритые подбородки, пучками порыжелой травы. Под ногами захлюпало. В стороне, между деревьями, блеснула вода.

— Болото! Идите осторожнее, по моим следам! — сказал Заряжский и вдруг провалился ногой в какую-то жидкую расселину между кочками. Милица вскрикнула.

— Не беда! — засмеялся он и, упершись противотанковой бутылкой в кочку, вытянул увязнувший сапог. — К чему, однако, мы тащим с собой эту опасную дрянь! — Давайте-ка сюда и вашу. Вот так!

— Для чего нам их дали? — спросила Милица, когда бутылки одна за другой, хлюпнув, нырнули в воду.

— Для истребления танков! Новое изобретение. Вроде соли, которую стоит только насыпать на хвост, чтобы изловить любое животное. Наступайте только на кочки! Теперь уж недалеко. Лес кончается и, кажется, я слышу голоса.

Вскоре они вышли на узкую полянку, врезающуюся полуостровком в лесной косяк. Вправо на поляне бежала дорога, уходя куда-то в безлесную даль. Сумерки уже заполоскались в воздухе, налипая тенями на влажную траву. Поляна копошилась силуэтами. С полсотни серых шинелей стояло, лежало и сидело вдоль опушки. На дороге, впритык друг к другу, сгрудились с дюжину грузовиков, две-три легковых машины, броневичок, легкое орудие на конной тяге, несколько оседланных лошадей. Люди говорили вполголоса. Моторы были выключены. Особняком стояла группа командиров во главе с начальником штаба Тераветисовым, которого сразу можно было узнать по оживленной жестикуляции.

— Подождите, Милица, минуточку у этого грузовика. Я сейчас...

— А, разведка! Разведка! — закричал начальник штаба, увидев подходившего Заряжского. — Как раз во-время! Мы с полком двигаемся к переправе лесом. Па-анимаешь? (Возбуждаясь, Тераветисов всегда переходил «на ты» и начинал говорить с акцентом). А ты поведешь колонну. Сорок километров. Довести во что бы то ни стало! До наступления ночи. Отвечаешь за нее головой. Па-анимаешь?

Поручение было Заряжскому не по душе: не терпел грузовиков с их оглушительными выхлопами, какими-то вечно перегорающими пробками и перегревающимися радиаторами. Пробиваться теперь к переправе с этой массой громыхающих цепями, застревающих в каждой глубокой колее колес — казалось несчастьем. Делать, однако, было нечего.

— Есть, товарищ подполковник. А маршрут?

— Первомайская, Константиновка и Щебень — переправа. Двигаться осторожно. Выслать дозоры. В голове — броневик. — Эй, в броневике! Кто там есть?

Похожая на берет крышка башенки поползла вверх, в черной щели мелькнуло лицо.

— Старший лейтенант Аристов. Я вас слушаю, товарищ подполковник.

«Только этого прохвоста недоставало», — с досадой подумал Заряжский.

— Аристов! Поедешь в голове на переправу. Начальник колонны — Заряжский. Па-анимаешь?

— Есть, товарищ подполковник!

— Прикажете трогаться?

— Езжайте! И помни: головой отвечаешь! — Начальник штаба помахал перед носом Заряжского расползающейся картой и отвернулся к штабным.

— Заводить! — крикнул Заряжский к машинам. И тотчас же разлитая по поляне тишина взорвалась нестерпимым треском моторов, утроенным отскакивающим с обеих сторон от леса эхо.

— Товарищ лейтенант, мне с вами или с полком? — тронул за рукав откуда-то вывернувшийся Селезнев.

— Селезнев! — обрадовался Заряжский. — Поедем, братец, со мной. Отдай лошадей в колонну, будешь для связи, а то мне одному с этими чортовыми таратайками не справиться.

— Есть, товарищ лейтенант! — ответил Селезнев без воодушевления.

Отыскав Милицу, Заряжский подвел ее к маленькой легковой машине начальника штаба. Шофер, низ-

корослый веснучатый парень с наглым обычно, а теперь испуганным лицом с готовностью распахнул дверцу.

— А вы? — спросила Милица, утонув в пружинном углу.

— Я должен — в колонне. Если налажу всё, подяду к вам. Поедешь все время в затылок броневика. Ни отставать, ни в сторону. Понятно?

— Понятно, — кивнул шофер и потянул за пуговку газа.

— Трогай! — крикнул Заряжский, вскакивая на подножку грузовика. — Пошел!

Броневик фыркнул и медленно выполз на дорогу. Колонна заревела и тронулась.

**
*

Первомайскую проехали. За околицей остановились: полевая дорога раскалывалась здесь натрое и разбегалась веером, как рельсы на железнодорожном разъезде. Привели откуда-то старика с бородой Сусанина и посадили на переносицу броневика, чтобы указывал дорогу. Тронулись. На фоне за вечеревшего зеленоватого неба очертания головы с развевающейся бородой над башенкой казались кадром из сказочного фильма и одновременно подчеркивали тревожную ненадежность действительности. Проехав с четверть часа на подножке, Заряжский приказал Селезневу остановить колонну, когда покажется Константиновка, и, пробежавши вперед, догнал легковую машину.

— Ну, как, Милица? Заснули? Или очень трясет?

— Нет, что вы... Здесь так удобно. Я готова целую вечность так ехать.

— Я тоже, — вздохнул Заряжский и тотчас же почти пожалел, что сел. Прихлопнутый дверцей, почти неслышно рокотал здесь моторный рев. Уютно обнял пружинный полумрак. И это тепло — как оно ощущалось! — живое тепло и дыхание рядом. — Все вместе расслабляло, лишало воли. Ему вдруг судорожно захотелось ощутить это струящееся справа теп-

ло ближе. Коснуться ее... Только коснуться, и сейчас же — опять прочь, в грохот.

— Хотите галет? вместо семечек... — спросил он, вытянув из кармана сверток.

Она не успела ответить: крепким рывком подкинуло на ухабе сиденье, и он, сам не зная, нечаянно ли, очутился к ней ближе, коснулся рукой ее бедра, и тепло, включившись, стало горячим, как душ, окатило всего и хлынуло в грудь...

— Возьмите же галеты, мне они только мешают...

Она сказала «спасибо», взяла сверток и отодвинулась, — и стало холодно.

Заряжский тоскливо свернул папиросу, затянулся. Чуть приспустив овал окошечка, выдохнул дым, но в щель потек такой оглушительный грохот, что он снова поспешно крутанул рукоятку.

— Умеете вы плавать? — спросил он.

— О, да! Даже однажды взяла приз на соревнованиях. В десятом классе еще. А почему вы...

— Едем на переправу. Вдруг окажется занятой. Придется, может быть, вплавь. Ну, да река здесь не широкая.

Проехали еще минут с десять. Машина остановилась.

— Деревня, товарищ лейтенант!

— Вот вам и Константиновка, — прошамкал, сползая с броневишка, старик. — Теперь вы меня, ребята, отпускайте с Богом. Вы — на колесах, а мне верст восемь топать...

— Спасибо, дедок, за проводы.

— Не стоит. Счастливо вам!

Выключили моторы. После треска и грохота наступила снова почти невозможная тишина. Внизу, в километре, лежала деревня, утонув, как в перине, лиловыми крышами в белесом поднимающемся из лощины тумане. Чем-то враждебным веяло на Заряжского это как будто затаившее что-то спокойствие.

— Чорт возьми! — вполголоса сказал он Селезневу. — А ну, как там немцы.

— Наши связисты, товарищ лейтенант, рассказывали: они здесь где-то кабель тянули. Связь. Если кабель найти, можно со штабом армии связаться. Он, должно, давно уже за реку махнул, штаб-то. Обстановку там знают.

— Пускай попробуют, — оживился Заряжский, в который раз дивясь этой исключительной способности русского солдата находить выходы. — Только вряд ли удастся.

Берет на броневой башенке пополз вверх. Мягко, как кошка, выпрыгнул из броневика Аристов.

— Вы мне разрешите, товарищ начальник, — как всегда насмешливо сказал он, подходя к дверце машины и заглядывая внутрь, — разрешите воспользоваться вашей лошастью. Растрясло до чорта. И душно. Поразмяться хочется. — Он снова наклонился к окошечку.

— В машине у меня лошади нет. Она — в колонне. И — как же без вас с броневиком?

— Там наш сержант из ОРБ сидит. Надежный. Карты же и у меня все равно нет. Так что я выхожу для мебели. Так, значит, можно?

— Возьмите у Селезнева.

К удивлению Заряжского связисты разыскали-таки провод и установили связь. Он с трудом различил стоящий на жнивье ящик полевого телефона и мокрую от росы трубку, которую совал ему в руку связист.

— Двигаетесь на Константиновку? — спросили откуда-то с другого конца провода. — Константиновка еще днем занята немцами. Что? Щебень? — Там идет бой. Что делать? Выходить к реке южнее. Вам лучше бы...» На этом месте связь оборвалась и восстановить ее не удалось, несмотря на все хлопоты телефонистов.

**
*

Колонна ползла теперь, в обход Константиновки, по голому вздыбленному к горизонту скату жнивья. Из-за дальнего среза ската навстречу ей выкатыва-

лась в небо, постепенно бледнея и уменьшаясь, шафранно-красного цвета луна.

Стоя на подножке, Заряжский нетерпеливо ждал, когда идущий в голове броневик выползет на гребень. «Что там за гребнем? Снова поле? Деревня? Лес? — лес, пожалуй, было бы лучше всего», — думал он, укладывая на циферблат прыгающую стрелку ком-паса...

Наконец, броневик клюнул носом и пополз вниз. За гребнем, на который выползла теперь колонна, лежала зажатая между двух бугров лощина. Слева она скатывалась вниз, расплываясь воронкой, и здесь пересекал ее ручей с заболоченными берегами, местами — в осоке, местами в зарослях ивняка и осинника. За ручьем снова поднимался бугор с синей грядкой леса на вершине.

Броневик остановился, выбирая направление. Заряжский подбежал было к нему, чтобы приказать двигаться напрямик, как вдруг за противоположным гребнем лощины затрещали выстрелы.

Моторы один за другим глохли теперь уже без приказаний. Голова колонны замерла, только в хвосте попрежнему лязгало и грохотало.

— О чем они думают там! — крикнул через плечо Заряжский. — Выключать!

— Да к нам, товарищ лейтенант, — сказал, подбегая, Селезнев, — больно уж много чужих пристроилось. Откуда только взялись. Вот посмотрите!

Заряжский шагнул в сторону, обернулся и ахнул: вместо дюжины дивизионных машин, сзади тянулась теперь по крайней мере сотня самых разнообразных сооружений на колесах. Тут были и какие-то разла-тые тяжело груженные, крытые брезентом кузова, и огромные нелепые ящики на колесах, («лазарет какой-нибудь»), и походные ощерившиеся трубами кухни, и легковые машины. В самом хвосте колонны пыхтел, подползая, должно быть, с тяжелым орудием, трактор «Сталинец». Тракторов этих особенно не любили пехотинцы за оглушительный, на километры разбегающийся треск.

— Вот так так! Куда же мы с этой машиной денемся?

Наконец, и сзади все улеглось и замерло.

Колонна лежала теперь на голубом под луной полотноще ската гигантской черной гусеницей, оцепеневшей перед зачужной опасностью. Горохом из-за холма напротив сыпались недалекие выстрелы.

— Немецкие автоматчики! — прошептал Селезнев. — Один или два, больше не будет.

— Знаешь что, Селезнев, — сказал Заряжский, подумав: — пошли-ка двух человек понадежнее к лесу за ручьем. Если там нет немцев, то можно ли проехать, есть ли лесная дорога. Пусть обследуют пообстоятельнее.

— Есть, товарищ лейтенант.

— Да осмотреть ручей. Можно ли через него перебраться, или увязнем...

Селезнев исчез, а Заряжский подошел к легковой машине и приоткрыл дверцу.

— Немножко стреляют, Милица. Мы, наверно, примем в сторону. Жутковато все-таки, не правда ли?

— Н-нет! Я не боюсь. Я так рада, что с вами... Что бы я делала, если бы осталась там, в этом ОРБ...

Из колонны подходили к броневичку какие-то фигуры, судя по шинелям и ремням на плечах, — командиры. — Кто ведет колонну? — спросила одна из фигур басом. На петлице блеснули два кирпичика.

— Я, товарищ майор.

— Что же вы думаете делать?

— Послал к лесу разведку. Если можно, двинемся влево через ручей.

— Правильно. Не застрянем в ручье-то?

— Разведчики доложат.

— Гм... Ничего себе положеньице! — Майор вытащил папиросу, опустил на колени и осторожно, чтобы не блеснуть светом, закурил.

— Лучше бы не курить... — нерешительно промолвил кто-то из командиров.

— Вздор! Что они нас без того не видят? Луна вон, как нанялась, а мы — на юру. Мишень — лучше не надо.

— У вас, товарищ майор, есть люди? — спросил Заряжский.

— Из хозкоманды. Шпана первостатейная. Обозники. А вам на что?

— Может быть, понадобится ручей гатить.

— У нас там в машинах и станковые пулеметы есть, — заметил один из командиров. — Попробовать разве сколотить группу и продвигаться вперед. С боем.

— Да, чорта пухлого! Эту публику теперь крючьями из машин не вытянешь. Утром у нас сегодня двоих расстреляли перед фронтом. Дезертиров. А к вечеру всё равно все из окопов посматывались. Таково настроеньице.

Из-за бугра стреляли попережнему с небольшими, правильными, как по часам, перерывами.

— Постреливают!..

— Чего же им не стрелять, — пробасил майор, усаживаясь на подножку. — Патронов достаточно, не по-нашему. Упрет в брюхо автомат и палит в белый свет, как в копеечку. Пугает.

После минут двадцати нудного ожидания вернулись посланные к лесу связисты. Там, по их словам, было тихо. Лесная дорога есть. Подъезды незатруднительны. Ручей надо гатить, иначе не переедешь.

— Беги, Селезнев, по колонне. Соберешь топов, сколько найдется, лопат больших. И человек десять людей сюда. Живо!

— Ну, это будет трудновато! Пойдем-ка, брат, лучше вместе, — пробурчал майор, поднимаясь. — Самое главное, конечно, чтобы они нас как следует на мушку не взяли.

Словно в ответ на его слова, за бугром, перекрывая жидкую трещетку автоматов, тяжело затыкал немецкий пулемет. Несколько пуль пропело над головами. Одна, визгнув, цокнула по башенке броневика.

В колонне зашевелились тени. Черные пятна шинелей скатывались мешками с бортов, распластывались вдоль машин и за колесами.

Группа командиров в голове колонны растаяла.

— Выходите, Милица! — метнулся Заряжский к дверце. — Сюда! Левее! Вот так! — Взяв за плечи, он прижал тонкую высокую фигурку к стенке броневичка. — И — ни с места! Так вот и стойте.

— А вы?

— С вами, — сказал Заряжский, становясь рядом и чувствуя, как вздрагивает, прижимаясь к панцирю, плечо девушки. — Это, верно, скоро кончится, а пока что мы с вами укрыты. Сейчас явится Селезнев со своей командой.

Селезнев, однако, замешкался и показался, наконец, сам-друг с кем-то из командиров в необыкновенно длинной, до пят, шинели. Под мышкой у связного торчали топоры. Длинная шинель волочила лопаты.

— Где же команда?

— Товарищ Заряжский! — радостно воскликнула длинная шинель, чуть не бросаясь на шею. — Это я, Гольцман. Как хорошо, что это вы ведете колонну! Я думал, чужие. Держался в хвосте. Вот лопаты. Четыре штуки. А людей собрать не удалось.

— Ни в какую! — мрачно подтвердил Селезнев. — Майор уговаривал-уговаривал и плюнул. Не хотят. «Не пойдем, говорят, и все тут».

— Кладите, Яша, лопаты. И топоры тоже, Селезнев. Пошли вместе, покажите их мне.

Они направились вдоль колонны, которая теперь казалась окончательно вымершей.

— А этот старший лейтенант из ОРБ, — еще более мрачно сообщил Селезнев, шагая рядом с Заряжским, — смотался куда-то на вашей лошади. Сказал, вы разрешили; сел — только его и видели.

— Чорт с ним! Где же люди, наконец?

— Сейчас, товарищ лейтенант. Вон он, ихний фордик стоит. Вот они и есть.

Сбоку и под кузовом небольшого пустого грузовика липло к земле с десятков шинелей.

— Ну, друзья! — сказал, подходя, Заряжский. — Давайте-ка со мной ручей гатить. Надо колонну из-под огня выводить.

Ни одна из шинелей не шелохнулась.

— Ну, что же? Поднимайтесь! Ты вот первый, ну-ка, вставай!

Красноармеец приподнял голову, потом снова опустил ее на руки и продолжал лежать.

— А ну, встать! — вытащил Заряжский из кобуры револьвер.

Красноармеец вскочил, как на пружинах.

— До что ж я-то... — обиженно бормотал он. — Я ж не один. Как другие, так и я...

— Всем подняться!

Шинели зашевелились.

— Давай в самом деле, ребята... Что уж, раз приказывают... Надо, так чего уж... — сказал кто-то, выползая из-под кузова и отряхиваясь. Следом поднялись и остальные.

— Пусть забирают инструменты!

У ручья Заряжский, побродив по чавкающему, ползущему под ногами, как тесто, берегу, выбрал для переправы участок без кустов, в котором черную, как кофе, воду заглушила буйная травяная поросль. — Здесь гатить! Да как следует... Чтоб не застряли! Вы, Яша, — десятником.

Топоры застучали по кустам и осиннику.

Заряжский вздохнул, сунул пистолет в кобуру и пошел вдоль ручья, высматривая пенек или кочку, чтобы присесть и закурить. Не найдя ничего подходящего, стал стоя свертывать папироску.

Слева по скату все той же оцепеневшей гусеницей лежала колонна. Синей тушью рисовались ребра и башенка броневичка. На тыловой, обращенной к Заряжскому, стороне его он, как ему казалось, различал тонкую, прижавшуюся к панцирю фигуру.

Пулемет продолжал простреливать тишину: над колонной посвистывали пули.

Первую машину, как и следовало ожидать, увязили. Пока ее выручали с обычными в таких случаях сутолокой и бранью, прошло добрых четверть часа.

— Я же говорил: гатить, как следует! Что же вы, Яша?..

— Да ведь они — как, товарищ Заряжский. Я говорю: еще жердочек, а они: ладно, сойдет! Торопятся очень.

— Приметьте-ка мне самого торопливого. Я его с последней машиной отправлю.

Подкинули жердей и веток, и переправа наладилась. Звено за звеном оживала растянувшаяся на бугре гусеница. Машины одна за другой скатывались в лощину, — прохрустев по жердяному насту, уползали к лесу.

Немцы не замедлили откликнуться. Колонна уменьшилась едва ли наполовину, как где-то за бугром выбухнул миномет. Охрипшей сиреной завывала мина и, шлепнувшись, разорвалась шагах в ста от ручья.

«Час от часу не легче!» — подумал Заряжский, бросаясь к колонне и наискось срезая росистый крутой подъем.

— Самое лучшее, Милица, — сказал он, подбегая к девушке и тяжело переводя дыхание, — если вы сядете в броневичок и двинетесь в лес. Нас теперь потчуют минами. Броневик — самое надежное укрытие. Сержант!

— Как же это?.. Мне не хотелось бы одной...

— Мне нельзя до конца переправы. Кончу — сейчас же к вам. У леса встретимся. Сержант!! — снова крикнул он в расплывающуюся щель башенки. — К вам сядет наша санбатовская сестра. Переберетесь через ручей и станете вместе с машинами у леса. Понятно? Дайте ему руку, Милица! Ногу ставьте сюда. Вот так. Счастливого пути!

Крышка башенки поползла вниз.

— До свиданья! — еще раз крикнул Заряжский, поднимаясь на носки и пожимая блеснувшие на борту нежные холодные пальцы. Башенка захлопну-

лась. Броневи́к зарычал, сполз по бугру в лощину, поломал добрую половину гати, выкарабкался на другой берег ручья и исчез в темноте.

Заряжский посмотрел на выдавленный по жнивью темный влажный след, на свою одиноко стоящую на гребне машину, и знакомое в последние дни чувство безразличия и бесконечной усталости снова овладело им.

— Ну, чего же стоять здесь... Поезжай к переправе. Подождешь там у кустов. Скоро тронемся! — сказал он шоферу.

**

Команда Гольцмана работала теперь безупречно. Те самые люди, которых час назад, под пулями, нельзя было оторвать от земли, теперь орудовали топорами и мускулами, не обращая никакого внимания на рывкающие рядом мины.

Когда дошла очередь до ненагруженного фордика, Заряжский приказал команде садиться и отправляться в лес. — Давайте ка и вы с ними, Яша!

— Поедемте вместе, товарищ Заряжский! Что же, мы ведь все наши машины переправили. И чужие почти все. Пустяки остались.

— Вот я после этих пустяков и поеду. Трогайте!

На бугре торчали теперь те самые «ящики на колесах», которые давеча бросились Заряжскому в глаза. Пропустив свою очередь, они словно вросли в землю и, повидимому, не собирались двигаться.

Заряжский направился сам на дальний конец бугра.

Машины, действительно, оказались санитарными. Главный врач, толстый, с одышкой, не выговаривающий половины алфавита, объяснил, что раненых сейчас перевязывают и тронуться поэтому невозможно.

— Так вас же здесь перестреляют. Или заберут в плен!

— Ничего не могу поделать, — развел главный врач руками. — Если бы я знал раньше...

— Надо было спросить! — почти крикнул на него Заряжский. — Впрочем, что же, — вы отвечаете! Мне в конце концов все равно. Делайте, как хотите.

Он пошел назад по хрусткому, звеньяющему под ногами жнивью, досадуя, что не послушался яшиного совета. «Очень нужно было таскаться! Тем временем и яшина команда рассыпаться может. А надо бы сохранить. Броневик тоже как бы не заблудился...» Пристегнув хлопавшую крышку кобуры, почти бегом спустился в лощину.

— Поехали! — сказал Заряжский шоферу, заходя со стороны кустов. Ступил на подножку, взялся за дверцу и вдруг услышал сзади как-то невероятно сразу, неожиданно, возникший рев уже приземлявшейся мины. Неожиданность изумила его. Изумление отняло ту крохотную частичку времени, которая требовалась, чтобы броситься на землю или нагнуться.

Машина рванулась вперед. Ступенька выскочила из-под ноги, толкнув весь корпус в сторону, и в то же мгновение жестокий удар запрокинул голову.

Заряжский почувствовал, как по лицу скользнули холодные влажные ветки, и упал в ивняк.

5.

Колючая проволока по свежесрубленным столбам. Серая, с блестящей ядовитой синевою расплющенных к устью жал. Ворота с будкой и дощечкой: Dulag №...*). За воротами — четырехэтажный кирпичный ящик, лазарет. В стороне флигелек — лагерное управление. Снова проволока, рыже-кофейного цвета, с похожими на тополевы почки пучками колючек, заплетенная в частые тесные квадратики. За ней — приземистые с бревенчатыми ребрами конюшни-баракки. В двухстворчатых дверях и по стенкам, в пролетах и вдоль проволоки — серые пятна шинелей.

*) Dulag — Durchgangslager — пересыльный лагерь военнопленных.

В глубине за конюшнями пожарный сарайчик — общежитие лагерных переводчиков.

Проволока!..

Из окна сарайчика Заряжский часами наблюдал подавленное копошение стиснутой этой проволокой людской массы. То, что он сам — частичка этой массы, — тоже запроволочный и, стало быть, отрезан от всего составлявшего и наполнявшего до сих пор жизнь, — как-то трудно укладывалось в сознании. Еще по дороге на фронт, перебирая в уме все вероятные и случайные исходы, всегда опускал, вычеркивал плен. Теперь казалось, что сюда, за проволоку, привело его не сплетение неотвратимого, не контузия, а собственная пагубная оплошность. В сотый раз, как порвавшуюся киноленту на свет, просматривал он памятью случившееся и особенно эту последнюю ночь «на колесах».

**

Очнувшись тогда, Заряжский увидел сквозь тонкий переплет нависших веток с узкими вялыми листочками семь золотых булавок Большой Медведицы и долго не мог сообразить, что именно произошло. Руки и ноги залубенели от холода, но слушались. Не слушалась и ныла налитая тупой, булыжной болью голова. «Контужен!» — он сел и, упершись ладонями в мокрую землю, вытолкнулся из зарослей.

В лощине было лунно и тихо. Вправо, на ручье, грудилась продавленная посредине и топорщившаяся с краев гать. При взгляде на гать вдруг отчетливо вернулось последнее перед катастрофой впечатление: вой пролетающей мины, вырвавшаяся из-под ног ступенька — всё разом вспомнилось. «Шофер, верно, вообразил, что я убит. Или — струсил. Надо — к лесу, к машинам...»

Он поднялся, с трудом справляясь с равновесием, перешел через хрусткую гать. «Что такое надо мне вспомнить... непременно вспомнить?.. Да! Броневичок! «Мне не хотелось бы одной, без вас»... — Морщась от боли, одолевал он бугор.

Ни машин, ни броневика у леса не было, но лесная, на юго-восток, дорога, казалось, только-только проводила шумных, неласково обошедшихся с нею гостей и теперь словно переводила дыхание. Тускло поблескивали влажной глиной расплющенные мощными катками колени. Над запруженными ухабами курился едва видный парок...

Пройдя немного, Заряжский заметил в кустах брошенное орудие. Рядом, не видная, всхрапывала лошадь. Еще дальше вдоль дороги валялись разбитые ящики. Жестяно высвечивали какие-то рассыпанные и вдавленные в грязь колесами банки. Колонна, наверно, двигалась под обстрелом. «Догнать! догнать!...»

Это «догнать» (откуда только бралось оно, такое властное?) толкало идти, идти... но голова никла вдруг, как под пудовой каской, и тогда темнело в глазах, и остатки сознания перехватывало, как узлом, на-нет, мутное забытье... Как шел? выбирал дорогу? — вспомнить не мог и теперь. Кажется, садился под деревьями, сжимая ладонями затылок, где-то лежал. Забытье было то сплошным, одетым в камень, то прояснялось в какую-то качкую, как весы, полуявь-полубред. Из этих прояснений запомнилось такое:

Зачем-то с дороги, сквозь путаницу стволов и мокрых, колючих торчков можжевельника, мимо какой-то болотины с мрачной водой (кажется, пил: и сейчас вспоминается привкус тлена и головастиков) — в поле, туманно-звездное, синее в темных пятнах, — разгляделось не сразу. Когда разгляделось — пятна оказались ржаными снопами, сложенными в крестцы. Брызжа росой, зачем-то долго вилял между ними, покуда не ткнулся в один, обколов комлями руки.

Тогда увидел, что стоит посреди поля, что оно огромно, что с одного долгого ребра сонно подпер его лес (откуда вышел), с другого — бугрившиеся чернотой крыши. И еще: с полминутными промежутками взлетает от леса коромысловой оранжевой строчкой пулеметная очередь, гаснет на скате, не долетая до крыш. А в ответ из деревни навстречу — другая

такая же дужка — к лесу, только чуть золотистой, рыжей (немцы!). Он вытянул с ножевой болью в затылке грузный мокрый сноп и лег в скважину. Густой, как сироп, обнял, потопил его в себе домашне блаженный дух соломы, васильковой и полынной квели в ком-

На мгновенье явь и бред переплелись с воспоминаниями, и всё закружилось в стремительно-невнятной карусели — какие-то взмокшие под солнцем спины, пружинясь, вздымают вилы, какие-то знакомые босые ноги (чьи? чьи?) золотисто мелькают, уминая снопы... Плывет ржаной воз, и ревет впереди трактор «Сталинец» с пушкой («нет, это — сегодня!»)... Сколько звезд! и какой-то поблеклый цветок под рукой, верно — клевер, нежный среди жестких соломин, как девочки пальцы...

Та-та-та... золотистые струйки вверху, пролетая, скрестились. «Встать и идти»... Оборвались струйки, и — опять тишина, сноповым теплом согревающая тело. И покой. Высший смысл завершенья — покой. Вот такой — так душисто, так плавно и звездно окунающий в смерть... Ну и пусть! От звезд и ржаного тепла война, как в бинокль навыворот, далека-далека... «Кого защищать?».. Чем еще пахнет? не мятой ли? Ширкнуло внизу — верно, мышь... На жнивье два широких следа от катков. Уполз броневик в никуда... «И я — в никуда... Милая!..»

Когда он восстал из ржаного полузабытья, было уже почти светло. Нежнейшими красками вскипало на востоке небо. Быстро пошел на рассвет, разминая затеклость поясницы и ног. — К лесу, через лес, на вчерашнюю дорогу. Скоро высокие строевые сосны стали перемежаться с вырубками и жидким подлеском. Еще через полчаса мелькнул просвет, и в этом просвете засеребрились ивовые заросли. Тотчас же потянуло густой, прохладной, пахнущей рыбой влажностью. «Река!» Он бегом свернул с забирающей влево дороги и, пробежав шагов десять, вдруг провалился в какой-то не видный в траве, червеобразной формы окопчик. Больно стукнулся подбородком о

траверс и снова потерял сознание. Придя в себя, увидел, что не один. В противоположном отроге окопчика жался на корточках под плащом-палаткой красноармеец с синим от утреннего холода лицом и черными восточными глазами. Заряжский заговорил с ним, но оказалось, что красноармеец — осетин, вероятно, — по-русски не понимает ни слова. «Досадно! Почему это, однако, он зябнет, а мне совсем не холодно?» Он потянулся в карман за кисетом и вдруг в первый раз заметил, что — без шинели и без пилотки. Пилотка соскочила при контузии, а шинель он, должно быть, бросил сам, чтобы легче было идти. «Как глупо! Но куда же все-таки свернули машины?»

Он высунулся из окопа, ища глазами дорогу, и вдруг услышал далекие, невнятно долетающие голоса. «Наши! И где-то здесь, близко!» Голоса приближались. «А вдруг немцы! — кольнуло, как иглой, сознание. — Надо вылезти, засесть в зарослях». Он уперся в скользкие края окопчика, чтобы подтянуться и выпрыгнуть, но мускулы отказали, голова отозвалась на усилие новою, режущей болью. Он прислонился к стенке и перевел дух. Кавказец, тоже поднявшись, тревожными блестящими глазами смотрел то на него, то в сторону подкатывающихся ближе голосов.

«Что же это за разговор, в конце концов? русский или нет?» Сам не зная зачем, вытащил из кобуры свой нестреляющий трофейный пистолет и положил руку с пистолетом на бруствер. В то же мгновение шагах в десяти впереди показался шлем, затем автомат, и затем высунулась из-за кустов грязно-зеленая шинель немецкого солдата. Еще один и еще один шлем мелькнули в стороне. Немцы, цепочкой прочесывая лес, направлялись к реке.

Немецкий солдат и Заряжский, казалось, одновременно увидели друг друга.

— *Hände hoch!* — испуганно, как показалось Заряжскому, закричал немец, направляя на окопчик автомат и останавливаясь.

Кавказец поднял руки. «По-русски не понимает, а по-немецки понял. Надо поднять руки, иначе выстрелит...» Он перехватил пистолет за ствол и, больно придавив острой мушкой палец, поднял кверху.

— Los, los, los! — закричал немец, подбегая к окопчику и опуская подвешенный на ремне за шею автомат. Он схватился одной рукой за поднятую рукоятку пистолета, а другой стал срывать пехотный значок с петлицы Заряжского.

— Noch zwei! — крикнул он через плечо кому-то из старших, видимо.

— Noch zwei! Und ein Offizier!

**

«Как можно было не добраться до зарослей! — в сотый раз спрашивал себя Заряжский, сидя у окна сарайчика. — И вот — проволока!» Он встал и повернулся спиной к окну, чтобы стряхнуть эти тоже, как проволока, опутавшие воспоминания.

В комнатухе жило еще два переводчика. Один из них, Ященко, недавно из пехотного училища, — долог, красив, двадцатилетен, с ухмылкой на скуластом лице и развинченными движениями. На многоверстном этапе от реки, где попали в плен, он почти на себе тащил Заряжского: отстающих конвойные пристреливали. В дулаге удалось его пристроить переводчиком к какой-то картофельной команде, хоть и знал он по-немецки не больше дюжины слов. Ничего, дело как-то шло...

Второй сожитель, из студентов-химиков, звался Седых. Маленький, узкогрудый, был молчалив, подавлен пленом и тем, что очутился в переводчиках: хотелось ему почему-то двигаться с партиями дальше, на запад.

Когда Заряжский повернулся лицом в комнату, оба, сидя на широком щелястом топчане, играли в «очко». И — перестали, словно смутились, или, может быть, приготовились поговорить.

— Хватит! — гроыхнул баском Яценко, швыряя на топчан засаленные до опухлости карты. — Когда же ужин, чорт его возьми?

— Штраф, Саша! — укорил Заряжский: о еде постановлено было не разговаривать.

— Знаю, штраф... Да ведь как сосет-то! — Он подкинул вверх громаду сапожищ и уселся. — Хоть бы курнуть трошки! Ведь есть у этих, сукиных соседей... Не дадут, дьяволы, голубая кровь. Не подступишься!

«Сукины соседи» были переводчики из немцев Поволжья, жившие за стенкой: получали по полубуханке гуттаперчевого немецкого хлеба и 3 сигареты на день. Заряжского с товарищами поместили от них отдельно, как лейтенантов. Еще одну, последнюю, комнату в сарайчике занимал некий капитан, которого называли русским комендантом лагеря.

— Обрато штраф! — вяло заметил Седых, отодвинувшись от яценковых подошв. — О куреве тоже не положено за проволокой...

Помолчали. Разговор не завязывался. От ворот вдруг посыпались глуховатые с трещинкой удары колокола. В соседней комнате загрохотали, выходя, сапогами.

Колокол означал Zugang — прибытие новой партии пленных. В пролет между конюшнями можно было разглядеть наружные ворота с будкой и за ними — гуськом вдоль проволоки — громадные тупорылые грузовики, крытые брезентом. Один за другим, подрёвывая, подползали они к воротам, из раструбов сзади высыпались серые шинели.

— Пойдем, Седых, на спектакль, а то опять облают! — сказал Яценко, спуская на пол сперва сапоги, а потом уж и сам поднимаясь с топчана. — Вот тебе и поужинали. Пока, Алексей Филатович! Пощувствуйте нам тут...

Заряжского освободили от «спектаклей» по контузии, и он разглядывал их из окна, как с галерки. Разыгрывались они так:

Когда опоражнивался последний грузовик, ворота у будки и ворота внутренней проволоки — напротив — распахивались. Серая лавина шинелей узким потоком прокатывалась между ними, втекала во двор. Навстречу, как гарнизон против штурмующего противника, выстраивались переводчики во главе с унтером из управления, Гайлитом, костлявым, с четырехугольной челюстью балтийским немцем.

Пленных полагалось опросить, отобрать патроны, карты, компасы и прочее запрещенное. Еще полагалось отделить командиров, затем евреев — этих направляли в особый бункер, бывшее картофелехранилище.

Когда шеренга переводчиков и передний край наступающих соприкасались, Гайлит пронзительно выкрикивал сразу с полдюжины приказаний. Не видя толку, тотчас взрывался негодованием. Хором принимались кричать и подручные. Не понимая, чего от них хотят, люди откатывались назад и в стороны, то есть делали как раз обратное тому, что нужно. Унтер хватался за револьвер. Переводчики — за палки.

Пленные шарахались, увертывались от ударов, пытались объяснить и матерились. Кончалось обычно тем, что Гайлит посылал за конвоирами. Те живо отжимали неприятеля на край двора, размесив шинели более или менее ровной стенкой вдоль забора. Стенку уплотняли прикладами до тех пор, пока задние, напорвшись на колючки, не начинали кричать отчаянно...

«Почему они просто не скомандуют им по-военному?» — возмущался Заряжский. Не дождавшись в этот раз конца свалки, отошел от окна. Побродив, приоткрыл скрипучую дверь к соседям.

На нарах, сгорбившись, сидел Петер, долговязый старшина поволжских переводчиков. Что-то читал на листочке, поднеся его к самому носу.

— Это вы? — спросил он, щуря на Заряжского близорукие глаза. — Как голова?

— А лучше. Почти совсем прошла. Я думаю, мне надо будет тоже выходить по звонку. А то могут быть неприятности.

— Ничего. Сегодня приехал новый зондерфюрер. Зондерфюрер «цет»*). Хороший человек. Вот вы с завтрашнего дня с ним и попробуйте. А то с этим дурнем, Гайлитом, никому не сладиться. Хотите сводку?

— Скажите лучше сами, что нового. Читать не хочется. Да и темно.

— Верно, что темно, — согласился Петер, аккуратно складывая листочек вчетверо. — А я так еще и без очков. Совсем плохо. Что нового? Продвигаются по всему фронту. На Москву. Быстро, как на параде... Вот вам и «будем бить врага на его собственной территории». Помните, говорилось?..

— Многого говорилось, — неохотно ответил Заряжский, садясь на нары, и Петер почувствовал, что разговора не выйдет. Вытащил из-под изголовья сверточек. Протянул:

— Берите сигарету. Ничего... Я некурящий. А у ребят — махорка.

Заряжский не курил со вчерашнего вечера. Откинувшись к пропаклеванной стенке, затыкнулся с наслаждением. Тяжелая в затылке, все еще слишком пульсирующая в висках голова закружилась и стала легкой-легкой. То неуловимое, сосущее, что сидело где-то в груди, то съеживаясь в комочек, то распухая и подступая к горлу, казалось, обволоклось синеватым этим дымом, стало невесомым, поднялось и исчезло. «Хорошая все-таки вещь — наркотики!..»

— Так, значит, с завтрашнего дня включаетесь, — сказал Петер, поднявшись, и вышел из комнаты. На минуту в раскрытую дверь донесся с переднего двора многоголосый гул. Дверь захлопнулась, и снова стало тихо. Сквозь крупные щели жиденького потолка слышно было, как гулял на чердаке, подвывая, ветер. В маленькое, с латаными стеклами, запаутиненное окно ползли грязно-синие сумерки.

*) Особый военный чиновник на правах офицера, чаще всего переводчик.

6.

Ночью пошел дождь и не переставал потом, кажется, до самых морозов. Теплый вначале октябрь быстро покатился в позднюю осень. Немоощный суглинок лагерного двора заблестел, разбух и, чавкая под ногами, полз в разные стороны. Пыльная солома на разбитых цементных полах конюшен почернела и стала липкой от натасканной грязи. Грязь ползла на шинели, руки, лица. Дождь и холод приковывали людей к месту, жестоко сокращая и без того ничтожный радиус передвижения. «Лагерное» с жуткой ощущимостью становилось «тюремным», и тревожное «что же дальше?» все чаще вспыхивало и затем навсегда застывало в глазах. Вместе с ним постепенно утвердилось в движениях, разговорах, выражении лиц то страшное безразличие ко всему внешнему, не связанному с сосущим голодом и холодным кусочком каменного пола, которое иногда помогало покрепче ухватиться за жизнь, а чаще — быстрее и незаметнее умереть...

Часов в восемь утра зазвонили в колокол, и Заряжский, как было условлено, вышел вместе с другими навстречу новой партии. Ежась под дождем, думал с отчаянием, что вот превращается из зрителей в статиста на «спектакле». Стал с самого края шеренги, рядом с Яценко, чтобы по возможности не мешаться в свалку.

За дальними воротами торчало с десятков машин под почерневшими от дождя брезентами. “Los, los, los!” — кричали конвоиры, откидывая задние борты. «Цуганг» обещал быть крупным, и Гайлит заранее нервничал, подтягивая и застегивая почему-то все время сползавшие с его больших лап черные лайковые перчатки.

Серая лавина растекалась уже по внутреннему двору, и Яценко расставил ножницами длинные ноги и растопырил руки, готовясь к привычному отпору, как вдруг Заряжский, решившись неожиданно для самого себя, подошел к Гайлиту и тронул за рукав:

— Дайте-ка мне скомандовать, — сказал он. — Я вам построю людей.

Унтер-офицер, дернувшись длинным туловом, обернулся. Увидя незнакомого, готов уже был взорваться, но сдержался: разглядел на рукаве две тонких марлевых повязки, которыми метили немцы офицеров-переводчиков.

— Was? Командовать? Вы думаете, этим можно добиваться чего-нибудь? — Четырехугольная челюсть презрительно выдвинулась вперед. Meinetwegen — попытайтесь, — заключил он, подумав, и снова поддернул перчатку на руке.

Заряжский сам не ожидал такого показательного успеха: знакомые слова команды, как заклинания, связали растерянную инерцию людей — через минуту вдоль проволочного забора вытянулось лицом друг к другу два выравненных фронта.

Переводчики с красными лицами топтались в стороне. Яценко довольно потирал огромные, мокрые от дождя кисти. Широко, во весь рот улыбаясь, подбежал Гайлит. На сухих щеках его лежали теперь мягкие продольные морщинки, и всё лицо с торчащими хрящеватыми ушами набрякло неожиданным добродушием.

— Das ist doch eine Zauberei! — Это просто волшебничество! — забавно перевел он сам себя, глядя на выстроенных. — Приказывайте, пожалуйста, далее. Ausgezeichnet!

Опрос шел теперь на-рысях. На разостланных плащах-палатках, мокро поблескивая, росли грудки патронов, компасов, капсюлей, «опасных» бритв и прочего запретного из карманов.

Незаметная раньше, от ворот отделилась вдруг круглая в блестящем дождевике колокольчиком фигура. Подкатилась мелкими-мелкими шажками, как на роликах. Из-под офицерской с высоко задранной тульей фуражки расплывалось лицо с серыми в добродушных морщинках глазами.

— Зондерфюрер Вансович! — сказала фигура, протягивая Заряжскому короткую ручку в замшевой

перчатке. — Очень рад познакомиться. Как, вы говорите, ваша фамилия? А... Тоже звучит, как польская, вроде моей, не правда ли? Но ведь вы не поляк? А, из Москвы? Прекрасный город, не правда ли? Вы замечательно распорядились с этим... построением. Я здесь со вчерашнего дня, но уже видел, как это безобразно выглядело. Теперь будем работать вместе, не правда ли?

Кругленький человечек говорил необыкновенно быстро, не давая времени ответить на свои, как из мешка сыплющиеся, вопросы. Глаза шмыгали по Заряжскому с любознательным сочувствием.

— Хоть вы и прекрасно командовали, — сыпал Вансович, ухватив двумя пальцами шинельную пуговицу Заряжского и подергивая ее в стороны, — но я тотчас вижу, что вы не кадровый офицер, а резервист, гражданской специальности, как и я, не правда ли? И, конечно уж, не коммунист, иначе вас сделали бы комиссаром или этим, как его... политруком, не правда ли? Знаете что? Теперь они тут, — он кивнул на Гайлита и переводчиков, — и без вас справятся. А мы пойдем-ка вон под грибок, покурим и поболтаем немного. Здесь, на дожде, что уж за разговор. — Он почти за рукав потащил Заряжского к внутренним воротам, к столбу под деревянным зонтиком для ночного поста.

Они уселись на лавочку и, покуда Вансович, вытаскивая громадный синий платок, вытирал мокрые розовые щеки, Заряжский успел все-таки ответить на два-три вопроса.

— Как? Вы филолог? — закричал Вансович, остановив руку с платком за ухом и ослабив пальцы, отчего платок развернулся во всю длину вниз, на манер опахала. — Значит мы с вами коллеги! Хорошо говорю по-русски? Был несколько лет учителем русского языка в Прибалтике, разумеется, до натурализации... Коллеги! Замечательно! Да, ведь мы хотели курить. — Он вобрал платок в горсть и, шурша дождевиком и посапывая, вытаскивал из брючного кармана сигареты. — Вот, прошу. Рижские. Лучшие у нас. Много лучше немецких. Почти такие же, как в царское время петер-

бургские. Вот был табак! Впрочем, говорят у вас и сейчас есть недурные... Только дорого, не правда ли?

Закурили, и, покуда тянулась сигарета, Заряжский узнал еще ряд подробностей о новом знакомце. Господин Вансович провел в Прибалтике всю свою жизнь, около пятидесяти лет. С приходом большевиков эвакуировался. «Другой путь был только в Сибирь, не правда ли?». Теперь предстояло выбирать новое местожительство, но он медлил пока: «Надо подождать, как развернутся события. Боюсь, что далеко не так гладко, как предполагает официальная пропаганда... Да, война хлестнула и бедных и буржуев, как говорят у вас, не правда ли? Плен же, конечно, это я очень понимаю, особенно тяжело. Курите еще. Возьмите несколько штук. Не стесняйтесь, пожалуйста. У меня много, а вам взять негде. И потом я это, как говорится, от чистого сердца, не правда ли? Ведь вот скверно, что большевики не подписали международной конвенции о военнопленных. «Они» теперь считают себя вправе не давать пленным курева и вообще обращаться по-свински... Но вот что можно сделать для вас? Постараюсь доложить таким образом, чтобы...

— Нет, не стоит, пожалуйста. Не хочу никакого особого положения...

— Понятно, понятно: произведут в изменники? А там — родные и тому подобное, не правда ли? Но жизнь-то надо как-нибудь спасти, а?

— Так покуда еще сносно.

— Н-да... сегодня сносно, завтра может измениться, — сказал Вансович задумчиво и пожевал губами. — Впрочем, увидим! До свиданья пока. Скоро вас, все-таки, вызовут...

Встретившийся по дороге к баракам Гайлит козырнул, подкинув кверху длинное туловище. «Вызовут» — беспокожно подумал Заряжский. «Уж не вхожу ли я «в случай» поневоле?».

**

Вызвали! — Сразу же после обеда прибежал Петер. В маленькой передней Lagerleitung'a встретил

Вансович, — без плаща еще более подвижный и шарикообразный:

— Доложил о вас, и хотят видеть! Там, — он ткнул толстеньким пальчиком на стеклянную, заклеенную бумажкой изнутри, дверь, — три гауптмана. Тот, что в середине, Фрик, — главный. Минуточку, я сейчас доложу. — Он исчез за дверью и тут же снова протиснул в раскрытую щель круглую с розовыми щеками голову. — Прошу!

— Вот тот самый переводчик, — сказал Вансович, подкатываясь рядом с Заряжским к среднему, в глубине комнаты, столу. — Господин Заряжский. — Гауптман Фрик, — указал он на сухопарого немца, с голым, как колено, черепом и пестрой полоской орденских ленточек на френче.

Фрик, кивнув, прищурил на Заряжского безразличные, цвета студня, глаза.

— Слышал о вас от зондерфюрера, и мы решили... — Он поставил локти на стол и поиграл немного соединенными кончиками узловатых пальцев, разглядывая. — Решили назначить вас помощником русского коменданта лагеря, этого капитана Ко... Ко...

— Кожевникова, — подсказал Вансович.

— *Komischer Name!* Да, помощником. По приему партий. Разумеется, улучшим ваши жизненные условия. В смысле жилища, питания... Не так ли, господин штабсинтендант? — обратился он к офицеру за левым столом.

Офицер этот с необыкновенно маленькой на тучном корпусе головой и светлоголубыми младенческими глазами изготовлял мерешку из бумажного листа, образуя на нем с помощью дыропробивателя различные узоры.

— *Jawohl, Hauptmann!* — качнул офицер туловищем, отложив в сторону мерешку. — Будет сделано!

— Итак, что вы скажете? — спросил Фрик, опять принимаясь играть пальцами.

Ответ на этот случай был заготовлен заранее, но почему-то здесь, в трельяже выжидающих глаз, не

сразу нашлись слова. «В помощники к коменданту — нет! Пусть лучше отправляют этапом дальше. Но как объяснить...» — секунды ползли пренеприятнейшие. Вансович, наклонившись к Фрику, зашептал ему что-то на ухо.

— Я согласен... — сказал, наконец, Заряжский, — ... по приему... Но чтобы оставаться, как теперь, просто переводчиком, на старом месте...

— So! — протянул Фрик, выслушав одним ухом шопот Вансовича, а другим — то, что сказал Заряжский. — *Wie Sie wollen!* В конце концов, как вы будете называться, нам безразлично. Но на переводе в комнату этого русского капитана настаиваю. Это удобнее и вам и нам. Всё...

— Напрасно вы им сказали это самое... — зашептал Вансович, выйдя вместе в коридорчик. — Насчет того, что хотите только переводчиком... Экий вы какой!.. Они собирались, кажется, подкинуть вам что-нибудь из продовольствия, а теперь, пожалуй, отдумают.

— Не беда!

— Ну, знаете, не помешало бы! Там этот голубоглазый капитан из интендантов — весьма отзывчивый. Вообще же лучший у нас — сам комендант, полковник Браун. К сожалению, ему уже семьдесят, так что он только представляет, а не управляет. Любитель искусств. Занимается также археологией. Сейчас собирает черепки в этом разрушенном замке, знаете? Хотя вы ведь из лагеря еще не выходили. В общем, приду к вам вечером, когда капитан Кожевников вернется! Будем сегодня же переезжать!

7.

Комната Кожевникова была маленькая, не больше трех метров в длину. В перерыве между «цугангами» ходить, ходить — привычка! — голова закружится. Заряжский делал шаги помельче, и тогда не нужно было слишком часто поворачиваться. В середине пути приходилось огибать большой стол у крова-

ти Кожевникова, заваленный в причудливом подборе бумагами и консервными банками, сухарями и фунтиками с серо-зеленым табаком — самосейкой; тогда на глаза попадали висевший над кроватью портрет, рядом с ним — белесое в крапинку зеркало и ниже, над подушкой, — часы из танка, выменянные, верно, за буханку хлеба у военнопленных.

Портрет, за который Кожевников тоже «отдал буханку» («известный, знаете ли, художник! Из Москвы!»), довольно схоже изображал скуластое кожевниково лицо с впалыми щеками, раздвоенною, крылышками, бородкой и стрелчатými кверху усиками. Только глаза у настоящего, живого Кожевникова выражали обычно растерянность, за которой в глубине пряталось что-то беспокойно-тоскливое, болезненное (у него была язва желудка), на портрете же он глядел соколом.

Зеркало было правдивое, и когда Заряжский с вряд ли искренним безразличием заглядывал в него, отчетливо отражало месяцы войны и плена: волосы на висках поседели, на лбу, в зализках, отступили кверху, отчего лоб казался непропорционально большим и давил собою похудевшее с резкими складками у рта лицо.

Заряжский вспоминал, как несколько лет назад без надобности вооружался на кафедре очками, чтобы казаться солиднее. Милое это время — первых его лекций, тихих, с торжественно-уютным запахом книги, библиотек и гремящих голосами аудиторий — казалось ему бесконечно далеким, может быть, вовсе не существовавшим в действительности.

Он силился не думать о прошлом, гнал воспоминания, но они возникали опять по самому случайному поводу, самой далекой, вряд ли осязаемой, ассоциации, как от мелких камешков круги на воде, — ширились, множились, смыкались в длинную непрерывную цепь.

Славные были эти девушки-студентки, приезжавшие — обязательно партиями — к Заряжскому попрощаться перед отъездом его на фронт. Смешные

в их неуверенности: хорошо ли это, не помешали ли ему? Некоторые, впрочем, оказывались не совсем бескорыстными и робко мяли в руках зачетные книжки, — Заряжский выставлял им пятерки, не спрашивая. Они вспыхивали, благодарили, потом — грустнели, пряча в улыбке и торопливых пожеланиях счастья предательскую влажность глаз...

Еще вот — прощанье с Алешей. Заряжский был в разводе с женой, и она с сыном жили отдельно. В хлопотах у него осталось всего четверть часа, чтобы перед отправкой забежать в тихий переулок у Пречистенки, ухабисто вымощенный «кошачьими головами», влажный и тенистый от ветвившихся над оградами деревьев. Перешагнув через знакомый неудобный порожок калитки, он прошел к прятавшемуся за кустами, в глубине двора, особнячку.

Дома была только Лиза, домашняя работница. Выколачивала в палисаднике плетеной колотушкой ковер, повязав алешиным пионерским галстуком курчавые волосы и сморщив от пыли задорный, пуговицей, нос. Нос сейчас же покраснел, и губы жалобно поджались, когда она услышала, что Заряжский пришел прощаться: была очень к нему привязана и никак не могла помириться с тем, что «отошла» вместе с Алешей к другой половине расстроившегося супружеского альянса.

— Алеша маленький здесь, — сообщила Лиза, всхлипнув, по-старому добавляя это «маленький» — отличие от отца, — вон в лапту играет! Алеша! — крикнула она, подходя к краю палисадника и смазывая рукой с колотушкой слезу. — Иди скорее, папа спрашивает!

Алеша прибежал тотчас же, вместе с двумя одноклассниками из своей команды, запыхавшийся и разгоряченный, с блестящими серыми глазами под длинными, как у матери, пушистыми ресницами. На бегу он размахивал свежеструганной лаптой.

— Еду на фронт, Алеша! — сказал Заряжский, дотрагиваясь до налипших на лоб волос сына, — до свиданья!

Была алешина очередь бить, и его сейчас больше всего занимал вопрос: удастся ли выбить мяч далеко за ворота, чтобы успеть перебежать и вернуться обратно. Кроме того, как многие мальчики его возраста, он стеснялся «нежностей». Поэтому он густо, до самой шеи, покраснел и, покосившись на примолкших сзади товарищей, неуверенно шагнул к отцу.

— До свиданья, папа, — сказал он, протягивая руку.

Заряжский тихонько притянул мальчика к себе и поцеловал в обе горячие, как утюг, пахнущие почему-то сливками, щеки.

— Ты пиши мне... — сказал он, помолчав, и кашлянул, чтобы прогнать что-то щекочущее, вдруг возникшее в горле, — пиши, мальчик мой...

Алеша услышал это покашливанье, увидел за спиной отца заплаканные щеки Лизы, и таинственно-страшное слово «фронт» только сейчас прозвучало в его сознании. Он посмотрел еще раз на напряженные лица друзей, и в раскрывшихся серых глазах его шевельнулась тоска. Желание как можно скорее ударить по подкинутому вверх мячу исчезло.

— Маму целуй, — быстро и уже другим голосом заговорил Заряжский и, повернувшись, пожал маленькую с цепкими пальцами лизину руку.

Трое мальчиков молча проводили его до узкой с высоким порошком калитки.

Заряжский снова попробовал оборвать цепочку воспоминаний, но она тянулась упорно, как телеграфная лента, на которой память выщелкнула даже самые мелкие, самые незначительные впечатления прошлого. Отъезд из Москвы. Сборный командирский пункт. Отправка на передовую линию. Работа в разведке... Лента обрывалась только на колючей проволоке лагерь. Там, где она обрывалась, особенно ярко и тревожаще воскресало кое-что из пережитого перед самым пленом: выбухивающий из-за бугра немецкий миномет, еще одно «до свиданья», брошенное под закрывающуюся башенку броневичка, нежные пальцы, за-

державшиеся на зазубренном краю башенки, чувство одиночества при взгляде на темные по жнивью следы укатившихся в неизвестность колес.

«Воспоминания — это вроде экземы! — с досадой подумал Заряжский, садясь за стол и скручивая из колючего кожевниковского зелья папиросу. — Только поддайся — и совсем одолеют! Надо приучиться не вспоминать. Кажется, надо приучиться и не думать»...

**

Танковые часики над кроватью Кожевникова бледно высвечивали шесть, и в комнате стало почти совсем темно. Заряжский хотел было засветить копилку, но вспомнил, что Кожевников просил его непременно до вечера «расхлебать бункерную историю» и сейчас, верно, ждет результата. Он оделся, раскопал в куче на столе электрический фонарик и вышел на улицу.

«Бункерная история» заключалась вот в чем: в обед четверо «убойных», по выражению Кожевникова, эсэсовцев привели назад небольшую рабочую команду, разгрузившую почту. Многие посылки-пакетики в дороге порасквасились, и пленные, по голодному соблазну, прихватили с собой иную мелочь из табачного и снеди — в обмотки, в карманы и за пазуху. Эсэсовцы же, по приводе, учинили обыск и у кого нашли что — били резиновыми жгутами нещадно. «Понимаете, тёзка, — одному глаз выбили. Вот звери! А народ пострадал отменный, из 1-го барака. Спецы! Затолкали их в бункер и не велят больше в команды посылать. Это же людям гибель! Похлопочите, тёзка, у Вансовича»...

«Ай-ай-ай! — сморщился зондерфюрер, выслушав Заряжского. — Скандал! Они не имеют права так бить. Пусть даже и украли — они все равно не имеют права... И потом — чужая часть. Нет, пусть переночуют ночь в бункере, а утром — могут возвращаться на прежние места. Это я от себя приказываю. И так уж наказаны, не правда ли?»...

Заряжский шагал по узкому чавкающему глиной проходу между бараками, ежась от склизкого холода, ползущего под шинель. Ворота конюшен были прикрыты. Только в одной различался сплюснутый нарами человеческий гул. Был это тот самый «первый барак», о котором говорил Кожевников, — привилегированный, для «спецов». «Спецы» ходили в город на работу, добывали, случалось, вольные заказы, «промышляли, что жевать». За воротами остальных стояла настоженная тишина: жители их в это время уже укладывались на цементных полах, натрусив на ноги грудки прелой соломы, — согревались впритык друг к другу.

Под кронштейном у Управления в желтой воронке света сеялся дождь, тьма вокруг, по контрасту, казалась еще чернильнее. Бункер для арестованных был на краю двора, в выщербленной котловине, — мигая фонариком, Заряжский кружил, обходя выбоины. Вспомнилась ему вдруг такая же непогода, чмокающие под ногами потемки, девичья фигурка в наброшенной на голову плащ-палатке... «Мимо! мимо!»..

Бункер дохнул плесенью, гнилой картошкой. На лево было так называемое «гибкое» отделение (сажали евреев), вправо — арестантская. В ней кто-то соорудил из рваной цинковой бочки печь, и Кожевников не раз уверял, что штрафная — самая теплая квартира в лагере.

— Вы, однако, долговато... — привстал он на встречу с деревянного чурбака. Остальные вокруг бочки, раскаленной, как горн, поджаривали, шурша соломой, портянки. — Замучились ждать. Ну — как??

Под поперечной балкой выжидательно сипела сквозь шоколадно-копченые ребра «летучая мышь».

— Амнистия! Завтра можно всем на работу.

«Летучая мышь» взмигнула обрадованно.

— А как с увечьями? — спросил коменданта Заряжский.

— Четвертых санитар перевязал, которые до крови побитые. А других — ничего, так только, подсини-

ли немного. Этого, с глазом, я послал в лазарет. На свой риск. Что ж, потерпел сверх меры...

— Было б за что, — проворчал кто-то за бочкой. — За пачку трухлявых печеньев. Тьфу! Там и полсотни грамм не будет, в пачке-то...

— Дело не в пачке, а — чтоб не обманывали доверия. Предупреждал ведь, ребята: осторожно! И уж, ежели соблазняет, — помни, как умные люди говорят: воруи, да не попадайся!

— Мне, к примеру, этот пакетик с ландриним ихним обер-ефрейтор дал. Порватый он был, и конфеты, сколько их там, десяток, что ли, склеились, потекли. Он и отдал. А тут — на те! бить за их схватились.

— Они, брат, не разбираются.

— Было бы, об кого руки почесать, а мы для них вроде и не люди совсем.

— Я коробку консервов тоже от почтового работника получил, — дрожа голосом, сказал один из пленных против Заряжского (сидел у самой топки, растирая ладонями оголенную синевато-дряблую икру). И вовсе не из посылок этой злополучной части. А за то, что переводил приказания.

Заряжский заметил этого пленного сразу: крутой плешивеющий лоб, бледное, одутловатое, чуть безжизненное лицо с правильными чертами. Заряжский замечал прежде, что если долго вглядываться в такие лица, они вдруг начинают представляться несимметричными. Так и у этого: одна щека больше нависла вниз. Впрочем, может быть, делал это рубец, от скулы к виску, багрово-черный, с запекшейся кровью. «По языку и виду — никак не рядовой. Политрук, может, какой-нибудь, и скрывается, — лучше не замечать».

— Да... — продолжал пленный, подтянув ногу. — В Белой армии был поручиком, в Красной — лейтенантом, а теперь вот попал в уголовники... По гражданской специальности — доцент, филолог.

— Да? Коллеги, значит. А как...

— Фамилия? — Плинк. Нет, не немец. Отец из Эстонии. Мать русская.

— Но немецкий знаете?

— Слабовато...

По подсказкам «шестого» чувства Заряжский всегда делил новые встречи на эпизодические и «орбитные» — эти повторялись, иногда самым непонятным образом, и, так сказать, вклинивались в орбиту его жизни. Сейчас, как ни странно, встреча ощущалась «орбитной»...

— Послушайте, — сказал он, подумав. — Нам приказано брать новых переводчиков. Помещаются они в отдельном домике, где и мы с комендантом. Есть койки и нары... Поднимайтесь вот и пойдем!

— Да неужели? Господи, вот неожиданно... Не было бы, говорят, счастья, да несчастье помогло. Подождите, ради Бога, секундочку, я только обуюсь... — Он принялся наматывать портянку, и руки у него дрожали...

**

— У вас что же, вещей никаких? — спросил Заряжский Плинка, подходя к сарайчику. — Через плечо: тот всё отставал, скользя в темноте и прихрамывая.

— Никаких. *Omnia mea mecum porto...*

— Гм... А где вы были доцентом? На юго-западе, судя по выговору? Я не выпрашиваю, это у меня привычка такая — распознавать диалекты.

— Верно, я житомирский. Но доцентом был в Москве. В Педагогическом имени ... нского.

— Имени ... нского?? — Заряжский даже остановился, переспрашивая. Посветил назад — Плинка оглянул последнюю перед дверью колдобину. Была не нова склонность пленных украшать свою дозaproволочную биографию. — Из предосторожности, иногда — ради выгоды; чаще же — просто из желания придать себе среди унижающей уравниловки плена чуточку больше весу. По этой причине лейтенант становился капитаном, скромные корректоры — журналистами, а хористы и актеры на выходах — заслуженными артистами республики... В институте имени ... нского За-

ряжский работал сам, знал все кафедры, поэтому ощутил сейчас неловкость за Плинка и — слегка — разочарование.

Всё это Плинка уловил, должно быть, в вопросе. Поравнялся, поскользнулся, сказал виновато:

— Я несколько преувеличил свое, так сказать, *position sociale*. Был, собственно, аспирантом. Но кончал уже... Видите ли: немцы не знают, что такое у нас аспирантура, и я им рекомендуюсь доцентом...

— Ну, мы-то не немцы, — буркнул невнятно Кожевников (молчал всю дорогу).

— Вам в эту дверь. Там живут переводчики. Старший — Яценко. Скажите, что я послал, и пусть поместит вас в своей комнате. Отыщет поесть чего-нибудь...

Было темно, но Плинка, как догадался Заряжский, все-таки раскланялся. Потом робко застучал в дверь пальцем...

Войдя в комнату, Кожевников нацепил ощупью свою — с перехватом — поддевку на крюк и повалился на кровать.

— Опять боли? — Заряжский чиркнул зажигалкой, отыскал в ворохе на столе коптилку из консервной банки. Красный язычок, повиляв по сторонам, остановился, выкинул к потолку тонкий усик копоти, осветил исхудалое кожевниково лицо с закушенной нижней губой над крылатой бородкой.

— Целый день мучают. К вечеру утихло было, а как посмотрел на этих... на излупцованных, — опять схватило... Что делают, победители! Отборная-то часть... Ох, как забирает!.. — Он повернулся лицом к коптилке. — Хлеб вот еще губит. Такого хлеба и луженый желудок не выдержит: костра, жмых, гнилая картошка... А из этой части у нас недавно еще с одним эсэсовцем оказия произошла. Франц — зовут. Толстомясый такой, в красном шарфе ходит. Не рассказывал я вам?

— Нет.

— Как же... Повадились ко мне в барак по вечерам. Зачем, как бы вы думали? — Боксировать с во-

еннопленными! На взводе, конечно, этак вполпьяна. Явится и давай противников выкликать. Ну, ребята, конечно, жмутся, по нарам расползаются. Куда ж там: без бокса чуть на ногах стоят. Так выберет сам себе кого поздоровее, с нар тащит. — «Начинай! — кричит. — Нападай первый! Бей». Злится. А как его бить? По-нашему, по-русски двинуть — так убьет потом. С револьвером ведь. Ну, пнет его какой-нибудь в брюхо или под ребро — и пропал, значит. Сейчас тот его по челюсти — ж-жик! и с ног долой. В этом, сукин сын, и практикуется. Доволен... «Фертик! — кричит, — нокаут!» И этаким образом с полдюжины обработает. Плачут ведь люди, как дети ревут.

— Бог знает что...

— Позавчера нашего Голиафа — видели его? — два метра десять, ступни — чисто детские гробики, четыре порции баланды даем — не сыт. — Так вот его в кровь избил. Кроткий парень, овца. И по силище своей мог бы этого Франца, как гниду, расплющить. Но, конечно, робеет, не решается. А тот на нем свой нокаут пробует. Раз ударил, два... Ну, разве такого свалишь! Третий раз ударил — кровь у парня из носу брызнула. Ребята кругом не выдержали. Заурчали. Так он револьвер выхватил. «Молчать! — кричит. — Всех перестреляю!»

— Вы не сообщили об этом?

— Доложил своему гауптману.

— И что?

— Раскипятился. Ногами затоптал. «Швейнерей!» — кричит. Хороший старик. Послал за Францем двух солдат с вахи. С полчаса отчитывал и в барак запретил ходить. Теперь он со мной встречается, Франц, — волком выглядывает. Будь я не я, если какую-нибудь пакость не учинит. Чтобы расквитаться.

Тянувшийся к потолку усик копоти сломился, пламя вильнуло в сторону. В дверь протиснулась голова с седоватыми космочками вокруг лысины, затем рука с мохнатым от копоти чайником.

— Входите, Фомич, входите!

Переводчик Фомин, или, как все его звали, — Фомич, юркнул в комнату. Лет пятидесяти, с дряблыми щеками, редкими усиками, ползущими в рот, Фомич (романисту нельзя не отметить такого, если пишет из быту) уже второй раз попадал в плен к немцам. Первый — в прошлую мировую войну («Лукавый попутал домой ворочаться. У бауера жил — как у Христа за пазухой. Домой попал — чуть с голоду не пропал. Жил, тужил, добра не нажил, на старости лет опять угодил за проволоку...»). Природа одарила его хваткой за жизнь цепчайшей. Вряд ли знал по-немецки больше полусотни слов, но с помощью их лучше всякого другого «налаживал контакты». Из переводчика сам себя добровольно произвел в общего денщика, называл «ордонансом» — слово, которое ему очень нравилось.

Посдвинув фунтики и банки, Фомич пристроил чайник на стол и, по-бабьи загорюнившись, уставился на Кожевникова.

— Страдаете? Извиняюсь сказать, бутылку не налить ли для тепла? Воздействует, может! Чайник, хотя, и поостыл, дожидавшись...

— Этот новый переводчик, что только что к нам объявился, — продолжал он мяукающим полушопотом, конопатя газетой бутылочное горлышко, — какой-то, извиняюсь сказать, робкий уж очень. Но аппетит! — мало что не меру картошки убрал, как за плечо перекинул...

— Скажите Ященко, чтобы его дня два не тревожили. Отдохнет, и шрам подживет немного, — тогда пусть включается.

— Странная личность! — проворчал Кожевников, задрав на животе куртку и пробуя бутылку ладонями. — Вишь ты: ни холодная, ни горячая...

— Это кто — ни холодная, ни горячая?

— Бутылка.

— Нет, чем же Плинк-то странный?

— Так как-то... Интеллигенция!..

Городок Б., на окраине которого расположился лагерь, был наполовину погублен «зажигалками» — огонь сглодал дома изнутри, а фасады стояли целые, и улица сквозь сизость мелкого, как туман, дождя казалась в перспективе будто и не разрушенной. И только вплотную мимо — зияли пустотой закоптелые раструбы окон, торчали за ними скорченные брусья, и лоскутья кровли, поддуваемые ветром, лязгали над головой.

Заряжский шел по искрошенному, в опухолях и лужицах, тротуару, с любопытством разглядывая вокруг — в первый раз вышел за проволоку, и всё казалось странным: уличный запах — прибитой дождем пыли, мокрого булыжника и пригорелого по пожарищам кирпича, гулкость шагов и мячики эхо, отскакивающие напротив. Вансович семенил рядом, шурша плащом-колокольчиком с дождевыми струйками по складкам вниз. Оба возвращались от коменданта дулага, оберста Брауна: пожелал вдруг видеть — «не о лагере ли говорить?»

Но оберст не заикался о лагере. Казалось, вовсе и не подозревал о существовании где-то неподалеку тысяч жизней, обнесенных колючкой. Радушно принял в пахнущем кожей кабинете, поблескивающим золотцем книжных корешков. Плотный, свежий для своих семидесяти, с серебряным бобриком волос и породистым профилем, — любезен был не по-современному. В любезности немецких офицеров, с которыми случалось встречаться Заряжскому, сквозила почти всегда какая-то высокомерная снисходительность. И слушали они его с оттенком дурно спрятанного любопытства, словно цивилизованного индейца, из Северной Америки, который, хоть и держится как надо, до времени, но вот-вот возьмет вдруг и выхватит нивесьть откуда томагавк. Оберст же был радушен без натяжки, сам, с уютной педантичностью старого немца, размещивал ложечкой в стаканах грог, слушал подкупающе внимательно, подставляя заросшее волосами ухо

(видно, был глуховат). Но — не о лагере, а о русском зодчестве и о Москве. Когда же — в конце — навел Вансович на Die Lage за проволокой, — недовольно поморщился. (— Ах, продовольствие, печки, солома... Alles Dreck!) и стал прощаться. Вансовича на минутку задержал у себя.

«Напрасный был визит, — думал Заряжский, укорачивая шаг, ради вансовичевой одышки. — Что же делать?»

Немецкий фронт подкатывался к Москве, и большие окружения кончились. Растянутые расстояния затрудняли транспорт. Новые партии прибывали теперь не прямо с прифронтовой линии, а из промежуточных лагерей, после долгих этапов, уже — в коже и костях. Отправка в тыл задерживалась, и население в конюшнях росло, как на дрожжах. Люди с боем брали каждый вершок цементного пола. Хлеба не было, и жиже-ла баланда. Больных уже не вмещал лазарет, и пришлось соорудить в одной из окраинных конюшен вспомогательный «санбарак»...

— Чорт их знает, о чем они думают, эти немцы! — горячился Кожевников. — Ну, лежат сейчас люди друг на друге, бутербродами. С пустым брюхом, но хоть спать могут, по крайности, пока морозы не тяпнули. Соломы мало, прелая она, во вшах, но ведь греет. Ну, а как вся эта труха смерзнется, колом станет. Что тогда? Жуть! А им — хоть бы хны! Их это вроде не касается. Давеча толкую интенданту в управлении — знаете, этому светлоглазому, с красной ряжкой: надо, мол, в бараках нары строить, печи ложить, зима на носу. — «Мы, говорит, скоро дальше двинемся, все это новому составу сдадим, пусть те хлопочут». Какково! Головокружение от успехов у них, захватчиков. А с нами говорят — будто нищему в шапку копейку бросают, туды их мать!.. Этот же интендант, краснорожий, — я ему бритву из трофеев отбирал, — так знаете: принес мне за нее щетку свою зубную, подержанную. В подарок... А? — Спасибо, не надо, говорю, у меня есть. — Не понравилось, вроде. — Может, говорит, вы не употребляете? В России, я слышал, не

распространено? — Очень, мол, распространено, но и то сказать: челюсти не так часто вставляют, природные зубы крепкие. — Закусил свои, искусственные. Обиделся...

«Да, что же делать?» — думал Заряжский, тщетно стараясь попасть в ногу с мелкой полурысью круглого зондерфюрера. — «Что?» Были они с Кожевниковым вполне беспомощны. Можно было получше организовать прием пленных, отправку на работы, чтобы избежать побоев и толчеи. Можно было пытаться освободить кое-кого из подростков и гражданских, попавших за проволоку случайно, выпустить несколько «местных» на поруки старост, — опрашивать, составлять списки, ходатайствовать. Но больше придумать было нечего. И еще он чувствовал, что заболевает: к сумеркам — вот и теперь, например, начиналось уж — приходило странное какое-то недомогание, озноб. «Малярия? Чохотка? Что это?..» — думал он. Это «думал он» в повестях вызывает досаду у иного читателя: откуда, мол, известно, что именно люди думают? — Но размышления Заряжского были так очевидны, что Вансович, например, разгадал их легко: на-ходу ухватив за пуговицу, сказал, не глядя:

— Да, разговор о делах не вышел. Не огорчайтесь, как-нибудь в другой раз... А старик прекрасный, не правда ли? Кстати: вы произвели на него впечатление, шансы ваши стоят высоко. Я с ним тоже на хорошей ноге, — главным образом, благодаря рому, который присылают мне из дому. Недурной ром, не правда ли? Во всяком случае, если у вас к старику будет надобность, — можете обращаться через меня...

К лагерю подошли одновременно с растянувшейся колонной пленных, медленно, как громадная рыжая улитка, подползавшей к воротам со стороны вокзала. Лица большинства покрывала слоем угольная пыль, мокро поблескивая под дождем.

— Опять, верно, на открытых платформах ехали! — заметил Вансович. — Вот вам на два часа работы. Моя помощь не понадобится, не правда ли? Я в Управлении буду.

Заряжский быстро пересек двор: взять плащ-палатку и идти принимать пополнение. Однако, миновать без помехи коридор между бараками было в это время дня затруднительно. Несмотря на дождь, пленные выползали из конюшен, жались под нависавшей крышей. Завидя переводчика, отрывались от стен, закупоривая проход, окружали плотным беспокойным кольцом. Вопросы, всегда однообразные, но всегда по-разному окрашенные личными оттенками тревоги и страдания, сыпались горохом:

— Переговорщик! Чи правда, що усіх українців до дому стануть пускати?

— Что же наш список, местных? — рассмотрели его или нет?

— Хлеба-то будут давать? Ног ведь не таскаем!

— Вот листовки бросали: «Комиссаров долой, бойцы домой!» А теперь что?

На большинство отвечать было нечего. Общие «утешительные» слова звучали в этой обстановке даже обидно.

— Тороплюсь, друзья. Новое пополнение принимать надо! — отговаривался находу Заряжский.

— Все-таки одну минуточку! — проговорил за спиной низкий, с басовыми нотками голос, и, догоняя, зачмокали по глине сапоги.

Голос показался знакомым. Заряжский прошел в нерешительности еще несколько шагов и остановился у угла барака.

— Знаю, что невежливо. Но когда в отчаяние впадаешь — тут уже не до вежливости, — сказал, подходя, высокий узкоплечий пленный в грязной командирской шинели и с чужой головы буденовке. — Помогите, если можете! — Из-под буденовки смотрели темные с желтоватыми белками глаза под некрутыми, почти прямыми дугами густых бровей. Лицо со строгими, обточенными худобой чертами, напоминало нестеровских святых.

— Чего же именно вы хотели бы?

— Еще немного пожить. В этой конюшне и на баланде я протяну максимум неделю.

— Да ведь видите, все... — начал было Заряжский и вдруг остановился. В невеселых этих глазах, как у Кожевникова, слишком уж сквозило что-то болезненное, мученическое.

— У меня язва, — ответил пленный, зябко потянув за отхлестнутый борт шинели. — Те, конечно, — он кивнул на барак, — не в лучшем положении. Но я говорю пока о себе.

«Где слышал я этот голос?» — напрягал память Заряжский, глядя на длинные исхудалые пальцы, ощупью прыгающие к крючку. — Мне кажется, что мы с вами раньше виделись?

— Совершенно верно. Не столько виделись, сколько слышали друг друга. Ибо было темно. Помните автоколонну, которую вы перекатывали через болото или ручей? На пути к переправе?

— Ах, так это вы были тот майор?.. Мы разговаривали тогда до начала обстрела.

— Вот именно. Духоборов — моя фамилия. Через реку мне так и не удалось перебраться. Взяли.

— Меня тоже. Но что же сделать для вас? Дальше, в тыл, не хотите?

— Поздно. Теперь мне уже не выдержать перевозки. Здесь я застрял, потому что спутался с одной командой. Ходили в город готовить дрова для немецкого казино. Там подкармливали. А дров наготовили — и команда лопнула. Вот уже с неделю ничего не жру.

— Как у вас с немецким языком?

— Плохо. В чтении я еще туда-сюда. А у живых немцев ни черта не понимаю.

Заряжский задумался. В помещении переводчиков жило теперь уже около двадцати человек. Были среди них «спасающиеся», не понимающие по-немецки ни слова: режиссер из Свердловска, у которого украли шинель и которого Заряжский привел погреться; какой-то эксцентрик из Одессы; еще — два пожилых московских профессора, вызвавшихся на самооборону Москвы и попавших почему-то в самое пекло фрон-

та, — эти тоже знали по-немецки небойко. Кожевников называл уже всю переводчицкую команду «кунсткамерой» и уверял, что немцы когда-нибудь произведут ревизию и выгонят «липовых толмачей» в шею.

— По специальности я техник-строитель, — басил Духоборов выжидательно. — Так строительства здесь не предвидится. Еще журналист, пишу во всех жанрах — от некрологов до лирической поэмы включительно. Так ведь газеты издавать никто не собирается. Наконец, на рояле. Могу по слуху танцы... Или настроить... Опять же ни к чему.

— Да... — согласился Заряжский, потирая висок. — Впрочем, постойте. Вы говорите: настроить... Рояль здесь есть, в лазарете. Старый, времён царя Гороха, но, кажется, не безнадежный. Струны целы, я смотрел. Сделаем так: я приму вас к переводчикам, в наш домик. Отрекомендуетесь настройщиком: мол, срочно потребовался рояль. В случае проверки немцы против этого культурного начинания возражать не станут. А вы недели две с ним повозитесь, отдохнете, а там видно будет. Согласны?..

— Да уж, конечно, согласен. Выбора ведь нету. Куда идти-то?..

**

Вечер выдался богатый встречами. Заряжский подросел к приему, когда Яценко уже выстроил прибывших в обычные два фронта и начал опрос. Рассаживая своей развинченной походкой по коридорчику, расставлял по местам переводчиков и дневальных из барачков. На левом фланге суетились санитары, разводя раненых, больных и просто обессиленных — сидели прямо на липкой глине. В правом просвете виднелась голова Гайлита с торчащими хрящеватыми ушами. Гайлит теперь больше не нервничал и не кричал, а молча наблюдал минут двадцать и шел восвояси. Опросы Яценко принял на себя. Сейчас уже вызвал командиров и на очереди был «еврейский вопрос». Когда не было немцев, его часто «забывали»; но с Гайлитом шутки были плохи.

— Евреи, если есть, — на левый фланг! — провозгласил Яценко, вертя головой в обе стороны коридорчика.

Люди в строю зашевелились, разглядывая соседей. Две-три фигуры, горбясь, вытолкнулись из рядов и, по знаку Гайлита, рысцой затрусили на конец построения. Яценко повторил вопрос. И тотчас же Заряжский увидел в нескольких шагах от себя, в первой шеренге, Яшу Гольцмана, с известково-бледным лицом, в длинной шинели — той самой, которая была на нем в памятную «ночь на колесах». «Неужто он тоже выйдет из строя?». При мысли о том, что должен испытывать Яша сейчас вот, после возгласа Яценки, и что произойдет, если он вдруг выдвинется из рядов, Заряжскому стало холодно. Он растерянно шагнул в сторону Гольцмана, еще не решив, что скажет или делает. Глаза их встретились. Испуг, такой бесконечный, что даже, казалось, не помещался в расширенных яшиных зрачках, сменился вдруг такой же безграничной радостью. Потом радость потухла, и где-то в уголках больших глаз дрогнуло сомнение...

— Здравствуйте, Яша! Давно не виделись. Что же вы не вышли с командирами? Ведь — лейтенант?

— Ах, товарищ Заряжский! — расцвел Гольцман, ухватывая рукав Заряжского обеими руками. — Вы здесь? Почему я не с командирами? Я — не знал... Прозевал...

— Вон туда идите. Вот в ту группу на правом фланге. Дневальный покажет вам барак, и сейчас же придете ко мне, в домик переводчиков. Слышите?

— Непременно приду. — Он быстро, путаясь в длинной, до пят, шинели, пошел к командирскому отделению. Навстречу по коридорчику приближалась долговязая фигура Гайлита. «Сейчас Гайлит остановит его и спросит, почему не вышел сразу. Заподозрит, пожалуй, что-нибудь!»

Но Гайлит своей прямой, слегка подскакивающей походкой прошел без остановки и, пожелав доброго вечера, завернул ко внутренним воротам.

Быстро смеркалось. Дождь все продолжал сыпаться. Люди в рядах стояли тяжело, придавленные усталостью и набухшими водой шинелями. Яценко длинногаче шагал из конца в конец фронта, с надрывом сосал самодельную трубку, которая никак не хотела куриться: промокла тоже.

По дороге домой Заряжский подошел к кучке командиров, выискивая Гольцмана. Но лиц в сумерках не было уже видно, а затем от кучки отделилась небольшая ладная фигура в меховом полушубке и щекастых над высокими сапогами галифе. Шагнула навстречу и по-немецки гулко щелкнула каблуками. Вглядевшись, Заряжский узнал Аристову.

— Господину начальнику! — козырнул Аристов, протягивая руку. — Привет!

В голосе его, как всегда, звучали насмешливые нотки. Руку протянул не просто, а с особой размашишкой и — тоже по-немецки — в перчатке.

— Вот как! Аристов! — сказал Заряжский (попытался — и не смог выразить голосом оживления). — И вы сюда. Не удалось избежать общей участи?

— Добровольно перешел. С целым подразделением. Что ж, вдрызг обо.....сь. Нечего зря и волюнку тянуть, шкуру свою дырять. Так-то, господин начальник. Прибыл вот теперь в ваше распоряжение.

— Я здесь не начальник, а просто переводчик, Аристов! Оба мы — в распоряжении немецкого командования, пленные...

— Нет, я именно к вам. В помощь, так сказать. До этого был в Г. (он назвал один из городов ближе к фронту). Там организовал лагерную полицию. Ребят подобрал — во! Ну, лагерь смотался, и меня — сюда к вам. Для той же работы. Бумажку дали, характеристику. — Он полез за пазуху, и Заряжский увидел на рукаве широкую с жирной надписью "Russ. Lagerpolizei" повязку. — Чорт! Темно, и дождь этот... После! Как у вас с полицией?

— Полиции у нас нет. Есть коменданты барачков и еще переводчики...

— Видите. Как же так? Без полиции нельзя. Ничего, организуем в два счета. Будьте уверочки!

— Об этом опять-таки надо — с комендатурой. Я здесь не распоряжаюсь.

— С лагерлейтунг? Это, кажется, там, между проволоками? Так я сейчас и отправлюсь. Договариваться! С результатами тогда к вам заскочу. Пока! — Аристов снова козырнул и, юрко повернувшись, направился к воротам.

«Экая приспособляемость напористая...» — подумал Заряжский, следя за его легкими, по-кошачьи упругими шагами. — Да вы по-немецки-то объясняетесь? — крикнул вдогонку.

Аристов не ответил: бережно, чтобы не забрызгать сапог, обходил тускло поблескивающие в сумерках лужи.

— Так смотрите же, Яша, — отыскал Заряжский в кучке командиров длинную шинель. — Жду вас!



Кожевников писал, подтянув к руке с карандашом отчаянно мигающую коптилку. Подыскивая слова, откидывался назад, шурясь в темный за дверью угол, снова склонялся низко, так что высвечивали глянцеви-то его напряженные скулы, а бородка оказывалась в опасности — вот-вот лизнет ее огоньком. Курил вазос — и в жидкий, как процеженный, красноватый свет над столом вползали сизые охапки дыма. — Он вел дневник, и Заряжский немало дивился этой привычке в таком «неписучем» на вид человеке (по профессии Кожевников был кооператор, окончил рабфак и затем — какой-то из новых институтов с туманным профилем). Заряжский, впрочем, любил, когда комендант выуживал из настольного хлама черную клеенчатую тетрадку. Это означало, что у него нет болей, и в полутемной комнате возникала ненапряженная, уютная тишина, в которой так хорошо думалось. Писал Кожевников — как говорил, не заботясь о литературности, и, должно быть, как раз поэтому напи-

санное обретало стиль. Он даже обычные в живой своей речи нецензурные «инкрустации» помещал в строчки, без точек, не рассчитывая на читателя. Как-то, сразу после приезда, Заряжский заглянул в забытую на столе свежую запись и прочел следующее, о себе:

«Вселили мне в комнату компаньона, переводчика. Фамилия Заряжский, звать, как и меня. Москвич, из ученых, худой и лобастый. По началу думал — заносится, оказалось — добрецкий. Однако, видать, балованный. И рыхлый — простуды боится. Всё ходит взад-назад маятником. Вчера пять раз в шашки его обыграл. С нужниками,!»

В присесты над дневником Кожевников становился как-то одухотвореннее: словно перебирался по строчкам, как по мостику, из узкого мирка повседневных забот в более широкий — отвлеченностей и обобщений. Записывая, часто, как бы между прочим, сообщал вслух то, что его особенно занимало из занесенного на бумагу.

Так и теперь: дописав, повесил над столом целую перину дыма и, отогнув перевернутую страницу ногтем, сказал:

— Этот-то полицай, приятель ваш... Аистов, что ли?..

— Аристов. До приятельства далеко. Ну, что — он?

— Ох и жук!! Всё управление взбутетенил. Фрика обворожил. Первое: полицейскую роту ему представил. Откуда только выискал. Все — как на подбор, здоровенные такие коблы, подтянутые. Вчера иду — что за дьявол! — на заднем дворе «Катюшу» поют. Остолбенел, ей Богу. Люди с голоду мрут — а тут пенье. У меня дома — тетка, десять лет параличом лежит, без ног. Так ежели бы эта тетка камаринского плясать взялась — не так, думается, удивился бы. Гляжу — а это он своих «строевым» гоняет. И у каждого — палочка. «Палочки-то, спрашиваю,

зачем?» — «По-европейски, — отвечает, — дубинки! Для порядка и внушительности».

— Как бы они этими европейскими дубинками порусски внушать не стали...

— А уж не преминут... Еще — строительством занялся. Чего я месяц добиться не мог, ему — пожалуйста! Тёсу дают, кирпича, во втором бараке половину для полицейских оборудует, половину — для командиров. Ой, пройда!

После своего первого визита в Управление Аристов не пришел, как обещал, «с докладом». Не был и на другой день, в который спроваживали Яшу Гольцмана — в команду лесорубов, «на утёк» к своим. Заряжский только мельком видел его, упругого, как мячик, в хлопотах около строителей. Явился только через неделю, к вечеру («согласовывать» с комендантом полицейские посты), с маленьким желтой кожи портфелем («откуда — у каналы?») и сигарой в зубах. Прощаясь, осмотрелся с прищуркой:

— Неплохо устроились! Я себе тоже жилплощадь отхватил. — Во! Сегодня да завтра подсоберусь маленько, а там приглашу на новоселье. Спрыснуть треба. И пожалуйста: без отказов. Не придет кто — враги будем! — щелкнул портфельным замочком, покосился на Заряжского. Левая щека дернулась, и в желтых прозрачных глазах повисло вдруг что-то мутное, тяжелое. «Скверные глаза. Уж не припадочный ли он какой-нибудь?» — подумал Заряжский ...

— А в общем, — дело дрянь, — продолжал Кожевников, помусолив во рту карандаш и готовясь начать новую страницу. — Мрут люди. Холод. За талончик в мой спецбарак, говорят, царскую золотую пятерку выкладывают. Не поймал, но слышал... А тут еще из винтовок хлопают людей. Дополнительно. Разве не подлость?

— Кто это — из винтовок?

— Да что вы, тезка, словно только сегодня из Москвы! — в сердцах повернулся Кожевников, явно досадуя, что помешали рассуждать вслух. — Кто? — Повестовые с вышек. Им приказано, чтобы не допускали

к проволоке. А здесь местных много, бабы к ним приходят, родные. Поговорить, передать что... Подступят к проволоке, сейчас этот, на вышке, щелк! — и нет человека. Понятно, если не промажет. Вчера двоих убили, пленных. Сегодня, вот уже совсем перед вечером, — женщину с воли. С ребенком. Упала и так ребенка из рук и не выпустила. Грудной. Жив остался. Заливается, тянется к титьке — и ручки в крови: как раз в грудь матери угодило.

Надув щеки, комендант с силой выстрелил из мундука в угол окурком и снова нагнулся писать.

В ноябре начались заморозки. За ночь глинистое месиво на дворе сковывало острыми с рваной бахромкой глыбками, лужи — стрельчатым ледком. К полудню отпускало, и сыпал липкий снежок. К полудню же выползали из барачков люди, с закопченными баночками в руках тянулись к кухне, за баландой, иные — к проволоке: искать «своих» или «поручителей». Санитары тем временем выбирали по баракам «мертвяков», по двору прогрохатывала их тачка: из-под плаща-палатки торчали грязножелтые, похожие на муляжи ступни.

У ограды — видел Заряжский вчера — строились необычные физкультурные пирамиды: на плечи двух-трех пленных взбирался четвертый — для связи с гражданскими по ту сторону проволоки, — деревенскими старостами, наверно.

— Климские йе? — кричал переговорщик, сложив ладони трубочкой. — Климские! Рудненские йе?

— Есь рудненские, ёсь! — доносилось из-за проволоки. — Звать ка-ак?

Трагизм этой переключки Заряжский вчера не додумал до конца, и теперь упрекал себя за безразличие. Была ли это усталость или постоянное ощущение нездоровья, или боязнь поддаться тяжелому впечатлению, но избегал заходить в бараки, разговаривать... Толпа всегда претила ему; сейчас это была толпа страдающих, с которыми страдал и он, переживая и их страдания, — и все-таки «дистанция» оставалась почти

прежней. «Черствость, черствость! У Плинка вот — не так»...

— Отыскал я этого вахтенного, — начал снова Кожевников, изложив эпизод на бумаге. — Того, что женщину застрелил. — Что, спрашиваю, вы делаете? Разве можно? — А он вертится, сам не рад. В глаза не смотрит. «Бефель, — говорит, — никс цу махен!» Неужто нельзя что-нибудь с этим бефелем поделывать?

— Специальных людей разве посадить у проходной будки, чтобы передачи принимали?

— Кого? — Где их взять, таких, чтобы не крали? Разве вот из вашей кунсткамеры.

— Из кунсткамеры? — Заряжский потер кончиками пальцев висок.

«Кунсткамера» сейчас поредела. Переводчики разбрелись по загородным командам. Два московских профессора пристроились в лазаретную каптёрку — стеречь вещи умерших, если их не успевали стащить санитары. Молчаливый Седых уехал-таки дальше, на запад. Подходил только Плинка (очень был «обходитель», как выражался Фомич, с пленными, выглядел не столь пришибленным, хотя и не перестал раскланиваться без нужды; вечерами вымечал на карте — синим и красным — линию фронта, делал прогнозы...). Еще, может быть, Духоборов, хотя этот брюзжал на всех и на всё.

— Что ж, может, Плинка с Духоборовым? — спросил Заряжский.

— А почему нет! По крайней мере, красть не станут.

— Я поговорю с Вансовичем...

В дверь постучали.

— К вам, табачку стрельнуть! — прогудел Духоборов с порога. — Невтерпеж стало.

— Как ваш рояль, подвигается?

— Черти бы его драли. Калоша, а не рояль. Колки деревянные, ссохлись. Вечером настраиваешь, а наутро спускают, и каждая струна свое дерет. Ну, да я вчера изловчился: полил эти самые колки водой, как капу-

сту, — разбухли и держат покамест. Высохнут — опять все к дьяволу пойдет...

— А мы тут с комендантом вам новую работу нашли.

— Заранее согласен. Лишь бы не воду в ступе толочь. Какая работа-то? — спросил он и сел на табурет, упершись ладонями в острые коленки.

— Посылочное бюро оборудовать. Для передач с воли. С Плинком вместе...

— С Плинком??

— А что, возражаете?

— Да нет, чего же... Надоел он мне, по правде сказать. Очень уж нудный. Вечно со своими латинскими изречениями, цитатами. Боится, верно, что без них его за дурака сочтут. Сейчас вот только что начал из Некрасова стишата приводить, прохвоста этого.

— Ну, чем же Некрасов — прохвост? — удивился Заряжский.

— Тем, что выдавал себя за поэта. И вообще — прохвост, как и Чернышевский и прочие основатели революционного словоблудия в литературе. Ну, да это неважно. Плинк или другой кто — все равно, согласен.

— Он дельный, Плинк-то, — заметил Кожевников, подмигнув Заряжскому. — Зондерфюрер не нахвалится. Если нужно кого по спискам с воли отыскать — из-под земли вытащит. Старательный!..

— На сальце рассчитывает, потому и старательный! Или думает, что бабенка какая-нибудь в замужья приглядит.

— Преувеличиваете!

— Ничуть не бывало. Не человек, а аппетит в штанах. Настоящий рыцарь чечевичной похлебки. За нее и первенство продаст, и в зятя согласится.

— Ну, вы, небось, к старосте тоже не отказались бы, если бы взял?

— Возьмет ваш староста кого-нибудь без взятки, чорта пухлого! Кого можно ободрать, — того, пожалуй, вытребует. По-православному!

— Причем же тут православие?

— А притом, что обдирать — это у нас в крови. Народ-богоносец! Хотел бы я знать, кто первый этот комплимент выдумал. Я бы его — сюда, в лагерь, чтобы на богоносца как следует полюбовался. Вчера, между прочим, на верхнем дворе наблюдал: стоит старуха по ту сторону проволоки, а по эту — пленный. Предлагает ей рубаху, единственную, прямо с тела. А она ему в обмен хлеба сует. Небольшой такой каравайчик — фунта два, больше не будет. Причитает при этом, как водится: «Родименькие вы мои, что же это с вами делают!» — и тому подобное. Я нарочно задержался: чем, мол, кончится? Что же вы думали: содрала-таки с человека рубаху. Так и пошел «родименький» в шинели на голое тело. Вот вам и православие, и народ-богоносец... Ну, я пойду, — поднялся он, отодвигая к столу табуретку. — Спокойной ночи. А на работу — всегда готов!

— Ничего себе, язычок! — хмыкнул Кожевников, прикрывая плотнее за Духоборовым дверь. — Никого не милует. Тоже, как и Плинтус ваш, — интеллигенция, только закваска другая.

— Какая же?

— Кто ее знает, какая... Вредная закваска.

**

Перед окном комнаты, где жили Заряжский с Кожевниковым, стоял теперь до темноты «пост» — маленький киргиз-полицейский Урсулов. — Изобретение Аристова.

Заряжский только что перевел сводку по лагерю и подошел было к окну, чтобы вызвать Урсулова, но тот опередил: в окно глянула скуластая физиономия со смешно вплюснувшимся в стекло носом и узкими, как в копилке прорезанными, щелочками глаз.

— Господин Завряжский! — крикнул Урсулов. — Тيبة зондафура бежит. Гостя.

«Зондерфюрер идет! С чего бы это он утром?».

Вансович пришел не один. Длинный Петер в немецкой шинели без погон тащил за ним, растопыркой за углы, большой набитый чем-то мешок.

— Ставьте сюда, вот — в угол. Спасибо. Можете идти. — Здравствуйте! — сказал Вансович, снял высокую свою фуражку и вытер платком лоб (ему все было жарко, несмотря на мороз на улице). — Вам подарок от оберста: мешок табаку в листах. Скверного, конечно, махорочного, но все-таки очень мило с его стороны, не правда ли? Я думаю, курить вы его не сможете. Ну, используйте в качестве фонда. Для премий там или за работу.

«Очень даже буду курить, — подумал Заряжский. — У Кожевникова иждивенничать не придется».

— Спасибо. Табак — очень кстати. Если его обработать немножко, — будет хорош.

— Бросьте! Я вам лучше пачку рижских презентую. Берите, у меня много. Вчера посылку получил. И ликеров. Ну, и попробовались мы вчера у оберста!

От него и сейчас тянуло спиртным духом. Заряжский улыбнулся.

— Ну, да, — перехватил улыбку Вансович. — Сегодня — охо... опо... как это? — опохмелялись. Русский обычай — опохмеляться на утро, не правда ли?... Всё это пустяки! — перебил он себя, и лицо его приняло вдруг озабоченное выражение. — Неприятная новость. То есть не то, что неприятная, но хлопоты. Сегодня вечером — женский Zugang к нам. Человек двести. Всех, видно, собрали, по всей армии. Как их разместить, — вот головоломка?

— Женщины? Почему же их — сюда, в дулаг?

— Так ведь они военнопленные. В армии служили. Говорят, даже на командных должностях. Главным образом, впрочем, медицинский персонал, сестры. Мы постараемся, конечно, сплавить их поскорее дальше. Но ночевать-то устроить надо? Да и потом с транспортом плохо, могут задержаться на пару дней. Где? У нас там переполох. Оберст так и приказал — прежде всего поговорить с вами. Скандал, а? Не правда ли?

— Не так сложно, — сказал Заряжский, подумав. — У нас же есть помещение для командиров. Знаете, во втором бараке, где полиция? Командиров

вчера отправили. Кто-то там, кажется, ночует, чтобы зря не пустовало, но мы освободим.

— Да что вы! Bravo! — обрадовался Вансович и даже хлопнул несколько раз в ладоши. *Ausgezeichnet!* Как гора с плеч! Теперь только пусть господин Кожевников прикажет там прибрать и вытопить. А я распоряжусь насчет продовольствия.

— Куда же везут их, этих женщин?

— В Германию. В специальный лагерь. Распределят, верно, по фабрикам, на работу. Участь незавидная, говоря между нами. Жаль. Да, надо принять меры, чтобы между женщинами и нашими военнопленными никакого общения не было. Об этом наши, в Управлении, больше всего заботятся. Как быть?

— Ну, там полиция под боком. Сказать Аристову, поставит часовых.

— Гм, Аристову. А не будет это как раз то, что мы... как это говорится — козла в огород? Кажется, господин Аристов как-то обронил, что вы с ним приятели. Верно это?

— Знакомы по работе в дивизии, но едва-едва. И впечатление от этого знакомства было такое, что...

— Что за его векселя вы бы не поручились, не правда ли?

— Ни в коем случае! — засмеялся Заряжский.

— Ну, вот и возьмите, пожалуйста, ответственность за этих амазонок на себя. Я господину Аристову так и объявлю: по приказу, мол, оберста, не правда ли?..

10.

Танковые часики показывали одиннадцать. Кожевников спал, закинув кверху крылышки бородки и тонко, по-старушечьи похрапывая.

Заряжский в шинели внакидку ходил по комнате, одолевая охоту прилечь. Озноб еще не оставил его, во рту стояла горьковатая сушь только что отпустившего жара...

Весть о прибытии полонянок живо облетела лагерь, взбудоражила, если не основных обитателей барачков, то во всяком случае так называемый «должностной» персонал. Даже Урсулов явился после обеда в аккуратно подтянутой шинели, и редкая, как рассада, на его щеках и подбородке растительность исчезла.

— Что, Урсулов, в парикмахерской был? — спросил Заряжский.

— Сегодня лагерь баба везут. Бролся! — ответил киргиз, улыбаясь во все крепкие редкие зубы.

До темноты Заряжский сам ходил во второй барачок, чтобы проверить приготовления. Печка посредине была раскалена добела. На полу грудилась солома. Двое полицейских настилали ее на нары. С десятков других стояло по углам без дела. В воздухе висела пыль. Заряжский поморщился от пыли, и от этого присутствия зевак в помещении: не любил полицейских Аристовых. На них уже жаловались повсеместно. Однако двое, возившиеся с соломой, работали так старательно, с такой домашней, не-казенной заботливостью выравнивали постилку, что он смягчился.

— Подметёте потом тут!

— Сделаем, как надо, не сомневайтесь!..

«Что же этот цуганг, придет когда-нибудь или нет?» — с досадой подумал Заряжский и сел на кровать. «Не может быть, чтобы известить забыли. Яценко там дежурит». — Сел поудобнее и уж накренился к подушке, но в окно застучали:

— Господин переводчик, прибыли!

Он надел шинель в рукава и вышел на улицу.

Было темно, как всегда в последние вечера, без малейшего проблеска или полутеней. Падая пухлый мокрый снежок, но начинало уже подмораживать. Холод полез за обшлага и за ворот, и снова крепко схватило плечи ознобом.

Пройдя между рядами барачков, Заряжский увидел впереди мутную в радужном венчике лампочку у управления (зажигалась, когда приходил цуганг), а поближе, — еще более тусклую желтую кляксу фонаря. «С фонарем, верно, Яценко».

Яценко действительно стоял у внутренних ворот, расставив длинные ноги и раскачивая в вытянутой руке «Летучую мышь». Рядом толпилось несколько полицейских.

— Прибыли! — сообщил Яценко. — Аристов пошел в барак, там будет встречать. Вот и зондерфюрер.

Шурша плащом, запыхавшись, подкатился Вансович.

— Наконец-то! — сказал он. — Заждались, не правда ли? Ну, у вас, конечно, все готово? Просили только их сосчитать. В бумагах значится 208. Проверьте, пожалуйста, как следует. А я уж вам не понадоблюсь, не правда ли? Пойду спать.

Хлюпанье множества неровных шагов приближалось к воротам.

— Я буду светить, Саша, а вы считайте! — взял Заряжский у Яценки фонарь. Выжидательно уставился в шагающую темноту.

Мысль о том, что в этой партии пленных женщин могла оказаться и Милица, мелькнула у него еще утром, при сообщении Вансовича, и прочно утвердилась среди никогда не оставлявших гаданий о судьбе девушки в укатившем куда-то в ночь броневичке.

Но он тотчас же вспоминал при этом, что вынес и видел сам за два месяца плена и что пришлось бы увидеть и вынести этой вчерашней школьнице, почти девочке, такой доверчивой и беспомощной. Вспомнив, решительно отбрасывал возможность этой встречи. «Нет! Броневичок как-нибудь да пробился к переправе. И, значит, она у своих. И слава Богу. Плен был бы катастрофой, жестокостью! Нет, не может быть!».

Он с состраданием смотрел на жалкие фигуры, слабо освещенные тусклой, едва раздвигающей темноту рыжеватинкой фонаря. Они шли парами, молодые и старые, больше — молодые, — в шинелях, в тяжелых, облепленных глиной сапогах, сплюснутых дождем беретах, пилотках и простоволосые. Медленно и

неверно, как их шаги, спускались сверху в рыжеватинку мокрые снежинки. Женщины везде оставались женщинами: скользя или попав в лужу, они вскрикивали, хватались друг за друга, и кое-где после выкрика сыпался в темноту такой непривычный за этой проволокой девичий негромкий смешок.

«Ну, разве можно было бы представить ее здесь?» — повторил про себя Заряжский и как-то сразу успокоился. Возможность стала казаться вполне нелепой. Поэтому, когда несколько секунд спустя он вдруг увидел Милицу, — вся кровь, так лениво поднимавшаяся раньше к зябнущим лопаткам, кинулась в голову, потом отхлынула к плечам, — и стало жарко.

Никогда не мог Заряжский объяснить впоследствии, как удалось ему опознать ее в этой удалявшейся, наполовину скраденной мраком и плащом-палаткой фигуре. Может быть, впрочем, как раз — по палатке, так же, как и в ту ненастную ночь первой встречи, накинутой на голову, или по едва уловимому своеобразию походки, которое он заметил еще во время бегства с атакованного КП.

«А вдруг обознался? Что тогда? Хорошо или плохо?» Веренице, казалось, не было конца. Яценко громко отсчитывал пары. Дальше, в темноте, бормотали полицейские, — тоже, должно быть, считая для верности.

— Вы, Саша, продолжайте тут, а я пойду смотреть, как их принимают, — сказал Заряжский, обходя сзади Яценко, и передал полицейскому фонарь. — Пошел с колонной, стараясь делать шаги помельче, не обгонять.

В узеньком коридорчике барака из открытой вовнутрь дверцы сочилось тепло и электрический свет (Аристов настоял на этом комфорте для полиции). Заряжский остановился у косяка в какой-то внезапно возникшей нерешительности.

«Вдруг ошибся. Войду и — никого. Лучше подожду, пока побольше наберется. Тогда уж...»

Одна за другой фигуры в беретах и пилотках входили в коридорчик и на секунду задерживались перед

низкой с высоким порогом дверцей. Он наблюдал, как странно прояснялись встречным светом и, должно быть, предчувствием отдыха и тепла утомленные лица.

Наконец, за последней парой прогромыхали сапогами несколько полицейских и, согнувшись, пролезли в дверь, прикрыв ее за собой. Внутри, за дверью, теперь жужжало и звенело, как в аудитории перед лекцией.

— Внимание! — крикнул оттуда Аристов (видно, вскочил на какое-то возвышение), захлопав в ладоши. — Внимание!

«Теперь он в своей сфере!»

— Девушки и... не-девушки! Это отделение моего барака предоставляется вам для ночлега...

«Девушки и не-девушки!» — повторил про себя Заряжский. — «Вот скотина!» — Он толкнул дверь и, нагнувшись, вошел в помещение. И сейчас же, еще только переступая порог и не успев даже выпрямиться, увидел Милицу.

Она стояла в самом дальнем конце барака, — выше других почти на голову, — тесно вжавшись в угол между стенкой и концом нар, и, сдвинув брови, не мигая смотрела на говорившего Аристова. Палатку она скинула, и косы лежали не как обычно, короной, а свешивались двумя жгутами на грудь и к узкому стягивавшему талию ремешку.

«Похудела как!» — думал Заряжский, осторожно пробираясь сквозь толпившихся около Аристова женщин.

— Милица!!

В темных вскинувшихся на него глазах вспыхнули, сменяя друг друга, испуг, удивление, радость... Исхудавшее лицо зарумянилось, и, словно согретая этим румянцем, расцвела на нем знакомая, с ямочками на щеках, улыбка.

— Вы? Как же вы... — Она не закончила, не найдя слов, и, высвободив из-за спины, подала ему сразу обе руки, — не тем уверенным движением, как это делают женщины, а робко, как дети на зов...

Заряжский почувствовал, что слов для приветствия не пришло и к нему, — крепко сжал ее теплые в жестких раструбах обшлагов руки.

Аристов кончил говорить, соскочил со стола. Кивнув полицейскому, пошел с ним к выходу. Снова стало необыкновенно шумно.

— Идемте, Милица, ко мне! У меня поговорим. Здесь невозможно. Через часок провожу вас обратно.

— О, охотно! Только можно — мы вдвоем... С Руфью?

— Ах, это ваша фронтовая приятельница? Где же она? Конечно, можно.

— Вот она, Руфь! — Милица наклонилась и потянула за руку сидевшую с ногами в глубине нар черноволосую девушку. Только целиком поглощенный встречей мог Заряжский до сих пор не заметить двух громадных смотревших на него оттуда глаз.

Руфь спустила ноги в низких с высоким каблучком сапогах и, соскочив, оказалась лицом к лицу с Заряжским.

— Руфь, — сказала она, — искоса, с какой-то лукавцей, как показалось Заряжскому, посмотрев на него, и поправила маленькой рукой сбившуюся на кудрях пилотку. — Будем знакомы!

«Ну, глаза! — подумал Заряжский. — Как у Гольцмана. Только у него почти без ресниц, а у этой и ресницы какие-то необыкновенные. Не глаза, а лесные заводи!»

— Так пошли, не теряя времени!

Стали втроем пробираться к выходу, чувствуя на себе со всех сторон любопытно-вопросительные взгляды.

Аристов стоял у входа в барак: попыхивая папирсой, объяснял полицейскому у дверей обязанности:

— Сюда — никого! Понятно? Не приказано и — точка! Их, ясное дело, выпускать. В уборную, не дальше.

— Я нашел двух знакомых, — сказал, не останавливаясь, Заряжский. — Веду ужинать. Поужинают —

доставлю обратно. — Переходите осторожно, по кирпичам, здесь утонуть можно.

— Так, так... — несколько растерянно отозвался Аристархов, пытаясь разглядеть в темноте спутниц Заряжского. — Вот как! — добавил он удивленно и уже обычным своим насмешливым тоном, узнав, повидимому, Милицу.

Они перебрались уже через подплывший грязью проход, когда из темноты к бараку прохлюпали широкие шаги и срывающийся басок Яценко спросил: — Ну, как разместили? Где Алексей Филатович?

— Двух девчат к себе потащил. Приказы, видно, не для него даются.

«Пусть бесится. Лишь бы сегодня не побежал докладывать. Завтра — на здоровье!» — подумал Заряжский.

— Узнали вы своего приятеля, из ОРБ? — обернулся он к Милице.

— Да, сразу, в бараке еще. И испугалась ужасно.

— Ничего, не страшно!.. Вот сейчас еще одно Дарьяльское ущелье — и наш домик. А я вас никак не мог представить себе в плену. Сколько ни думал. Всегда уверял себя, что остались со своими. Выкарабкались...

— Наш броневичок сразу же тогда у леса и захватили. Мы, наверно, слишком в сторону отъехали. Немецкие танкисты... Потом меня отправили в М. Там я и с Руфью встретилась.

«Вот ведь как просто и коротко... А сколько я развязок воображал, сложных таких!»

— Не обижали вас немцы? — задал он самый тревожный из всех так часто подступавших и мучивших вопросов.

— Нет. В броневичке даже шоколадом угощали. Одежд натащили на ночь. И потом, в сборном пункте, тоже ничего обращались.

— А кормили плохо? на сборном пункте-то?

— Там — плохо.

— И сейчас вы, наверно, умираете с голоду. А? Очень хотите есть?

— Очень-очень! — ответила за Милицу Руфь. — Быка съели бы!

— Ну, вот последняя топь, — осветил он лужу у сарайчика. — Здесь, впрочем, подморозило, — меньше ходят. Сейчас разбудим Кожевникова — это русский комендант, вместе живем. И что-нибудь придумаем на ужин. Сюда, пожалуйста.

В комнате было темно и банно от на-совесть раскаленной Фомичом печки. Кисловато паховало табаком и черными сухарями. Кожевников все так же тихонько похрапывал на кровати.

«Не выругался бы со сна», — подумал Заряжский, осторожно нащупав его плечо.

— Гости у нас. Поднимайтесь!

— М-м-м... Гости... Выпили вы, что ли, тезка?

— Да когда же это я выпивал!.. Две девушки из этапа. Знакомые. Вставайте же, Алексей Степанович, неудобно!

— Девушки? Ах, из этапа! — дошло, наконец, до Кожевникова. И — к нам?

— Да вот сидят, в комнате.

— Пойдите, как же мне...

— Я подожду со светом. А вы одевайтесь живенько.

Кожевников затормошился, отыскивая и натягивая на себя одежды. Кровать тряслась и скрипела. Заряжский, ощупью отыскав коптилку, потряхивал в воздухе спичечной коробкой.

— Готов! — доложил комендант.

— Вот и отлично. Даю свет. Знакомьтесь: Алексей Степанович Кожевников, бывший капитан, а ныне — городничий здешнего города за проволокой. — Милица. Руфь. Для них нужно придумать поужинать. Обе голодны, как молодые волчата.

— Да, да, конечно! — зашепшил Кожевников, пожимая девушкам руки. — Только — что же у нас? Есть щепотка чаю и немного леденцов. Еще — лимон. Да! Фомич говорил, оставался кусок мяса на завтра. Только... — Он наклонился к уху Заряжского и продолжал шопотом, который можно было слышать на ули-

це: — Только — конина. Может, они не будут конины?

— Очень будем! — звонко сказала Руфь, улыбувшись Кожевникову со своего табурета.

— Так я сейчас сбегаяю. В два счета! — Он схватил со стола какую-то мисочку и выбежал из комнаты.

— Какие девушки! — снова шепнул на ходу Заряжскому, оттянув его к двери за рукав. — У черненькой-то глазищи! А? И другая, с косами, тоже... Прямо тургеневская какая-то! И в летних гимнастечках обе, бедные... Я сейчас!..

**

Доставленный Фомичом «гуляш» из конины был съеден мгновенно. Кожевников суетился и сиял, как именинник. Подкладывал в кружки кружочки лимона, предлагал конфеты из прозрачного липкого конвертика. Суховатое скуластое лицо его казалось помолодевшим, потеплело. Глазки, как приклеенные, не отрывались от поминутно вспыхивающей блестящезубой руфиной улыбки.

— Еще чайку! Вот, чорт возьми, сахару нет! С лимоном и леденцами — не идет!

— Отлично идет! — подставила Руфь кружку и опять улыбнулась. — Вы только подумайте: два месяца на баланде — и вдруг такое пиршество. Даже голова кружится!

Тонко выточенное, под небрежными кудрями, лицо ее казалось временами слишком строгим и энергичным для ее молодости. Над бровями и в углах губ ложились, когда она задумывалась, тонкие, как шелковинки, морщины какого-то внутреннего тревожного напряжения. Но улыбка, возникая, мгновенно стирала выражение строгости, освещая не только лицо, но, казалось, и всю полутемную комнату, задорной, победительной прелестью юности.

«Ведь, вот читал где-то: «брызжет улыбкой», — рассуждал про себя Заряжский. — И всегда находил

метафору надуманной. А эта вот и в самом деле брызжет... Как клубникой со сливками!»...

Сообщения о пережитом кончились. Милица, впрочем, больше молчала. За обеих рассказывала Руфь.

— Ну, и куда же нас повезут дальше, господа начальство? — спросила она подконец, кладя в улыбающийся рот маленькими пальцами карамельку.

— Гм... — беспомощно посмотрел на Заряжского Кожевников.

— Я слышал — в Германию. В особый лагерь. Или — на работу по предприятиям...

Помолчали.

— Скажите, Милица, — спросил Заряжский. — Вы хотели бы остаться в лагере? — Мысль пришла внезапно, хотя и возникла из архива прежних, давно передуманных вариантов. — При здешнем лазарете. Медицинской сестрой?

— Господи! Конечно! Если бы только можно. Я так боюсь этих этапов, неизвестности и...

— Завтра попытаюсь. У них там, в лазарете, есть три сестры. Почему нельзя еще четвертую? В крайнем случае обращусь к оберсту. Только вот: пусть вы будете родственницей. Сестра — нельзя, скажем — кузина. Наши матери были сестрами. Идет? Встретил родственницу и, стало быть, хлопочу. Только забавно — фамилию родственницы не знаю. Милица Аркадьевна...

— Паншина.

— Вот как? У вас и фамилия... тургеневская! — покосился он на Кожевникова. — А вы помните — откуда, из какого романа?

— Помню! — по-школьнически задорно ответила Милица.

— Очень хорошо. Затем — год рождения?

— Двадцать третий.

— В Смоленске?

— В Смоленске. Но жили мы последнее время...

— Остальное неважно. Это я хотел знать для так называемых Personalien, если потребуется.

Сколько раз впоследствии проклинал себя Заряжский за это возмутительное «неважно». Сколько ночей подряд вышаривал в памяти отсутствующее там название городка, в котором жила Милица с родителями до начала войны. Но сейчас был слишком занят казавшимся единственно важным — завтрашним днем.

— Почему-то я думаю, что это удастся! — сказал он, избегая смотреть на Руфь.

— А Руфь? — спросила Милица. — Как же она? Если бы нам вместе...

Он ждал и боялся этого вопроса. Головоломка та же, что с Яшей Гольцманом, возникала вновь. Был уверен, что Руфи лучше ехать дальше. Так легче было затеряться в массе, среди чужих людей.

— Могу поговорить и насчет Руфи. Но устроить обеих труднее, а потом — как знать! Может быть, Руфи с ее энергией удастся обосноваться лучше, прочнее, чем здесь. Здесь, надо вам сказать, удивительно много склоки и дразг между русскими. В лазарете особенно. Грызутся, пишут друг на друга доносы. Ко мне некоторые попадали для перевода: тот был комиссаром, тот активным членом партии... Мерзость! В этом смысле работать среди немцев много спокойнее.

— Но вот меня же вы хотите туда устроить? — недоумевала Милица. — Значит, и Руфь могла бы...

— Вы будете считаться моей сестрой, стало быть — под защитой. А Руфь... «Поняла она или не поняла?» тоскливо подумал Заряжский, искоса поглядев на кудрявую голову девушки.

Но Руфь поняла. Она странно, не по-обычному усмехнулась, и за углами губ легли чуть вмятые шелковинки морщинок.

— Не знаю, — вздохнула она, — вскинув на Заряжского погрустневшие глаза. — Кажется, все-таки я бы осталась... Меня здесь никто не знает, а сбаваться с людьми я умею.

— За Руфь буду хлопотать я! — объявил Кожевников, захватив пальцами бородку.

«Этот вот ничего не понял!» — подумал Заряжский. «Впрочем, может быть, и хорошо получится, кто знает!» — Отлично! — сказал он. — Будем хлопотать завтра за обеих. Разом.

Милица улыбнулась радостно.

— Эх! — закричал Кожевников. — Сейчас бы бутылочку раздавить за успех предприятия! Московской бы горькой! — Нету, чорт возьми! — Он комично развел руками.

Теперь заулыбалась и Руфь. От двух улыбок в комнате словно утро взбрезжило.

«Ведь как улыбаются обе! — снова подумал Заряжский, посматривая поочередно на просветлевших девушек. — А разные улыбки: у одной — тихая, словно на флейте ее сыграли, а у другой — целый симфонический ансамбль. Славные девушки! И таких вот — в барак!»

11.

Наутро Заряжский едва мог дождаться девяти, когда приходил обычно в Управление Вансович.

В комнате начальников был только интендантский капитан. Курил за своим столом, развернув какой-то журнал с иллюстрациями.

— А, господин... господин... Все забываю вашу фамилию. Вот посмотрите-ка. Это ведь ваш Heimatstadt. Узнаете место? Вот тут?

На снимке, сделанном с самолета, были изображены застланные дымом городские кварталы. Внизу стояло: «Часть Москвы, Красная Пресня, зажженная нашими самолетами».

— Gut? Nicht wahr? — спросил капитан и не то с вызывающим, не то с наивным любопытством посмотрел на Заряжского младенческими глазами.

— Я не могу сказать "gut"... Именно потому, что это мой Heimatstadt, как вы говорите, — ответил Заряжский, особенно внимательно, чтобы не задрожали

руки, кладя журнал на стол... «Щелкнуть бы его этим журналом по физиономии. Звонко, как мух бьют!»

— А, разумеется, разумеется! — спохватился капитан. — Я спросил только в том смысле, что, мол, и мы с вами скоро там будем, не так ли?

«Мы с вами», «там!»... — припомнилось сразу и о «зубной щеточке» (рассказывал Кожевников про этого же капитана), — и тяжкое ощущение двойственности существования, какой-то расщепленности на миг заслонило всё. Разгром советских армий, эти пожары... Крушение режима? (так по крайней мере казалось большинству запроволочных). Крушение освещало какие-то перспективы в будущем, радужные, должно быть... Но — Москва, например, сожженная, разрушенная! с немцами, этим вот капитаном с зубной щеткой, — она не могла, не хотела в таком будущем помещаться!.. «Что сказать ему?»..

Вошел Вансович и, увидев Заряжского, сделал большие глаза. — Ко мне? Так рано? Ничего не случилось с этой дамской партией, я надеюсь?

— Я по личному делу. Помните, вы как-то говорили, что могу в случае нужды обратиться через вас к оберсту? Сейчас как раз такая у меня особая необходимость...

— Гм... Я думаю, это можно устроить, — сказал Вансович, выслушав просьбу. — То есть в отношении именно вашей кухни. Оберст наверно захочет сделать вам приятное. Поговорю с ним в казино, за обедом, неофициально. А Фрика просить опасно. Он взбалмошный, как посмотрит — неизвестно. К тому же — бабник и может просто позавидовать. Да, да, он такой! Смешно, неправда ли?

— Нужно, наверно, согласие Камского, главного врача. Чтобы подтвердил, что сестра действительно требуется. Если спросят...

— Ах, кто его спросит! А вот с Шустером — это ваш Oberstabsarzt — поговорю. Хорошо, что напомнили. Он в лагерь не ходит, а лазаретом интересуется. Старый член партии, почти фанатик, его слушают. Душа же добрая. С его содействием мы лю-

бую Бастилию возьмем. Видите ли: по части женщин в лагере наши очень щепетильны. Строго между нами: девица эта действительно — ваша двоюродная сестра?

— Строго между нами — нет... Но я уж объявил так всем и буду на том стоять. Романтического здесь, — договорил Заряжский, чувствуя выжидательный взгляд Вансовича и краснея, — тоже нет. Девушку знал еще на фронте, теперь встретил чудом — и хочу спасти...

— Это как раз я и хотел знать! — сказал Вансович и полез за платком. — Почти уверен, что мы ее вырчим. А насчет той, другой, — пусть лучше хлопочет комендант у гауптмана Зейлера. Не правда ли?

— Когда я смогу узнать? Не пойдет этап неожиданно на отправку?

— Какое там! Дня на два застрянут. После обеда пришлю Петера с результатом.

Старший врач лагеря Камский (из партийцев, — доносы сыпались на него дождем, но их клали под сукно: был толковый) жил на четвертом этаже в недурно обставленной комнате с многоспальным диваном и огромным, похожим на гумно, круглым столом (заседал за ним с «медицинским советом»).

— Ба! Вот редкий гость! — закричал он навстречу. — Неужто и я, наконец, вам понадобился? — Потирая крепкой волосатой рукой бритую голову, подвинул гостю кресло и уселся напротив. — Чем могу служить?

— Хочу вам еще одну сестру подбросить. У вас три, так чтобы было четыре. Затем и пришел. Смогли бы устроить?

— Сестру? Знакомую, что ли?

— Кузину свою. Вчера в женской партии отыскал.

— Без звука! Сейчас и койку четвертую поставить велю. Они там втроем в комнате: Ляля моя, Зинка и Тамарка. Как раз еще для одной место свободно.

— Разрешения-то я еще не получил. В обед обещали результат.

— Разрешат. Должны разрешить, раз родственница и прочее. Нет — койку недолго вытащить. После обеда и приводите.

— Спасибо.

— Не стоит. Должны же мы на этой каторге тоже какое-нибудь утешение иметь. Укатают тебя за день эти трупы непогребенные — жизни не рад. А с девками, смотришь и легче дышится. Они у нас славные. О моей Ляле я уж и не говорю. Зинка — эта сейчас Гайлита. Знаете — из Управления, по-русски говорит? У него почти всегда и ночует. А Тамарка ничья. Мазу за ней дают со всех концов, но — держится.

— Кузина моя совсем молода, и тут отношения, так сказать, родственные. Не больше.

— Да? — недоверчиво переспросил Камский. — Ну, это — дело хозяйское. Приводите, значит. Заметано! Ну, а вообще как жизнь? По вечерам всё температурите?

— Попрежнему.

— Надо бы на рентген. В городе есть, в немецком госпитале. Вы бы поговорили.

— Не хочется как-то о себе. Кругом больны. Кожевников вот тоже каждый день корчится. Язва.

— Если не хуже. Да, это вы правы. Все больны. До заморозков дожили, а перезимует только четвертая часть.

— Ну, что вы!

— Точно. От поноса и истощения, если питание не улучшат, вымрет половина. Прибавьте морозы. Ну, а потом — тиф.

— Так ведь нету еще?

— Будет. Вшей-то ведь тучи. Вы посмотрите на больных — уже по лицам ползают. Не сегодня-завтра начнется. Лагерь тогда — в карантин, ну и пойдет косить. Останутся одни только счастливики да иммунные. У вас-то тиф был?

— Нет.

— Ну, вот видите. Жуть!..

**
*

Женщины в полицейском бараке обедали. Поодиночке и кучками, сидя на нарах, узелках и просто по-турецки на полу, хлебали баланду из разнообразных нанесенных услужливыми полицейскими посудин.

Со свертком подмышкой Заряжский осторожно прошел в конец барака. Обе девушки, задумавшись, сидели в заднем углу нар. Милица — с краю, спустив длинные свои ножки в тяжелых порыжелых сапогах, Руфь — как и вчера — в глубине, обхватив обеими руками колени и уткнув в них подбородок.

— Здравствуйте! Что же вы-то не обедаете? Я на минуту... Новостей пока никаких. Принес вот немного немецкого хлеба — добыл где-то Кожевников — и вареной картошки. Горячая еще.

— Нам котелков нехватит, ждем очереди, — сказала Милица и закинула поочередно за спину косы.

— С косами вы прямо восьмиклассница. Сели бы сейчас за парту, а?

— Ах, с удовольствием! — вздохнула она. — Дорогой все шпильки растеряла, и прическу нельзя...

— Сейчас за картошку и возьмемся. Баланду — в пользу голодных. Я уже попробовала — фи! — Руфь скорчила гримаску, подтянулась к краю нар. — Давайте сюда!

— Кожевников насчет вас подал заявление своему капитану. А о Милице с зондерфюрером я говорил. Ему обещали ответ к концу дня, а мне — теперь вот, в обед. Оба — как на иголках.

— Ну, а если не выйдет, — когда мы отсюда тронемся? — спросила Руфь, ловко маленьким перочинным ножом сдирая с картофелины кожицу.

— Дня через два, верно. А, может быть, и дольше... Ну, вы питайтесь, а я пойду. Боюсь прозевать посыльного. Никому здесь о наших планах не рассказывайте. Если разрешат вас взять, обеих или в розницу, — пришлю полицейского, низенького такого кир-

гизика. Спросит кто — скажите: на допрос. Ну, приятного аппетита. К вечеру во всяком случае ужинаем вместе.

Известия от Вансовича все не было. Заряжский изрезал уже целую стопку листьев из присланного оберстом запаса и все выкурил, бегая по комнате.

В три часа он решил было сам отправиться в Управление, но близорукий Петер, приоткрыв дверь, просунул в щель записку. — От зондерфюрера, — сказал он, — а я спешу!

Мелким, кругловатым, как он сам, почерком Вансович писал:

«Оберст дал разрешение. Можете забирать свою кухню в лазарет. Очень рад за вас обоих.

Знаете ли вы, что г. Аристов обратился с аналогичной просьбой (конечно, насчет какой-то другой особы) к гауптману Фрику. Ему отказано.

Зф. В.».

«Вот ведь, — думал Заряжский, снова и снова перечитывая записку, — как условны всякие оценки благополучия! Вот и за проволокой, и нездоров, и вши в рубаше — давеча Фомич показывал. А радостно, как никогда. И ни на что на свете, кажется, этой радостью не поменялся бы! Теперь — действовать! — Урсулов!!

— Пойдешь в свой барак. В то отделение, где женщины. Возьмешь одну девушку и приведешь сюда. Понимаешь?

— Понимаешь. Брать одна девушка. Как называется?

— Паншина. В самом конце на нарах сидит. Не перепутай. Повтори: Паншина.

— Зачем путать... Пан-чи-на.

— Живей, брат, живей!!.

.

Радость, казалось, вот-вот проредется сквозь законопаченное тучами небо, ляжет лучом, нещедрым, но утешительным, на шелудиво-известковые, мрачные стены конюшен. Казалось — как шли через двор — грязевая жидель под подошвами чмокает радостно. И

милицын расплывшийся в очертаниях рот — следы расставания с Руфью, — казалось, тоже подчеркивал не хотя радость этой удавшейся полусвободы.

— Как вот только с Руфью? Неужели у нее не получится?

Теперь, наедине, Заряжский рассказал без утайки свои опасения.

— Господи! Неужели есть люди, которые могут...

— Всекие есть, Милица...

Вошли в лазаретный подъезд, поднялись наверх. Камского в комнате не было. Заряжский постучал к сестрам. Там была «моя Ляля» — очень полная и очень добродушная блондинка — и Тамара. Стояло уже четыре кровати, четвертая — еще не покрытая, со свежегорбатым поблескивающим соломинками сквозь редуину тюфяком и такой же подушкой.

— Наконец-то! Мы вас с самого обеда ждали! — радостно закричала Ляля и сейчас же бросилась обнимать Милицу. — Какая же вы юная! Камский говорил — я не верила. Потому что он сам же не видел. А косы! Ты посмотри, какие косы, Тамарка!

Смуглая Тамара добросовестно взвесила одну из кос в руке. — Тяжелая... А в плену без них лучше! — тряхнула она стриженными волосами. — Чище потому что.

— Нет, что ты! Косы — такая прелесть! А мыться и у нас можно. Ванная есть. Одна единственная на весь лазарет, только для персонала. Мы ее сейчас и затопим. Правда ведь? Вам, наверно, очень хочется помыться с дороги? После этапа? Ах, мы сами всё это испытали. Ужасно! — продолжала она тараторить, обглядывая Милицу со всех сторон. — Это ваши вещи, в сумочке? — Кладите сюда, на тюфяк. Вместо простынь у нас — палатки. Это уж вам придется позаботиться, — обернулась она к Заряжскому. — Что-нибудь достать, перешить, переделать...

— Да, я собираюсь...

— А вы не собирайтесь, а прямо идите к портному. Камский вот уже два месяца собирается... Вы ведь начальство — всё можете!

— Положим, я не начальство, — нахмурился Заряжский. — И ничего такого не могу...

— Не сердитесь, миленький. Это я так только, болтаю... Очень уж сестренка у вас очаровательная. Да снимите вы эту гадкую шинель! А мыло у вас есть? У нас — только жидкое. Бр-р-р! Как для собак...

— Мыла сейчас пришло с Урсуловым, — сказал Заряжский, сдерживая улыбку. — А сам пойду, чтобы вам не мешать. Зайду попозже, и, может быть насчет гардероба...

— Раньше двух часов не приглашаем. Не будем готовы. А вечером — милости просим! Чай пить!

**

Кожевников прибежал, запыхавшись, когда уже стемнело, за табаком.

— Ну, как насчет Руфи? — встретил его Заряжский. — Выяснилось?

— Ни чорта не выяснилось! — дернулся комендант, рывками набивая кисет и соря табаком по столу и на поддевку. — Думают, фарисеи проклятые! Слово государственной вопрос решают.

— Ну, а капитан ваш — что?

— Тоже тянет. Велел к семи часам за ответом. Боюсь, угробят. Сейчас забегал к ней, бедняжке. Бодрится, а в глазах слезки. Одна осталась... Устроили вы свою в лазарете?

— Устроил. Вот думаю — в ваш барак, к портным, к сапожникам. Что-нибудь изобрести с одеждой и с обувью. От вас записка, что ли, требуется?

— На чорта вам моя записка! Что они вас без записки не знают? Ну, ладно! — вдруг ударил он кулаком по столу и поднялся. — Если откажут — больше им не работник! Слягу в лазарет и буду язву зализывать. Довольно!

— Вы же не для них работаете, Алексей Степанович.

— Всё равно. Пусть ищут другого. К! Баста!

Он стряхнул с поддевки табачные крошки и вышел, хлопнув дверью.

Заряжский взял с кровати две сложенные в несколько раз попоны, подбитые синей байкой (достал где-то Фомич, покрываться), и пошел в мастерские. Оттуда, через полчаса, прихватив с собой портного и сапожника, подкупленных табаком, — снова в лазарет. Впустили его на стук не сразу. Милица сидела на кровати с распущенными шатром подсыхающими волнистыми волосами, поджав под себя ноги без чулок. Ляля, как и два часа назад, квохтала подле. Других двух в комнате не было.

— Уже? Мы, правду сказать, еще не готовы. Посмотрите-ка, какие волосы! Да не краснейте, девочка, он же брат! Идите пока в столовую, мы сейчас выйдем.

— Да я, собственно, по делу. С двумя мастерами: по портновской и по обувной части. Можно им сюда? Мерки снять.

— Да что вы? Уже? Вот это — по-моему! Ах, какая симпатичная баечка! — захлопала она в ладоши. — Это на платье? Какая роскошь! Может, и мне что останется?

— Поглядим, гражданочка. Надо сперва им услужить. С вас, барышня, мерочку. И этому вот — для туфель. Из командирских голенищ будут, хромовые...

— Ну, как же мне тут — с меркой? — почти сердито сказала Милица, подернув на голые коленки юбку. Сквозь темные пряди розово брызнули на Заряжского шея и плечи (была без блузки), и он отвернулся натужно («вот так «брат!»). — Я пойду. Вы без меня тут лучше столкуетесь. Чай — это как-нибудь после. Завтра, например. Сегодня у меня дела с Кожевниковым. До завтра, стало быть!

— Минуточку, Алексей Филатович! — остановила Милица. — Я хочу вам сказать... подойдите-ка поближе: насчет Руфи, пожалуйста, сразу же сообщите, сразу... — зашептала она, привстав, ловя в горсть пряди, чтобы прикрыть грудь, и обдавая его таким блеском и запахом влажных волос, свежей, разгоряченной ко-

жи, что он захлебнулся. — И похлопочите сами о ней. Пожалуйста!..

Заряжский искал Кожевникова в бараке, затем в Управлении, — его нигде не было, — и задержался у писарей часов до восьми, переводя длинные каракули старост насчет освобождения «на поруки».

«Получил Кожевников ответ от своего капитана или нет? — гадал он, возвращаясь к себе. — Неужто все еще тянут с решением?»

В натопленной комнате было темно и тихо, как в замкнутой шкатулке. Заряжский, тем не менее, почему-то почувствовал, что комендант дома. Зажег копилку. Кожевников сидел, упершись в стол локтями и обхватив руками сверху низко опущенную голову. Он не двинулся, когда стало светло, не пошевелился, когда Заряжский, шурша по столу, стал свертывать папиросу. Только когда тот, закурив, заходил туда и обратно по комнате, Кожевников опустил руки и поднял над столом посеревшее лицо с безнадежно смятыми крылышками бородки.

— Отказали! — сказал он в ответ на вопросительный взгляд Заряжского. — Фрик, лысый фашист, зартачился. «Не можем, говорит, всех женщин в лагере оставить. Вам разрешить — значит, и другим надо. Оберст сделал одно исключение — это для вас, выходит, — а больше не можем!».

— Гм... А что с ужином? Для Руфи?

— Отнес кое-что. Хотел ее сюда, так что б вы думали? — Эта собака, Аристов, не дал. «Не могу, — приказ и тому подобное»... А? Каково? Комендант я лагеря или нет, я вас спрашиваю? — сжав кулаки и багровея, крикнул Кожевников. — Подчинен мне начальник полиции, или я его, этого бандита, должен слушаться? Ведь он бандит. Вымогатель. Откажи ему пленный во взятке — смертным боем взлупит. Комиссаром объявит и в бункере сгноит. И вся его полицейская банда такова. Ну, подожди, голубчик, у меня... — Кожевников порывисто передохнул и полез за кисетом.

— Мстит мне, сукин сын, — снова начал он, хлебнув дыму, — что на новоселье к нему не пошел. Злопамятный, гад!

— Думаете? — Заряжский припомнил оригинальное приглашение Аристова. Сам он тогда отговорился какой-то срочной работой в комендатуре.

— Не иначе. А с чего бы я к нему потащился? Немцы были у него, говорят. Франц этот, боксер, эсэсовец, — помните, я рассказывал? А пить мне все равно нельзя. Да и опасно: злоблюсь я хмельной, еще по морде кому-нибудь наложишь. Ну да к чорту Аристова и всех их! Девку вот жалко. Девка пропадает. Что придумать?

— Слушайте, Алексей Степанович! Вы знаете: у меня насчет этого особое мнение. Но раз вы хотите, и сама Руфь, главное, — давайте сделаем завтра еще попытку. Придумаем предлог какой-нибудь и утром — прямо к оберсту.

— Вы полагаете, может выйти?

— Попытаемся!

12.

Наутро Заряжский проснулся позже обычного: просовещались с Кожевниковым о визите к оберсту далеко за полночь.

Как это иногда случается, пробуждение физическое чуть опережало пробуждение сознания. В коротенькую эту паузу нужно было еще освоиться с бытием.

Мохнатые ниточки не то паутины, не то пакли, не видные вечером, чернели теперь со щелястого потолка и первыми бросились в глаза Заряжскому. И тотчас же показалось ему, что — извне ли, в нем ли самом — дрогнули и нудно заныли какие-то струны.

— День, — сказала одна, — день, день, день...

— Плен, пле-ен, пле-е-ен, — запела другая.

Вздыхнув, он снова закрыл глаза и вдруг так и вздрогнул от давно-давно не испытанного ощущения непонятной какой-то радости. Забытой, неуловимой,

порхающей где-то около, как бабочка, но случившейся, которую надо только назвать, чтобы пережить сызнова.

«Милица!» — вспомнил он, наконец, и сейчас же увидел ее, какую видел в последний раз, вчера, в лазарете: в горячем румянце, с распущенными до голых поджатых коленок волосами. «И похлопочите сами... пожалуйста!» — щекотнул ухо теплый шопот.

«Это она — о Руфи. Да, надо же к оберсту!» — окончательно проснулся он и сел.

По тому, что грязноватый свет из окна пролез уже во все углы комнаты, он понял, что проспал, и со страхом посмотрел на часы: маленькая стрелка переползла за восемь. В половине девятого условлено было — за пропуском.

Он умылся, налил себе чаю из закутанного в попону чайника и зашагал, придумывая, что скажет оберсту. Ничего, решительно ничего не находилось убедительного. «Может быть, Кожевников за ночь придумал что?..».

Большая стрелка протолкла вниз половину круга, поднялась за третью четверть, — коменданта не было!

Он оделся и вышел из домика.

Под ногами хрупнули затянутые тонким ледком лужицы. Шагнув навстречу, подкинул вверх голову и щелкнул каблуками Урсулов (Аристов надосуге учил своих полицейских приветствию на немецкий манер). Заряжский кивнул в ответ и хотел пройти мимо, но коротенький полицейский, таинственно выпятив губы и подняв кверху палец, загородил дорогу.

«Новость», — подумал Заряжский. — Ну, что такое, Урсулов, выкладывай!

— Эс-эс ночью одна девка себе ташил. Из барака.

— Что? Какой эс-эс? Какая девка? — переспросил Заряжский, холодея.

— Там вон живет, не знаешь? — показал Урсулов дом за забором, где стояла эсэсовская часть. — А девка — черная, тут была у тебя...

«Руфь??»

— Сейчас обратно приводил. В бункер садил. Шумел много: еврейка! Плёхо, очень плёхо, — закачал головой Урсулов.

«Руфь!.. Катастрофа! Сейчас — к Кожевникову. Отыскать Вансовича. Может быть, еще можно что-нибудь»... — Он кинулся к рабочему бараку. «Катастрофа! Ведь как боялся, предчувствовал — слишком яркая физиономия! Конечно — донос. Кто? Неужели — Аристов?»..

— Здесь Кожевников? — рванул он дощатую дверь в комендантскую спецбарака.

— На заднем дворе. Там сейчас как раз евреев отправляют. Вы же знаете, — понизил голос Бойчевский, кожевниковский помощник, — эсэсовцы вчера одну арестовали, медсестру из этапа, его знакомую. Здесь, в лагере хлопотал оставить. Допрашивали. Оказалось: еврейка. Бесстрашная. Так, говорят, им прямо и брякнула: да, еврейка, мол... Жаль, беда как! Они, говорят, ее... — совсем уже спал он на шопот, но Заряжский, не слушая, выбежал из каморки.

«Катастрофа! — твердил он про себя все одно и то же слово. — Что делать?»

В нескольких шагах от бункера стоял крытый брезентом грузовик. Пристроившись к заднему колесу, курил конвоир-немец. Больше никого видно не было. Однако, когда Заряжский подошел к бункеру вплотную, из входной траншейки показался полицейский. За ним, один за другим, в шинелях и в штатском, щурясь от света, потянулись назначенные к отправке евреи.

«Почему некоторые в штатском? Где же Руфь? Наверно, там, в теплом отделении. И Кожевников тоже... А это что такое?»

Выходившие были без обуви, — в портянках, наспех подхваченных бечевками, дырявых носках и босые. Фиолетовые пальцы зябко ступали на рваную скованную морозцем глиняную корку. У стенки бункера горкой свалены были сапоги и стоптанные солдатские с расхлестнувшимися в сторону шнурками ботинки.

— Это что за фокус? Почему их разули? — спросил Заряжский полицейского.

— Начальник полиции, господин Аристов, приказали. Потому — им уже ненадолго, а наши тут которые терпят без обуви и...

— Вздор, вздор! — перебил Заряжский, чувствуя, что при имени Аристова пальцы сжимаются в кулаки. «Опять Аристов! Всюду Аристов!» — Сейчас же вернуть людям обувь обратно! — приказал он.

— Ну, этого мы не можем! — усмехнулся полицейский, помахивая подцепленной ремешком за кисть руки палочкой. — Если нам как раз другое велено. Опять же, каждого слушать...

— Молчать!! Сейчас же всех — в бункер и ждать, пока я не справлюсь в комендатуре!

— А ну — назад! — повернулся полицейский к арестованному и даже руки поднял, словно кур загонял в курятник. — Давай назад, говорю!

Немец-конвоир сполз с колеса, замигал вопросительно.

— Хочу узнать в *Lagerleitung*, кто распорядился насчет обуви, — крикнул ему Заряжский. — Мороз же. Ноябрь!

— Aber schnell!

«Только бы найти Вансовича!.. Только бы... Вдруг еще не пришел? С кем тогда? Что — тогда?».

Он столкнулся с кругленьким зондерфюрером у самого входа в Управление. Вансович, видимо, уходил из лагеря и как-то неохотно, словно потерявшись слегка, остановился, увидев Заряжского. Розовые его щеки были бледнее обыкновенного.

— Знаю, знаю, насчет чего! — замахал он еще издали короткими ручками. — Ничего, ничего нельзя сделать. Безнадежно! Ужасно, конечно, но эта безумная сама все корабли сожгла. Зачем было признаваться, что она еврейка? За-че-ем? — прошептал он драматическим шопотом. — Теперь мы обязаны действовать по приказу: передать из лагеря вместе с прочими...

— Куда же ее? — тихо спросил Заряжский. — Скажите правду, пожалуйста, если можно. Между нами...

— Даю вам слово — не знаю. Все решает уже другое ведомство. Мы сдаем людей в Feldgendarmarie. Оттуда, из канцелярии, выдают нам расписку. — И всё, неправда ли?

— И затем отправляют их в канцелярию небесную?

Вансович, прищурившись, смотрел куда-то мимо, не расслышав или не пожелав расслышать вопроса.

— Сейчас буду говорить с одним лейтенантом из жандармерии. Насчет нее... Это все, что могу. Больше ничего не в силах.

— Там со всех сняли обувь. Босых увозят. Полицейский говорит, что приказал Аристов. Неужели в Управлении так распорядились?

— Как сняли обувь? — побагровел Вансович. — Как это «распорядилось Управление»? Конечно, нет, это он сам придумал. Сейчас же отдать назад! Прикажете от моего имени, немедленно. Ай-ай-ай! Ну, извините, побегу...

Заряжскому не пришлось передавать приказания: люди из бункера, уже снова обутые, гуськом влезали в грузовик. У края бункера стояла Руфь и, загораживая ее спиной в поддевке, Кожевников. Когда последний из отправляемых вкарабкался в кузов, Руфь и Кожевников тоже подошли к машине. Подошел и Заряжский.

— Вот тут хлеб и картошка, — говорил Кожевников, вытащив из-под мышки сверточек в газете, — пригодится!

Руфь не брала сверточка. Она смотрела куда-то в сторону и поверх Кожевникова громадными своими глазами. Лицо ее осунулось за ночь чрезвычайно. Морщинки около губ и над бровями лежали теперь не шелковинками, а словно прорезанные ножичком.

— Los, los, los!! — крикнул конвоир и громыхнул винтовкой.

Руфь страшно вздрогнула, словно в ожидании удара, и, быстро повернувшись, поставила на ржавую ступеньку спущенного борта сапожок. Поднимаясь, она кивнула Кожевникову и на секунду оперлась рукой о плечо Заряжского.

Заряжский видел, что немец-конвоир, поторопивший с посадкой, отнюдь не думал быть грубым, ударить — тем более. Судя по его хмуро-сосредоточенному, напряженному лицу, он просто выполнял — может быть, неприятный — долг. Но от грохотнувшей винтовки и от этого порывистого, испуганного движения девушки острой жалостью зашло в груди. Заряжский перехватил в воздухе маленькую руфину руку и прижал к губам. «Иудино лобзание!» — мелькнуло у него в голове. «Что ж, что нечем помочь... все равно: кто смотрит вот, вроде нас, как увозят эту девушку, и не кричит, — пусть бесцельно, бессмысленно, но непременно во все горло, отчаянно, — тот Иуда!».

Выпрямляясь в кузове, Руфь зацепилась курточкой за металлическую застежку борта. Курточка распахнулась, и Заряжский увидел, что защитная блузка была разорвана от ворота почти до самого пояса. Левая оторванная пола откинулась на сторону, открывая смуглую крутизну груди, только у самого кончика подхваченной полоской лифчика с лопнувшей свесившейся книзу бретелькой. Оттого ли, что лиф был несвежий, что вокруг был мороз и рядом — немец с винтовкой и что всё вместе приходило в такой страшный контраст с нежной обнаженной грудью девушки, — Заряжский почувствовал, что у него темнеет в глазах.

— Да застегнитесь же, Руфь, простудитесь! — крикнул он.

Руфь подхватила рукой обе полы курточки и стянула их у ворота, не застегивая. Она все продолжала смотреть куда-то вверх провожающих тем же невидящим раствором громадных глаз.

«Ну, куда же повезут нас дальше, господа начальство?» — вспомнилось вдруг Заряжскому, и перед глазами встали сверкающая улыбка и маленькие пальцы, потянувшие ко рту карамельку.

Конвоир поднял и закрепил задок. Машина зафыркала и тронулась. Кожевников снял свою ушанку.

— Я вам сверток в машину положил, Руфь!... До свиданья, Руфь! — с каким-то надрывом закричал он вдогонку. Он так и не надевал шапки и всё продолжал стоять неподвижно, когда грузовик, на секунду задержавшись у ворот, выехал уже за проволоку.

Заряжский потихоньку пошел к баракам. Уже в проходе, почти у самого домика, нагнал его Кожевников. Несколько шагов шли они молча рядом, не глядя друг на друга. Вдруг комендант остановился, повернулся к Заряжскому и крепко ухватил его выше локтей. Руки и нижняя челюсть его крупно дрожали, из посветлевших глаз полыхало сумасшедшинкой. Он близко, нос к носу, наклонился к лицу Заряжского.

— Нет, скажи. Ты мне скажи! — хрипло заговорил он, переходя на «ты» и трудно выдавливая слова из горла: — Это можно простить? Это — можно забыть? Девушку вот эту... грудку ее открытую, опозоренную, всё это, всё? Ты, вот, — можешь?

Заряжский хотел ответить что-нибудь успокаивающее, примирительное, но слов не находилось. Искаженное лицо, срывающийся голос, необычно-нежное в кожевниковских устах «грудка» — поразили его. Дрожь, бывшая коменданта, передалась и ему, и он почувствовал, что бледнеет.

— Скажи же, скажи, — продолжал тот трясти его за локти: — забыть! Ты, ты — можешь?

— Не знаю, — ответил Заряжский, высвобождаясь из цепкого кожевниковского обхвата. — Вряд ли! Не думаю!..

... Ночью он проснулся от каких-то странных, необычайных звуков, доносившихся из противоположного угла: Кожевников плакал. Тяжело, судорожно, скрежеща зубами и кашляя. Железная кровать под ним тряслась и тоненько взвизгивала.

Генерал-Мороз, который, по утверждению немцев, так блестяще помог советским войскам в первые зимние дни 1941 года отстоять Москву от уже вторгнувшегося в предместья противника, — хозяйничал теперь в лагере. Грязные топи по лагерному двору, нечистоты за стенами бараков и в проходах, зловонные взбурлившие через край отхожие ямы — всё было сковано, обезвлажено, укрыто чистым хрустким снежным настом.

Замерзали и люди. Покойницкая таратайка целыми днями гроыхала по двору, увозя трупы на зады, к нарванным толлом неглубоким ямам. Гипсовые тела в ней лежали теперь не пластами, а грудились физкультурными пирамидами, в позах, в которых окостенил их мороз после раздевания.

Жизнь превратилась в протокол — однообразную летопись смерти и потуг убежать от нее, судорожных и безуспешных.

«Мрут и мерзнут! — записал в дневнике Кожевников. — И всё новых шлют. Прибыла недавняя партия, в полтыщи. Везли их неделю в теплушках, без корму. Подъезжая к нашему городу, подвернулась неободранная греча. Все и навалились на гречу, как была, сырьем.. Она в них разбухла и кишки закупорила пробкой. Приехали в лагерь и стали погибать. Выползали из бараков, старались опростаться — не могли. Ногти в кровь обдирали в потугах. Так и замерзали. Мы с Заряжским сунулись к врачам. Агитировали по-интеллигентски, а надо бы — матом! Из всех вызвался только один — Моталин, из Ростова (старикашка, очки веревкой заболтаны... С Заряжским подружился очень — нравится ему), орудовал кусками проволоки, десятка четыре спас. Остальные померли»...

«В лагере начали есть человечину, — записывал он неделей позже, — вырезают у покойников мягкие части. А вчера ночью в санбараке шес-

терым вспороли животы и вытащили печёнку. Видать, живьем резали. А печёнку — потому что торговать ею безопасней, не различишь — чья»...

Еще через день:

«Торговца человеческой печёнкой изловили, допрашивали и присудили к расстрелу. Еще — одного повара, за то, что посылал продавать мясо из котла. Велели являться всем должностным лицам и глядеть, как будут расстреливать. Для остротки. Расстреливали на заднем дворе, где трупы. Поставили в яму сперва людоеда. Этот не пикнул. Дали залп — как под землю ушел. А повар совсем размяк, падал, кричал, как резанный, в голос. Солдаты с вахи забеспокоились: целятся, а штыки танцуют. Фрик сам взял у одного винтовку и выстрелил. Метил, видать, в голову, а попал в плечо. Повар волчком завертелся, подкатился к нему и — за сапог. И визжит. Фрик прикончил его из револьвера. Ну, и представление! Все расстроились. Вансович даже зубами лязгал — так разволновался. Показательность эту я считаю за тупость: что же тут двумя трупами пугать, когда рядом в штабелях тысячи лежат».

И еще — о немцах и «благотворителях».

«В город стали прибывать эшелоны с обмороженными немецкими фронтовиками. Здешние ходят мрачные, дрожат в шинелишках. На головах зеленые чулки, под носом — сопли сосульками. Смотреть противно. Говорят Москву уже в бинокль разглядывали, фотоаппаратами сымали. А с морозом — у.....сь!»

«В городе образовался «комитет помощи пленным». Главный комитетчик таскается к Заряжскому каждый день. Твердоголовый, «р» и «щ» выговаривает по-местному, тоже твердо. Продукты собрал, сукин сын, но всё вольтанит — обсуждает с интендантом формальности. Говорим ему: покуда манежите с доставкой, люди-то уми-

рают! --- «Порядок, --- пожимает плечами, --- надо предотвратить хищения»...

— И все такие!... Одного только от этого белоруса добился: подает в Управление жалобу на подлеца Аристова: под мудрым его руководством полиция лупит пленных нещадно... Ну и жизнь!»...

**

Короткие, старательно крупным почерком, записочки. От Милицы. — Редкие «антракты» в протокольном быту. Получались они в ответ на два-три сухаря или картофелины, которые носил иногда в лазарет Фомич. Заряжский спрашивал себя, на какие калории можно было бы перевести эти записочки, как это можно было сделать с баландой, гречневыми отрубями и прочим, чем поддерживалось лагерное прозябание. Записочки и вспыхивающие навстречу ему ямочки на щеках были — как дождик в засуху, были вторым дыханием. А сама Милица... Он знал, что все наперечет женщины в лагере имели, если не двух, то по крайности одного «покровителя», и по отношению к Милице демонстративно установил особый «институтский» (говорил Кожевников) статут. В лазарет положил ходить через день, по четным, и через силу высиживал каждый второй вечер дома. В комнату сестер не заглядывал никогда, — прямо к Камскому. Выходила Милица, усаживалась на широкий диван, поджав ноги в новеньких «из командирского хром» туфельках. Рядом тонула в пружинах грузная Ляля, на валике — стрекозой — Тамара. По заказу и по настроению Заряжский читал им наизусть отрывки из Чехова, поэмы, стихи — всё, что сохранила ему благодарная в юности память. С комментариями. Выходило что-то вроде лекций, и постепенно комната Камского стала в эти часы переполняться пропадавшей в зеленой тоске «медициной».

— Не пойму вас, тетка, — буркнул раз Кожевников, укладываясь. — Чего вы... монашествуете? Стал бы я в холостецкую спать, если бы... Эх! А у вас... Девушка налилась, как виноградинка... сама просится

растаять, приголубить кого. А вы... Что? Обижаетесь? Ладно, не буду, дело хозяйское... а только чудно: одним днем живем...

«Одним днем»... Для самого себя Заряжский, может быть, и не отверг бы этого запроволочного кодекса. Но — Милица... Можно было сделать ее «однодневкой», как прочих? Разве не сразу же, при первой встрече, поместил он ее на особый какой-то пьедестал? Почему? Была она умна? Одарена? Он не знал, не взялся бы ответить. Что составляло эту ее неповторимую, как он ощущал, притягательность? Действительно ли что-то наредкость гармоническое во всем ее складе? Или он только примысливал это ей?..

Как-то, провожая его с чтения, она вышла на лестничную площадку. Из пролета снизу дребезжал грязный полусвет. Нелепо торчала облупленная раковина (зачем она тут?), разила лизолом. Милица прислонилась подле нее к стене, а он, больно стукнувшись об острый край, повернулся неловко, — и они встретились грудь грудью. На какую-то почти фотографическую долю секунды продлился толчок: ему понадобилось усилие воли, чтобы оторваться от этого упругого прикосновения. И тотчас — не увидел — почувствовал в ее лице недоумение и холодок.

— Что вы делаете в нечетные вечера, Милица? — спросил он, отшагнув.

— Ах, ничего... — в темных глазах, смотревших на него в упор, снова засветилась чуть виноватая доверчивость. — Читаю. Камский дал Лескова и еще немецких книг... Очень скучно. Я еще никогда не была так совсем, совсем одна. Здесь каждый занят своим. Насчет еды, одежды... Стоняются даже друг друга... Думаю о доме, о Руфи. На немцев смотреть не могу. На руки — особенно... Это глупо, наверно, но мне все кажется, что этими самыми руками...

Заряжский знал, что Милица больно, как первую в жизни утрату, перенесла случившееся с Руфью. Что окружающие так быстро, как ей казалось, забыли страшную историю, отчуждало ее от них.

— Ну, а ваши сожительницы? Сошлись вы с ними?

— Так ведь они... Ведь я вечерами одна. Они все уходят к...

«К любовникам» — добавил про себя Заряжский, и она, будто сама выговорила это, продолжала:

— Как только они могут так... Ужасно! Я бы лучше, не знаю... Ведь это значит, как...

«Кошки» — снова договорил он мысленно, а у нее зашлись румянцем щеки от негодования.

— Очень тоскливо... А потом я жду вас, то есть четного вечера... — сказала она в щелку, уже прикрытая дверь. Но совсем просто.

«Милая»... думал Заряжский, пряча записки. — Нет, тут не годится «одним днем»!.. И какие в сущности бедные люди, эти циники. Духоборов, например...

Духоборов как-то тоже попросился на «чтения»:

— Хочу вас послушать. Жаль только, что к этому... Хамскому переть надо.

— Хамскому?

— Рубашку ему с вышитым воротом — и секретарь райкома. Что улыбаетесь? Правда, ведь... Кстати: вам, наверно, в жизни чертовски везло с девками? — Глаза у вас занятные: взапуски с улыбкой смеются. Н-да... По совести сказать, мне не столько лекции, сколько на кухню вашу поглазеть. Больно уж ножки у нее хороши. Редкие, ей-Богу! Да и вообще сложена отменно, — всё, как полагается. Вы не хмурьтесь, я ведь не претендент. Просто для меня в этих вещах — главная прелесть жизни. Немножко Свидригайлов, если хотите.

— Странная рекомендация!

— А что же? Тип положительный, по-моему. Не без силы. Да, вот как-нибудь и приду, чтобы от жвачного своего избавиться...

**
*

Плинка и Духоборов жили уже с полмесяца в «посылочном бюро» — смрадной каморке внутри рабочего барака. Помещались в ней две лавки, железная

печурка и маленький столик у прорезанного в наружной стене оконца, через которое выдавались посылки. До обеда оба поочередно дежурили в проходной будке у ворот, принимая передачи, к вечеру — терзались теснотой и необходимостью выносить друг друга.

Особенно нетерпим был Духоборов.

— Ведь целый день ест! — говорил он Заряжскому. — И как-то все украдкой, как в рукав курит. А если у баб что-нибудь выклянчит в будке — бежит в уборную, чтобы я не видел, и там сжирает. В этакой-то вони! И когда ест — чавкает. Да, да, чавкает, чорт его побери! А ведь еще в «Домострое» писано: «егда сядешь ясти, не жри, яко свинья, и не чавкай». Должен был бы знать, как вы думаете?

— Я думаю, что вы к нему придираетесь.

— Какое там! По вечерам, когда жарко натопим, стаскивает рубаху и начинает вшей давить. Гвоздем — по швам. Ну, пусть бы давил, как все люди. Так нет! — раздавит и обязательно крякнет при этом, с удовольствием, со сладострастием каким-то прямо. Ну, знаете, не могу! У меня от этого кряканья язва бунтует... Вам вот смешно, а вы попробовали бы сами...

— Чего он меня преследует? — жаловался на сожителя и Плинк, вздрагивая щеками, — брюзжит с утра до ночи по всякому поводу! Я молчу. Брюзжи себе. Но откуда ненависть? Как-то раз заявляет мне, что я наверно крещеный еврей, раз из Житомира. «О таких надо бы немцам докладывать!» — так и высказал... Иногда мне кажется — он просто завидует. Что я покрепче здоровьем, помоложе, лучше понимаю по-немецки, что кончил университет и... уж не знаю, чему еще. Он, впрочем, всем завидует. Вам тоже. Очень завистлив. Как-то сказал ему об этом прямо. Знаете, что ответил? «Если, говорит, мне зависть помогает жить, то пусть буду завистлив»...

Изредка, вечерами, если взаимная вражда утихла, оба приходили в домик. Пили чай с пахучими деревенскими сухарями, которые приносили с собой из

«ничейных» посылок. Садлись в преферанс. Втроем, — Кожевников не умел, только изредка, подсаживаясь, заглядывал в карты, и тогда Духоборов морщился. Он недолюбливал и коменданта, называл «коммуноидом». Еще как-то в начале ноября они крупно поспорили. В вечер годовщины Октябрьской революции Кожевников вдруг загрустил и развздохался: «Дома сейчас, верно, празднуют, а мы тут, как кролики, за проволокой сидим. Наварили, небось, напекли, водчонки купили. Веселятся. Вечера везде, гулянья, песни... Красота!»

— Пошлятина, а не красота! — рассердился Духоборов. — Словоблудие и холуйство. «Наши достижения», «да здравствует...» — Всё с пафосом, распространяющим зловоние... Главное, по мне, впрочем, не ложь, а трафарет, бедность фантазии. Не понимаю, как Горький мог всю эту пакость терпеть. Всю жизнь рычал на мещанство. А ведь песенки эти да славословия — тошнее канареек. Мне бы вот поручили гимн к октябрьскому праздничку! Я бы состряпал. Этак бы, примерно:

«Красный год лежит над годом,
Как кирпич на кирпиче,
Жив, заслуженный народом,
Жирный кукиш в кумаче»...

или что-нибудь в этом роде.

— Что ж, вы не поехали бы на родину, если бы можно было? Из дулага?

— В другой «дулаг ... надцатый»? Нет, спасибо. Из этого есть хоть надежда в свободу выпрыгнуть. За океан. Под другую звезду.

— Ну, а я, извините, ворочусь, не теряя времени, как возможность объявится.

— Ну, и повесят вас, тоже не теряя времени, в самой-то свободной...

Являлся Фомич, с подогретым чайником. Щупленький, незаметный, притулялся в сторонке. Наблюдая игру, покачивал время от времени лысиной.

— А вы, Фомич, — в преферанс. Можете? — спрашивал Плинк.

— Не в коня корм. Путаная, извиняюсь сказать, игра. По-нашему — в подкидного. А если на интерес — в очко. А этому, хоть веревкой грози, в жизнь не выучиться.

— Немецкому языку выучились же. А ведь тоже трудно.

— Не так, чтоб очень. Язык, извиняюсь сказать, не шибко трудный. Из наших ребят в плену — это еще в первую империалистическую — кто от работы не бегал, — живо понимать стали.

— Причем же тут работа?

— А как же? Даст мне, к примеру, мастер делать что. Объяснит: так мол и так орудуй и поворачивайся, до обеда чтобы готово было. Ну, возьмешься, выполнишь к сроку, мусор приберешь, потому — немец страсть как порядок любит, и сядешь перекурить. Придет он. «Фертик?» — спрашивает. — Фертик, мол, принимай. Сейчас все осмотрит, видит: как надо сработано, — «Гут!» — говорит. А если уж очень потрафишь, «Прима!» — скажет. — «На большой палец!» — по-нашему. Выходит, сговорились мы с ним. А взять лодыря какого — он покуда за дело примется, покурит разов пять, глядь — и срок вышел. Немец воротится: «Никс фертик!» — закричит. «Матерьял капут! Доннерветтер! («испортил, значит, вещь, сукин кот!»). Люс! Люс!» Ну, тут уж не до немецкого языка, а, извиняюсь сказать, мотай скорее, чтобы по шее не влетело.

Плинок громко и немного натянуто хохотал. Духоборов похмыкивал, крутя папиросу. Фомич ускользал бесшумно, довольный, что развеселил компанию. Только Кожевников безучастно лежал на кровати, уставя к потолку бородку и тоскливо запавшие глаза. После трагедии с Руфью как-то сразу заметно сдал. Стал вял, молчалив, безразличен к окружающему. Почти каждый вечер мучили его боли, и скуластое лицо наливалось пергаментной с землистым отливом желтизной.

Жизнь проплывала по времени трудно и медленно, словно барка, зачерпнувшая воды. Незаметно,

как цифры в глазке электрического счетчика, проползали дни. Богатый потрясениями 41 год подходил к концу.

14.

От Заряжского только что вышел «вестник смерти», дюжий украинец из-под Полтавы, — считал по баракам умерших-замерзших за ночь. «66» вывел Заряжский в смертной графе сегодняшней сводки, присыпал блестящую невысохшими чернилами цифру пеплом от папиросы и с досадой подумал, что сведения из санитарного барака запаздывают. Собрался было послать Урсулова, но в дверь постучались, и вошел в нарукавной с крестом повязке санитар.

— Из санбарака, господин переводчик. Для сводки... Десять скончалось вчера и в ночь пятнадцать. Всего двадцать пять душ! — сообщил он мягким, надтреснутым, словно с неверного смычка пролившимся голосом. Обернувшись на голос, Заряжский чуть не вскрикнул от изумления: человек был худ необычно. Кости черепа выперли — вот-вот порвут кожу. Жалким вялым стебельком — шея в широком раструбе ворота, а ниже, под шинелью, угадывается вовсе лишенный мяса костяк. Ямины щек в жидкой седоватой поросли, еще более глубокие — глазниц, но оттуда — свет, неожиданно живой и пронизательный.

Когда-то, еще ребенком, видел Заряжский в Киево-Печерской лавре монаха-подвижника. Сопровождавшие по подземелью говорили, что монах этот годами не сходит с места и живет только водой с выдолбленного желобками креста. Глядя на лицо санитаря, Заряжский вдруг вспомнил этого монаха. «Наверно, из духовных. Только как же тогда — в плену?»

Санитар, передав сведения, не спешил уходить: зацепив за узенький шинельный ремешок желтые костяшки пальцев, будто ждал вопроса.

— У вас есть еще что-нибудь ко мне? (Заряжский говорил обычно «ты» санитарам, но сейчас как-то само собой сказалось иначе).

— Да, господин переводчик. Личное дело, если соблаговолите выслушать. Нарочито для этого и со сведениями к вам попросился. Много времени не отниму, несколько только минут. Если можете...

— Садитесь и рассказывайте. В чем это ваше личное дело?

— Может быть, и не личное, — тем же слабым, срывающимся голосом сказал санитар, присаживаясь, и по тому, как опустился он на табуретку и как задыхался, начав рассказывать, Заряжский понял, что человек слаб и болен и что ему, верно, очень трудно говорить и двигаться.

— Не совсем личное, если хотите. Я, видите ли, священник...

«Не ошибся!» — подумал Заряжский. — Как же попали вы в армию и в плен?

— Из ссылки. Было — восемь лет. За два года до истечения срока освободили и прямо на фронт. Теперь вот я...

— Почему же не зарегистрировались в свое время? В специальном списке? — перебил Заряжский. — Ведь трех священников отсюда выпустили на волю. Я думал — это все, и вдруг оказывается... — В посвечивающих из глубоких впадин глазах мелькнуло что-то вроде укора, и он не договорил.

— В список не вписался потому, что думал: я здесь нужнее. Многие из больных нуждаются в духовнике, не все ведь не веруют... Да даже и неверующие... Знали бы вы, как много жаждущих утешения! Умиравшие — особенно. С иным побеседуешь, другому из св. Писания считаешь. Евангелие-то у меня, слава Богу, есть, — он показал на край засунутой за обшлаг книжечки в черном переплете. — Я хотел бы просить вас похлопотать о пропуске в город. Там, слышно, уже две церкви открылись. Мне бы... для совершения таинства при последнем напутствии... Запасные Дары и... Ведь даже наперсного креста не имею. Крестильным нательным пользуюсь; опять-таки, Господу слава, оставили, не отобрали.

— Пропуск в город? Но вы больны, по-моему?

— Была дезинтерия. Полтора месяца. Теперь вот слабость и есть не могу. Все, знаете ли — обратно. Чаем больше пока...

— Ну, вот видите. Как же вам в хлопоты пускаться? — Может быть, сделаем так: у меня есть немец один в Управлении. Мюллер по фамилии. Очень интересуется русской церковью, ходит в город на богослужения. Попрошу, чтобы поговорил со священником, привел сюда. Может, и достанем нужное. Хорошо так?

— Очень бы хорошо! Мне, в самом деле, пожалуй, не под силу... Вот сюда через двор только, и задохся совсем. Спасибо вам. Не буду больше задерживать.

— Возьмите-ка в карман сухарей. Деревенские. Я вам несколько штук стану каждый день посылать. С санитаром. Спрашивайте только, а то забудет, пожалуй, отдать.

— Нет, что вы... отдаст! Вы бы сами заглянули как-нибудь к нам, а? Тяжко у нас, правда, и смрадно. Да уж очень мы беспризорны, так сказать. Хоть с санитарями побеседовали бы. Ведь засохли сердцем, зачерствели совсем. Напиться больному не дадут. Покойники сутками бок-о-бок с живыми лежат, вынести не вымолишь. А другой раз, не отошел еще человек, при последнем издыхании, а они его как раз раздуют и — вон. Третьего дня мы одного из свалки вытащили. Случайно больной какой-то заметил. Оправиться пошел мимо покойников, — у нас их в коридорчике таком сваливают, до вывоза. Видит, рука из кучи высунута и пальцами шевелит. Ну, внесли обратно. Чаем отпоили, оттерли. И посейчас жив, слава Богу, зайдите вот — сами увидите...

— Обязательно приду! — пообещал Заряжский. — Вот с батюшкой, как Мюллер приведет, и явлюсь к вам. А Евангелие, — он кивнул на книжечку за образом, — охотно почитал бы как-нибудь. Да оно вам, верно, самому необходимо?

— А вы хотели бы? Да, сейчас очень необходимо. Пока... А после... — он замолчал на секунду, уставив глазницы куда-то мимо Заряжского. — После получите, — выдохнул он почти беззвучно, — оставлю вам. Ну, простите за беспокойство...

**

Мюллер, о котором вспомнил Заряжский, разговаривая со священником, был худошавый остроносый ефрейтор из Управления. До войны учился в одном из западных университетов Германии, по убеждениям же был национал-социалист высокого патриотического напряжения. В этом самом университете полвека назад читал лекции дед Заряжского со стороны матери, живший тогда в эмиграции и занимавшийся позитивной философией и революцией. Одну из дедовых книжек читал Мюллер и, должно быть, поэтому оказывал Заряжскому особое внимание. Просьбой поговорить с городским священником вдохновился весьма, обещал привести на-днях непременно — и пропал на целую неделю. Искать его было некогда, потому что неделя оказалась хлопотливая: по лагерю начался набор в «добровольческие вспомогательные части».

Набиралась рота из пленных украинцев. Им давали немецкую чиненую одежду и гороховый суп. Желающих, разумеется, были тысячи. Отбирал гауптман Фрик, а Заряжский должен был ходить за ним в качестве переводчика. Кандидатов выстраивали в две шеренги, и Фрик, заложив руки за спину, медленно шагал по рядам, всматриваясь в лица. Иногда останавливался, молча тыкал пальцем. Избранный выходил, расцветая. Чем руководствовался при этом отборе Фрик, сказать было трудно, так как обычно не задавал никаких вопросов.

С тоскливым любопытством наблюдал Заряжский выстроенных: спокойных было мало, большинство дрожало, как подсудимые перед вынесением приговора. Выражения лиц менялись, когда Фрик подходил

ближе, и грустно было видеть, как возникали тогда вдруг на этих исхудавших лицах гуттаперчево-неестественные «бравые» улыбки.

Наутро после этого набора вызвали в Управление к какому-то приехавшему из Берлина капитану. Капитан оказался русским, из казаков, и желал на вербовать из пленных «отборную казачью сотенку». С подыскиванием «отборных» Заряжский провозился целый день.

Вечером постучался Яценко. Возбужденный и необычно торопящийся, с грохотом уселся на табуретку и, вытащив громадную свою трубку, подмигнул:

— Ухожу от вас, Алексей Филатович! До свиданья. В добровольцы. К казакам.

— Вот так так! Разве вы казак, Саша?

— Стопроцентный. Потомственный. Из-под Кубани.

— Гм... Ну, а все-таки — в добровольцы? Вы ведь комсомолец?

— Что ж, что комсомолец? — вдруг страшно помрачнел Яценко, с ожесточением упихивая в трубочный зев щепотки табаку. — Из-под палки и в партию заскакивают.

— Нет, я в том смысле, что вы этак все мосты за собою сжигаете. Дома-то остался у вас кто-нибудь?

— Какие мосты? — не понял Яценко. — Дома? Дома у меня никого. Я ведь из беспризорных, не знали? — Он помолчал, высек огонь и стал прикуривать. Трубка капризничала и хрипела. — В 31-ом году нас раскулачили. Отца и мать выслали. Мы с сестренкой, маленькая была, шести лет, одни остались. Ну, пристроились кое-у кого. Из милости. Потом сестренка померла, — простудилась. Меня поколачивать начали. Бежал. Беспризорничал. Много всякого было. Попал в Москву, фамилию изменил. Другая — моя фамилия-то. Ну, потом семилетку кончил, в военное училище пошел. Потом вот — на фронт. Воевать. «За Родину, за Сталина!» Эх! — Он крепко стукнул трубкой по табуретке. Всегда ухмыляющееся лицо его по-

темнело, под кожей на скулах вытвердились вдруг тугие, покатывающиеся желваки. — Да я бы им... За отца, за мать, за сестренку бедную, за разорение наше... — Я бы им... — Трубка, сжатая в тяжелых пальцах, хрупнула надвое. — Эх, чорт! Трубку испортил! Расстроили вы меня, ей-Богу, Алексей Филатович! Ну, я к вам еще не раз забегу. До отправки. А сейчас — к капитану. Делов с формированием по горло. Пока!

Поздно, уже за десять, вернулся домой Кожевников.

— Ну, поздравляю! — потер он руки. — Прощение удовлетворено. Вставили бандиту перо!

— Аристову? Да неужели?

— Перевели с повышением. Будет теперь командовать взводом украинской полиции. В немецкой форме, с немецкими харчами. Ну, да по мне — хоть Гитлеру в заместители, лишь бы от нас убрали. Лагерная полиция теперь подчинена мне. Уж начальника нового подобрал. Тоже из командиров, но наш, спецбарачный. Этот озорничать не станет.

**

Мюллер прибежал в воскресенье вечером: знал, что Заряжский дома — нечетный день. — Был в церкви, — сказал он, стягивая с головы зеленую вязанку и растирая вспухшие уши. — Проклятый холод! Представьте: не мог уговорить этого «батьюшку» придти... Не хочет. Почему — не сказал... Слышал я, что сменили начальника полиции. Это хорошо. Он был жесток с пленными, а ведь всё — на наше конто относят. Какие еще новости в лагере?

— Никаких, кроме новых смертей. Но это вас не интересует...

— Да, конечно, знаю, по-вашему, немцам всё равно, что делается в лагере, — закипел Мюллер и сразу же опрокинул баночку с окурками. — Donnerwetter! Насорил. Неправда! Мы озабочены, как и вы. Но беспомощны. Подумайте: продовольствие сразу для нескольких миллионов пленных! Откуда? Местных запа-

сов никаких. Кремль распорядился всё уничтожить. И потом — крестьяне ваши бедны, как церковные крысы. Где взять? Привезти от себя не можем: транспорт перенапряжен и всё берет фронт. Мы сами, тыловики, в забросе. Ничего не поделаешь! *A la guerre comme à la guerre!* Вот я слышал, что в Ленинграде — он осажден нашими войсками, вы знаете? — тоже начинается голод. Значит, ваше правительство даже со снабжением собственного населения не справилось. Что же вы хотите от нас?

— Чтобы не было среди ваших таких настроений, что, мол, русский солдат и не заслуживает человеческого обращения, права на него не имеет вообще...

— *Ach wo!* Откуда вы взяли... А что этот другой «батьюшка» из барака, как он?

— А вот хотите сходим туда вместе? Я давно собираюсь...

На дворе было темно и мело. Ветер швырял в лицо маленькие колючие, как иголки, льдинки и мешал смотреть. Мюллер и Заряжский, сокращая путь, пошли задами по сугробистой целине.

— Отдельные вывихи пропаганды еще ничего не значат, — бурчал Мюллер сердито — всё сбивался со следов, черпая короткими голенищами снег. — Ах, эта сибирская зима!.. Ненависть не в характере нашей нации. Кстати, о национальном характере: согласитесь, что у ваших здесь, в плену, проявляется множество отрицательных черт. Почему, например, все так охотно доносят друг на друга? Почему воруют повара, санитары? Почему ничего не делают врачи в лазарете? Почему нет товарищеской спайки, помощи? Мне рассказывали: один пленный свалился в яму с нечистотами. Кричит, просит помочь, — и все проходят мимо. Кто-то остановился: Вытащить? — спрашивает. — А покурить дашь? — Почему всё это?..

Ветер леденил. До санбарака добрались продрогшие. Отыскали невидную в забитых воротах дверь. Вошли.

Заряжский сделал шага два вперед и вдруг споткнулся о что-то твердое. — Посветите! — обернулся

он к Мюллеру. — Здесь свалено у них что-то.

— *Mein Gott!* — прошептал ефрейтор, включив батарейку. Маленький коридорчик был завален трупами. То, обо что споткнулся Заряжский, была до звону промерзшая человеческая нога. Другие голые ноги и руки торчали в разные стороны над причудливо сваленной кучей тел.

— *Ist das nicht eine Schweinerei?* — дрожащим голосом спросил Мюллер. Заряжский, не отвечая, толкнул внутреннюю дверцу. В лицо пахнуло густым, пронзительным смрадом отработанного организмом воздуха, прели и человеческих испражнений.

В бараке было темно. По обе стороны с нар торчали сапоги, босые ступни, тряпьё и солома. Стоял негромкий гул затрудненных дыханий, редкого по нарам полушопота и слабых стонов. В середине светился щелями дощатый закут. Оттуда погрохатывали голоса и смех.

«Санитары!» — подумал Заряжский. «Вот к ним и заглянем».

В жарко натопленном и прокуренном закуте санитары — их было пятеро — играли в самодельное из фанерки домино. Все поднялись и потерянно притихли, увидя вошедших.

— Ну, здравствуйте, медработники! Кто тут старший или дежурный?

— Я дежурный! — выдвинулся один.

— Вы вот тут поигрываете себе... А кто же за больными смотрит? Может, напиться кому-нибудь надо или еще чтонибудь?

Санитары молчали.

— А где здесь священник-санитар?

— Священник? А, старикан, старикан! Мы стариканом зовем его. Тута. Вон сразу направо, в пробоинке, у летчика своего сидит.

— Какого летчика?

— Паренек тут один, больной, из летчиков. С поносом. Так он его все выхаживает. Эти, что вы ему сухари посылаете, — все ему скармливает. Сам-то уж едва ноги таскает.

«Пробоинка» оказалась нишей в нарах, оставленной, верно, для печки, которую так и не соорудили. Заряжский осветил нишу мюллеровым фонариком и сразу же разглядел священника. Тот сидел на краю нар с вытянутыми по доскам ногами, прислонившись к стене. Голова в пилотке с развернутыми обшлагами свисала на грудь. Видимо, дремал. Рядом, с соломенного жгута, желтело лицо с густыми, почти в прямую линию сросшимися бровями. Из-под бровей уставились на Заряжского два молодых блестящих глаза.

«Это, наверно, летчик и есть, батюшкин питомец» — подумал Заряжский.

— Спит! — сказал летчик, чуть дрогнув желтыми веками. — Слаб очень!

Священник поднял голову и, узнав Заряжского, заторопился встать.

— Вы сидите, батюшка, сидите! Как здоровье?

— Жив пока. Сил только вот маловато стало. Ходить устаю. — Голос его, как показалось Заряжскому, звучал еще глуше и безжизненной.

— С городским батюшкой пока еще не сговорились. Просьбу вашу передали... Напомню ему еще сам.

Священник молчал. Смотрел в сторону, в темную глубину прохода.

«Что-то он плох!» — подумал Заряжский. — «Надо сказать Моталину, пусть последит...» — А с вами разговор не кончен, — повернулся он к санитару. — Почему у вас там столько трупов лежит? Почему не вывезены?

— От нас это не зависяще, господин переводчик! Похоронная бригада не поспевает. Одна у них тележка, а покойников всюду — беда! Мы — что! Саночки были бы, так мы и сами бы...

— Ну, а сложить поаккуратнее — тоже саночки нужны? Что это, поленья?

Санитар молчал.

— Про вас вообще говорят, что распустились окончательно. Не обслуживаете больных.

— Живых раздевают и к мертвякам волокут, — вот, как они нас обслуживают! — раздалось откуда-то с верхних нар.

— Что, если сейчас проверить, нет ли где-нибудь невынесенного покойника? — допрашивал Заряжский.

— Никак нет, не должно быть. Потому что часа два только, как всё осматривали.

— Что врешь, врешь чего, бесстыжая рожа! — снова принеслось из темноты. — Вон напротив помер с утра. И с утра вам, дьяволам, говорят. — Никто и не чешется!

— Да вы не верьте им, господин переводчик! У них, как затих человек — в беспамятстве или что, — так, значит, помер. И сейчас же — орать! А мы должны обстоятельно исследовать. Как полагается, пульс щупаешь, а потом...

— Щупаешь ты пульс, как бы не так! — продолжал тот же голос сверху. — Одежу щупаешь: суконная аль нет, много ли в обменку дадуть.

Теперь уже в нескольких местах на нарах зашуршало. Приглушенные скученностью и зловонным воздухом из темноты приплывали голоса:

— Наживаются на живых и мертвых. Ряжки растут!

— Ни черта о больных не беспокоятся.

— Несчастную пайку хлеба и ту ополовинить норовят!

— Санитары называются, туда их!

— О чем они? — подсунул к уху Заряжского Мюллер.

— Жалуются!..

— Это ужасно! — говорил Мюллер, когда они, снова проминая сугробы, пробирались назад. — Ужасно! Эти покойники! И какой воздух! Ваши санитары возмутительны! Честное слово, если вы не доложите обо всем, я сам напишу донесение. Я потребую... — Ветром помело на обоих целую тучу обледеневших снежинок, и Мюллер, не договорив, прикрыл лицо варежкой.

К новогоднему вечеру мороз скакнул за 20°, и снова мела пурга. Заряжский маячил из угла в угол, разминая в лопатках озноб — комнату только что выстудили безбожно: вносили рояль. Они жили теперь в новом помещении, в здании, где был лазарет, — прежние хозяева, немецкие унтеры, перебрались в город, убоявшись тифа. Жилье было просторное, с электричеством и круглой печкой в простенке, которую Фомич называл «контромаркой» (сейчас, на корточках перед топкой, готовил «шницель», и в воздухе до тошноты пахло жареной кониной). Заряжский кашлял глухо — и также глухо откашливался в углу рояль, — смотрел на часы (в десять условлено было сходитьсь) и припоминал протокол последних недель Старого года.

Сыпняк начался во второй половине декабря и размножился так, словно его с самолета сеяли. Болело уже больше тысячи человек; даже близорукого Петера свезли в армейский госпиталь. В дулаге объявили карантин. Не помещавшиеся в лазарете тифозные лежали в бараках, и только один Моталин отваживался проталкиваться в чело­вечьи свалки, щупать пульсы и лбы. По вечерам — возмущался; смахивая с рукава заблудившуюся вошь, говорил удрученно:

— Ну, что я могу? Целый день верчусь, завшивел совсем, а что толку? Термометр — один на весь лагерь. Даже стетоскопа нет. Да чорт с ним, со стетоскопом! — Тиф! Значит надо сердца поддерживать. У меня вот чудом штук пять ампул с камфорой застряло, так ведь я не Бог, чтобы пятью ампулами тысячи удовлетворить!..

Перебравшись по соседству с Милицей, Заряжский бывал теперь у Камского каждый вечер. Обсуждали тифозный аврал, литературные чтения кончились: не до того, да Заряжский и избегал многолюдства — боялся за Милицу: заразится, всё упрасивал быть осторожнее. Камский однажды не выдержал:

— Да будет вам наводить тень на майский день! Ну, почему им, девкам, заболеть? Они же не ходят в тифозное. И насекомых у них нету. Целыми днями в ванной полощутся, как утки. А укусит какая-нибудь шальная — опять же не страшно. Эпидемия эта не то, что в девятнадцатом году. Легкая. 4-5 процентов смертности, не больше. Полежат, значит, недельки три и опять запрыгают. Разве вот с волосиками сестрице вашей распроститься придется, — больше ничего, никакого риску!

— Да, вот какой добрый! — вспыхивала Милица. — Нет, я не заражусь, Алексей Филатович, не бойтесь! Мы ведь с Тамарой только при операциях помогаем. А в операционной у нас чистота — сами посмотрите. Вот жалко только, что не читаем больше. Потом опять начнем, да? И Новый год, значит, будем встречать? Правда? — спрашивала она шопотом, дыша на него такой свежестью молодости и здоровья, что он сразу успокаивался.

Был в протоколе и один светлый пункт — совсем даже светлый и волнующий: на немецкое Рождество пришел вдруг Вансович с литром «Московской водки» («Получили из одного уцелевшего склада. Подарок вам») и заговорщицким выражением лица. Осмотревшись, прикрыл плотнее за собой дверь.

— Строго между нами: в январе нас, очевидно, сменят и пошлют в другое место. Говорят, будто во Францию. Так вот оберст просит вас составить список военнопленных на освобождение. Хотим выпустить некоторых. Вот по этой формочке. Тут записано: фамилия, ранг, кадровый или резервист и т. д. Начинайте разумеется, с себя и с господина Кожевникова. Вашу кузину, само собою, тоже. Этого доктора Моталина, о котором рассказывали, внесите обязательно. Героическая личность. Далее: господина Плинка, затем из мастерских...

— Сколько же человек всего можно?

— Человек двадцать — двадцать пять. Главное — надежных, чтобы без будущих партизан, чтобы не

осрамиться впоследствии. Давайте даже тридцать. Отпустим! Только насчет смены дулага — никому, не правда ли?

— Когда нужен список?

— Ну, скажем, к Новому году. Там, в первые дни января, и решим...

Список составили. О планах надо было сказать Милице. Заряжский всё оттягивал, чтобы не при всех. Когда думал о предстоящем разговоре — волновался чуть...

Вошел Кожевников. По случаю праздника — оживился немного и снова суетился петушком. Тоже раздобыл где-то бутылку самогону и «переработал на ликер» по какому-то одному ему известному способу. — Вот покушайте — болтнул перед носом Заряжского бутылкой. — Настоящий абрикотин. А? Это пусть дамы, а мы — водочку... Не забыть подтолкнуть часы на час. Фрик разрешил встречу, но чтобы к часу все смотались по местам. А, принесли рояль? Правильно! что его зря, что ли, настраивали? Стоит там у больных, только мешает. А здесь побрянчим. Вы вот, например... Ведь играете?

— Гм-м! — сказал Заряжский и, подняв крышку, тронул клавиши. Рояль почти не фальшивил (духоборовская «поливка» действовала еще), звучал же глуховато, с чуть жалобной расслабленностью, как часто звучат старые инструменты.

Расслабленный этот звук напомнил вдруг детство: загородную усадьбу с двумя чугунными львами у въезда, на которых так удобно было сидеть верхом; дом со множеством лесенок, пустынных закоулков и старой уютной мебели. В большой зале с блеклыми портретами по стенам и зеркалами в углах стоял старинный красного дерева рояль, у которого так же вот жалобно звенели струны.

Всё это: усадьба, дом, рояль — было *plusquamperfectum*, как называл это прошлое Заряжский, и ощущалось скорее, как полузабытый сон, а не существовавшее на самом деле когда-то. От всего не оста-

лось теперь ни пенька, ни кирпичика. Говорят, сохранились перетащенные в ближайший колхоз чугунные львы, и на них, тоже усаживаясь верхом, отбивали колхозники косы...

— Ведь факт же — играете? — повторил Кожевников.

Заряжский учился на рояле в детстве, но был неусидчив, ноты повторял, раз разобравши, по памяти, поэтому так и не выучился читать с листа. Выросши, играл по слуху, но охотнее всего — когда один. Сейчас и вовсе не тянуло к клавишам: игралось, обычно, любимое, а любимое вызывало воспоминания.

— Нет, почти не играю! — ответил он, захлопывая крышку. — Вот уже Духоборов придет...

Девушки втиснулись в дверь вместе с клубами пара, заиндевелые. Тамара — по зрачки в цветастом платке с вермишелевыми бахромками, Милица — в синем сооруженном из попоны костюме, который разве только ее, ладную, фигуру не мог исказить до конца. Поблескивая талыми снежинками в волосах, высыпала на стол — горкой — печенье.

— Да это прямо пир! — воздел руки Плинк.

— Во время чумы, — буркнул Духоборов, но тотчас же заулыбался навстречу литру «московской», и лицо его приняло бархатное, как при встрече с дорогим знакомым, выражение. — В таком случае — танцы, как было обещано! Жертвую собой!

Покружились немного под знакомые, странно звучащие здесь танго и вальсы. Милица — неуверенно, видно было, что танцевальный ее опыт дальше школьных вечеров не пошел. Маленькая смуглая Тамара танцевала взахлёб, с какой-то вдохновенной ненасытностью. Впрочем, Духоборов скоро хлопнул рояль.

— Хватит! Вы — обнимаетесь, а мне завидно. Лучше давайте за стол!

Духоборов и Кожевников — друг против друга — хватались за горлышко взапуски, и, должно быть, с отвычки от спиртного, быстро, по-минутам, хмелили. Подливал Духоборов и Тамаре, и она, похохаты-

вая, тянула один за другим красненький, из обертки с бутылочного горлышка сделанный стаканчик. Плинка пил мало, сидел мешковато, в пол-уха прислушиваясь к болтовне Духоборова с Тамарой.

— Вот куда они все разговаривают, — шепнул Заряжский Милице, — я расскажу вам кое-что очень важное. Нам ведь не удастся никогда поговорить без свидетелей. Только это важное никому не передавайте. Пока...

— О нет, что вы!

— Видите ли: нас с вами и еще кое-кого скоро выпустят из-за проволоки. Командование уезжает. Придется переселяться в город. Я навел справки: мне нетрудно будет — переводчиком. А для вас вот ничего подходящего. В городе беспорядок. Я не хотел бы, чтобы вы жили одна. Или с кем-нибудь из девушек. Нехорошо в смутное это время. Выходит, надо нам устраиваться вместе.

Сказал и посмотрел — почему-то не в лицо, а на ее руки: кисти переплелись пальцами, плотно, даже побелели ногти. Потом поднял глаза — она смотрела пристально-пристально и розовела вся.

— Я поручил одному из знакомых отыскать жилье. Город разрушен, местные теснятся. Но он приметил уже для нас комнату. С печкой и обстановкой даже...

Румянец на щеках ее стал пунцовым, подполз к ресницам.

— В домике только старушка с племянницей, — продолжал Заряжский. — У племянницы — маленькая комнатка. Может быть, туда войдет еще кровать — для вас. А комната побольше — будет общая. Так, в качестве родственников, и пропишемся. Согласны?

— Да, конечно! — ответила она быстро. — Спасибо вам. Вы хороший.

«Вот и сказал. И всё ясно... Ясно ли? Благодарит меня за то, что не угрожаю ей подлостью. Как будто можно с ней, такой, как-нибудь иначе обращаться»...

— Когда же мы... когда же нас отпустят? — спросила Милица, выравнивая длинными пальчиками сморщенные краешки самодельной рюмки.

— Недели через две, думаю, не раньше. Итак — сговорились! Теперь — слушайте: Духоборов декламирует.

«Царица грозная — чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой.
Что делать нам? И чем помочь?»

— низко, в распев, гудел Духоборов, мотая поднятой кружкой.

— Жуть! вы что-нибудь другое — перебила Тамара. — Вот нате еще мое выпейте!

— Другое, так другое — кивнул Духоборов, выцедив тамарин стаканчик, и переменял:

«Ты сегодня совсем снеговая,
Как ты странно и страшно бледна!
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?»...

Кончив с Гумилевым, стал читать еще какие-то стихи, так же нараспев, но с тем особым оттенком самослушания, который обличает читающих авторов. Стихам чуть недоставало яркости, но за свежим звучанием их теплились искорки настоящего жара. «У него талант!» — мелькнуло у Заряжского. — Превосходные стихи! Вы поэт, оказывается! Я и предполагал что-нибудь в этом роде...

Приближалось двенадцать, и Фомич принес откуда-то большой таз, медный впрозелень, и колотушку. Выждав срок, медленно стал отбивать удары. Все поднялись, и у всех, словно по команде, погрустнели вдруг лица. Заряжский почувствовал, что обычное новогоднее приветствие вянет на губах, не выговариваясь. Колотушка, словно волшебная палочка, с каждым ударом вызывала в памяти позабытое — иные встре-

чи, иные лица. Прошлое вылеталось в сегодняшнее, делало его холодным и неудобным...

С последним ударом все же потянулись друг к другу с поздравлениями.

— С Новым годом! — шагнул Заряжский к Милице, и сразу же стало ему совестно за только что одолевшую грусть: она стояла рядом в горячем румянце взволнованного выжидания, беспомощно — как бы не расплескать — держа двумя пальцами неудобную рюмку. Круто выкружлялась синяя байка, и снова комкал в грубые складки тугую выпуклость выдох. — Выпьем за нашу будущую беспроводную жизнь! — сказал Заряжский, и последняя половина слов сползла в шепот: как раз на половине стаканчики их встретились, и он вдруг вспомнил, как видел ее однажды — с распущенными волосами и голыми коленками. Вспомнил и рассердился — почему вспомнил? — Не помогло: будто чужим воображением увидел вдруг мысленно за этой уродливой курткой живой ее вздох, теплый и розовый, — огненный впился в сердце буравчик, разбрызгав мгновенно по всему телу сладкую зыбь. Будущее! С ней... Мыслимо это? Или — не только доверчивость была в темных вскинувшихся сейчас на него глазах? — Властная, горячая, ни с чем несравнимая волна радости хлынула на него, подняла и согрела.

Перечокавшись, все снова замолчали угрожающе.

Выручила Тамара. Пошептавшись с Духоборовым, скользнула из-за стола к роялю. За нею вылез и Духоборов, сел за клавиши.

«Если жизнь не мила вам, друзья,
Если в душу запало сомнение»... —

запела она цыганское. Было у нее контральто и манера приятная, несмотря на излишнюю «под цыган» стилизацию. Все встрепенулись, а Кожевников даже рот от изумления раскрыл.

— Право же хорошо поет! — шепнул Заряжский Милице. — Знали вы за ней такие таланты?

— Нет, где же там у нас петь...

«Дай, милый друг, на счастье руку!
Гитары звук разгонит скуку» —

поводила Тамара плечиками.

Хлопали ей с ожесточением. За первым романсом пошли другие, новые, из советского репертуара. Затем, как всегда это бывает, когда соберутся подвыпившие русские, повернуло на хоровые. Зычно, на низах, подпирал припевы Духоборов, флейтой выводил верхи Фомич, старательно, хмураясь, фальшивил Кожевников, На «Комсомольской прощальной» из глаз его выкатились тяжелые две слезы. Начали обсуждать, что петь дальше и спорить, как водится. Подконец завели «Вниз по Волге-реке» — один из чудеснейших русских напевов, но за окном вдруг гулко затрещали выстрелы.

Духоборов с грохотом захлопнул крышку, и Плинка смешно присел на карточки. В наступившей тишине казалось, будто стреляют рядом, за окном. Стекла в раме подрагивали.

— Выключите-ка свет, Фомич! — приказал Заряжский. Отвернул «затемнение», приник лбом к стеклу. На дворе стояла синеватая муть. Секунду ничего не было видно. Затем беззвездно-осевшее небо проштопала наискось светящаяся нитка пулеметной очереди и тотчас же оборвалась. Вскинулась змейкой ракета и, треснув, рассыпалась под облаками золотым пальчатым дождем. Еще немного спустя поднялась и, выписав дугу, упала за лагерем другая ракета, зеленая.

— Свет, Фомич! Ясно, в чем дело: сейчас двенадцать по-настоящему, и немцы встречают Новый год. Подвыпили тоже и забавляются.

— И правда, как мы сразу не догадались! — выпрямился Плинка.

— А вы чего же это приземлились? — не удержался Духоборов. — Песню дураки испортили нам! — пробасил он, как горьковский Сатин, и снова поднял крышку рояля.

Стрельба за окном затихла, но настроение ушло. Песня не клеилась.

— Нам пора домой, наверно? — спросила Милица.

Заряжский хотел было возразить, но, посмотрев вокруг, раздумал: Духоборов зевал лошадино, Плинка был мрачен, Кожевников же, распластав по столу локти, откровенно задремывал.

— Ну, что ж, пойдете! — сказал Заряжский, увертывая Тамару в ее цыганский платок. — Провожу обеих. Как бы то ни было, Новый год встретили. А дальше — что Бог даст!

16.

Список на освобождение был утвержден, но смена лагерного начальства откладывалась, по словам Вансовича, на февраль, и вместе с нею — выпуск на волю. Освободили только Моталина и еще с полдюжины врачей, о которых просил город. Маленький доктор получил в заведывание пригородную больницу, километрах в трех от города, у реки. Зашел благодарить, прощаться и, пожимая Заряжскому руку, неожиданно расплакался. Слезы навернулись и у Заряжского.

— Нервы у нас, батенька, никуда не годятся! — говорил Моталин, сняв свои штопаные очки и смешно-неумело тыльной стороной кисти давя мелкие слезы. — В общем, — заключил он уже в дверях, — если, не дай Бог, кто-нибудь тут у вас свалится, — давайте ко мне. Выходим.

Сыпняк продолжал свирепствовать. Близорукий Петер умер в немецком госпитале. Попрежнему косило народ какое-то особое отравление организма на почве истощения, как объясняли лазаретные врачи. С убылью людей баланда погустела, выдавался хлеб.

Немцы бродили удрученные «сокращением» фронта, но Мюллер уверял, что всему виною морозы и что с началом тепла намечен реванш. «Удар будет потрясающий, прямо на Москву, и войне конец! Вот увидите!» — кипел он, терзая карту.

Жизнь протоколила безрадостно: дней через десять после назначения Моталина слег в сыпняке Духоборов. Заряжский решил отправить его в моталинскую больницу. Татарин Халим, ухаживавший за парой лагерных лошадей, увез Духоборова в широких, по-немецки — в форме сигарного ящика — выдуманных санях.

На исходе января свалился Кожевников. Скрипел в болях жестоко с самого новогоднего возлияния. Как-то утром попробовал — и не мог встать.

— Да ложитесь вы к Камскому! — сказал Заряжский. — Я с ним говорил, уж и койка для вас приготовлена. Там, по крайней мере, компрессы, диета, какая ни на есть, покой. Полежите недельки две и восстановитесь!

Кожевников долго, морщась и присаживаясь, приводил в порядок заваленный всякой всячиной стол.

— Танковые часы я с собой заберу. Знаете, приятно: время и ночью показывают. А вы возьмите себе карманные, у вас же нет своих. Сундучок захвачу, а вот — он подумал секунду — дневник пусть тоже у вас. В случае помру — сожжете...

Узнав о его болезни, пришел Вансович.

— Кого же мы теперь — в коменданты? — вздужил он брови, барабая по столу коротенькими пальцами. — По *Arbeitseinsatz* заменит Бойчевский, а в остальном — кто? Я думал бы господина Плинк. Самое подходящее, не правда ли? В этом, как его, передаточном бюро теперь совсем нет работы. И потом вы знаете: господин Плинк ведь отказался — в город? Да, да! Просится остаться с нами, в дулаге.

— Да что вы? Почему?

— Говорит: очень изголодался в лагере за зиму. Боится, что в городе снова будет голодно. Ведь там

в самом деле мизерные рационы. Все-таки странно, не правда ли? Кажется, его просьбу удовлетворят.

— Но ведь дулаг, вы говорили, собирается во Францию?

— Ах, пустяки! Разговоры. Двинут, конечно, куда-нибудь на восток. В Смоленск или еще ближе к Москве. В расчете на весеннее наступление. Кстати, господин Плинка не один. Просится еще Аристов со взводом украинцев. Их берут в подкрепление к вахе. Просилась одна сестра из лазарета, — маленькая такая. Сейчас, кажется, у Аристова в фаворитках. Ну, и еще кое-кто. Всех, наверное, захватим.

— Что ж, каждый ищет, где лучше. Сообщить, значит, Плинку о назначении?

— Да, попросил бы...

**

Плинка явился к вечеру с запахом прокопченного в барачной каморке платья и множеством разнокалиберных консервных баночек в качестве кухонной посуды.

— К чему вы — эти банки? У нас с Фомичом котелков достаточно.

— Вы думаете, лишнее? Я так, на всякий случай...

Плинка оказался удобным сожителем, деликатным и не надоедливым, так что Заряжский не мог взять в толк, чем так раздражался Духоборов. Сопя, разобрав свалку на кожевниковском столе, разложил бумаги и папки в такой симметрии огородных грядок, что хотелось иногда полить их из лейки.

Объяснения его с приходившими немцами очень развлекали Заряжского. Плинка произносил немецкое с крепким российским акцентом; добросовестно переводя русскую фразу, трудно, как жернов к жернову, подкатывал чужие, грузные слова — особенно глаголы и приставки, которые придерживал до времени и потом цеплял на конец, как шляпу на гвоздь вешал. Выдержанные немцы, впрочем, сохраняли серьезность.

В начале февраля прибыла для смены старого состава команда. Начала принимать лагерь.

— Теперь скоро! — помахал как-то рукой Вансович, водя новое начальство по двору. — Заждались, не правда ли?

К этому времени Заряжский уже подружился с хозяйкой будущей своей квартиры. Бойчевский, по его просьбе, посылал туда клопоморов и печника. В один из заходов старушка умильно потчевала молоком, а племянница, виляя грудью, — патефоном с московскими пластинками. Потом сказала: «А вторая кровать ко мне не влазит. Пospите вместе», — и Заряжский покраснел.

— Теперь скоро! — повторил он Милице слова Вансовича. — Наши городские хозяева заждались нас.

— Ну, что же, я готова... А знаете: Тамара хочет вместе со здешними немцами дальше куда-то ехать. Ее этот... Аристов подговорил, кажется. Бр-р! — сказала Милица, сделав гримаску и тряхнув косами.

— Пускай себе. Мы с вами — за оседлость.

От Милицы зашел к Кожевникову. Тот лежал землисто-желтый, еще более похудевший за последние дни.

— Вот начали колоть. Вспрыскивают что-то. Боль легче, а всё, сдается, слабею, — жаловался Кожевников.

В коридоре попался навстречу Камский.

— Ну, что? Как дела нашего коменданта? Скоро вы его поднимете?

— Плохи его дела, — понизив голос, ответил главный врач. — Вообще не поднимем.

— Как, разве язва...

— У него не язва, — еще тише сказал Камский, оглянувшись по сторонам. — У него — рак.

**

Заряжский вернулся к себе сокрушенный известием — привязался к Кожевникову. Было у этого человека много странно-противоречивых и незавидных

свойств, но жила в нем смелая душа, добрая и отзывчивая.

Сидя за столом, машинально потянул из-под стопки бумаг черную кожевниковскую тетрадку. Открыл на последних записях:

Декабря 16-го.

«Духоборов сам пролетарских кровей, но контрреволюционер махровый. Меня он, я знаю, называет «коммуноидом». А я беспартийный. Но тем, что вышел в люди, обязан советской власти. Не могу считать, что всё у нас на сто процентов никуда не годится! Я приводил Духоборову это, но его не собьешь. — Я, говорит, при царской власти тоже вышел в люди, но обязан этим только своей голове! — Странный тип... В политике — только лается, конкретных предложений никаких. Ну, положим: я от советской власти отказываюсь. Кого тогда сажать на командную высоту. Его, Духоборова? Или Плинка с Заряжским? Плинка вроде как на всю жизнь напуган чем-то, а в Заряжском барства много и мягкотелости.

Только в одном Д. прав: в самом деле, двадцать лет из себя лезли, вооружались, а пришла война — и всё кувырком, к . . . ! Это и пленный каждый переживает. Насчет безразличия — опять правильно. Бывало разговаривали о войне, о доме, а теперь закрылись. Тоже, ведь, знают: «кто в плен сдался — нарушитель присяги и изменник, подлежит смерти-изоляции». Сколько таких приказов зачитывалось! Недавно рассказывали еще: в соседнем городке самолеты лагерь бомбили. Люди от бомб — за проволоку, а постовые — из пулеметов. Обе, значит, стороны кроют: и оторвались от которой, и — к которой пристали. Куда же податься?

Потому, наверно, даже и умирают безразлично. Сам слышал третьего дня в лазарете: один, с поносом, кончался, — «Санитар, — кричит, — отдай мою пайку обеденную Федору (соседу), он, небось, до вечера доживет...»

Декабря 18-го.

«Ходили с гауптманом Фриком на наше кладбище на заднем дворе. Трупы складываются там в штабеля выше метра. Выше метра! Чую: от этих вот штабелей и грызет меня язва. Что с того, что мы «с привилегиями»? Не бьют по морде и картофель дают! Сердце-то обливается: бейся, не бейся — растут штабеля. Жуть! Даже Фрика проняло. У некоторых на лица со всего тела сползли вши. Так и замерзли, пластырем. Отчего это они на лица ползут? Штабеля идут вдоль забора, и гражданскому населению через щели видно. Плохая пропаганда для немцев! Хотят, видать, убрать к празднику. Фрик приказал было копать ямы кирками. Ну, потом образумился, сказал — пришлют опять саперов рвать ямы толком. Они рвут мелко. Там уже больше пяти тысяч захоронено, я полагаю. И все — всплывут по весне, когда оттеает. Это уж будьте покойны!...»

«И комендант к ним по весне присоединится!» — вздохнул Заряжский, закрывая тетрадку.

17.

Заряжский с дрожью в пальцах положил свою и Милицы отпускные в бумажник: уже полсвободы! — за ворота можно было теперь выходить обоим без пропуска. На воскресенье — последнее в феврале, предвесеннее — уговорился с нею идти знакомиться с будущими хозяйками «их» квартиры. Воскресенье надвигалось на-рысях — вот еще два дня, вот один только... И сладкий буравчик подкалывал сердце все чаще, часами плескал в нем прибой, возносил как будто всё выше, к какой-то вершине. И там, на вершине — нелепой, быть может, мечте, — вторая мерещилась жизнь — робинзонада из книжки, повторенная молодость. Только бы не рухнуло всё, не оборвалось! Было это — как в детстве: с санками за веревку лез на великую, по детскому воображению, снежную

гору. И ошибались ноги, дрожа, по льдистому, в зеркало выскользженному полозьями скату. Выше, выше! Вот-вот добрался... А если скользнешь и — обратно к подошве!.. Только бы не сорваться!.. И — сорвался!

Проснулся он в воскресенье с головной болью и неприятным металлическим привкусом во рту. «Закрыв Фомич трубу с огнем, что ли?» Выйдя в большую комнату, сел за стол с распланированными, как грядки, бумагами: Плинк ушел в церковь и просил составить за него сводку. Счел умерших и, выписав столбиком побарачно живых, подсчитал общее количество. Сумма слишком рознилась со вчерашней. Пересчитал — получилось на несколько сотен больше. Снова сложил — выходило опять совершенно новое. — «Что это? Забыл я арифметику? Ну, сколько будет 18 и 5?» — Потер лоб, вдруг затруднившись в ответе. Лоб был горячий, как печка.

Термометр показал 39,2. «Неужели — тиф?»

Написал Милице о том, что экскурсия в город не состоится, разделся, лег. И сейчас же стало казаться, что лежанье и есть самое нормальное состояние, встать же было бы трудно, даже невозможно. Старался не думать, что случится, если это в самом деле тиф, и думал все время как раз об этом.

— Заболели? — спросил Плинк, возвратившись из церкви, синий, с припухшими от мороза кончиками ушей.

— Да вот жар, и голова трещит. Вы собираетесь, кажется, сегодня в больницу?

— Да, непременно. После обеда. К Духоборову. Он поправляется теперь, и аппетит, как всегда, после тифа... Отнесу сухарей и попрощаюсь: до следующего воскресенья, вероятно, уедем, все-таки.

— Скажите Моталину, что я, возможно, на-днях — к нему в пациенты. Пусть приготовит местечко...

— Подозрительно, маэстро! — сказал в обед Камский, кончив выслушивать. — Так — все статьи в порядке: горло и прочее.

— Может, малярия?

— Вряд ли. Голова болит? Спину поламывает? Ну, вот видите... Подозрительно! Если температура не свалит, значит — сыпнячок. Точно...

Температура не «свалила» ни к вечеру, ни за ночь. Голову наутро ломило еще сильнее. Подкованные шаги Плинка в соседней комнате больно отзывались в висках.

Во второй половине дня заглянул Вансович и начал уже с порога:

— Слышал, слышал про вас. Как же это вы так невпопад? Все очень сочувствуют. Это, однако, ведь еще не установлено, что именно тиф? Не правда ли? Что? Голова? — Он снял фуражку, стащил вязаный — видимо, из дому — шлем и забавно причесал гребешком почти безволосую макушку.

— У меня к вам просьба, — сказал Заряжский. — Когда вы отъезжаете? Неизвестно?

— Ждем со дня на день *Marschbefehl*. Я думаю, через недельку. Когда приготовятся принять нас на новом месте. В чем же ваша просьба?

— Мне придется, наверно, к доктору Моталину. Если вы скоро уедете, моя кухня переберется в город. Ну, а если задержитесь, а я в больнице умру, — на этот случай и просьба.

— *Quatsch!* Почему вы непременно должны... Хотя, что же? Мы ведь с вами солдаты, не правда ли? Будем поэтому, как говорится... без обиняков. Всё, конечно, может случиться. Итак, в случае, если вы умрете, должен я о памятнике позаботиться, или что?

Вансович пошутил, настроившись на «без обиняков», но тут же смутился и полез за платком.

— Нет, не о памятнике, а о ней. Возьмите ее тогда с дулагом. С Тamarой, Плинком и прочими. Здесь, в городе, она будет одна. Там, куда вы едете, у нее родные. Возможно это? Обещаете?

— Обещаю! — торжественно сказал кругленький зондерфюрер, потеряв за ухом платком и снова засовывая его в рейтузы. — Но уверен, что всё получится хорошо. Настраиваться на минов не следует!..

Прибежала Милица. С придуманной («как не идет ей!») улыбкой и без румянца, несмотря на мороз. Нерешительно остановилась в дверях.

— Берите стул, Милица. Скоро я, наверно, ничего не стану понимать... (у нее испуганно расширились глаза). От жару. Значит, самое время поговорить о делах. Садитесь же... — Он полез под подушку. — Вот ваша отпускная. По ней, говорят, можно получить паспорт в городе. Это вот адрес нашей городской квартиры. Спрячьте как следует. Теперь — хозяйственное: вам надо же как-то жить, покуда я поправлюсь. Денег у нас нет. Вон там, в углу, пакет табаку. Фомич укрутит и притащит вечером. Оказывается, это — богатство. Там около пяти кило, приблизительно. Хозяйка вам порежет его и продаст или выменяет. Я узнавал: хватит, чтобы прожить больше месяца на черном рынке... — Он потянулся к кружке.

— У вас тут и нет ничего. Пойдите, я налью. — Она выплеснула остаток воды в лохань у печки и налила свежей из чайника. Заряжский не видел, скорее — чувствовал теплоту ее движений. «Вот и у воды другой вкус...»

— Я бы осталась здесь, с вами. Ухаживать... — сказала она, покраснев.

— Спасибо. У меня Фомич и Плинк. Оба очень внимательны. И я ведь здесь не буду лежать...

Она присела, помолчала немного, перебирая пальцами пушистые концы кос. Потом снова поднялась: — Пойду. Камский запретил долго у вас сидеть. Сказал — вам вредно разговаривать.

— Минуточку. На прощанье — еще одно: я, конечно, надеюсь выздороветь. Но если вот поеду в больницу, и случится... наоборот, а дулаг еще не...

— Этого не может быть! Глупости! — вспыхнула Милица, и в мягком ее голосе зазвучали вдруг непривычные приказывающие нотки. — Сейчас же выбросьте это из головы! Понимаете?

«Однако, как она — со мной. Как со школьником. Впрочем, они этому тону еще на куклах учатся». — Понимаю... Но если, все-таки... Вы должны тогда ехать с дулагом. Мне сказали под секретом: их направляют в ваши края. К Смоленску. Одной вам нельзя в городе. Там каждый немецкий солдат видит в одинокой девушке объект развлечения.

— Не смейте об этом и думать! — повторила Милица, подойдя вплотную к кровати, и, видно, немалых усилий стоило ей не заплакать. — Закрывайте глаза и спите! — Поправила подушку и положила руку на его пылающий лоб.

— Все-таки помните: это мое завещание. — Он сдвинул тихонько руку к губам и поцеловал в млечное с голубой вздрагивающей жилкой уже ускользящее запястье.

**

Проснулся он от приглушенного спора в соседней комнате: Фомич не пускал кого-то, входящего.

— Кто там, Фомич? Пусть войдет...

К двери подошел пленный, очень молодой, очень исхудавший, с желтым лицом и прямыми, сросшимися над переносьем бровями. Остановившись, мямля в руках пилотку.

— Входите. «Где это я видел эти брови?»

— Я, собственно, по поручению. Батюшка просил зайти к вам.

— Батюшка? Ах, да! батюшка из санбарака! — догадался Заряжский, разглядев на рукаве шинели повязку с красным крестом. Только теперь пришло ему в голову, что он уж давно безвозвратно выронил из памяти больного священника, которому одно время посылал сухари. «Как это я мог? Непростительно!» — Ну, как — батюшка?

— Умер с неделю тому назад.

— Не может быть! Что у него было? Ведь питание последнее время...

— Не знаю. Докторам не показывался. Я так думаю: от слабости. Просил передать вам вот это... —

Он вытащил из кармана знакомую Заряжскому черную книжечку.

— Ах, Евангелие?

— Да. И... пойду, не буду вас беспокоить.

— Ну, а как вы сами-то? Может быть, хотите перебраться в рабочий барак? Там ведь лучше. Я могу записку...

— Да нет, что же. Меня санитаром на бабушкино место приняли. Проживу как-нибудь. Будьте здоровы!

«Этого выходил, а сам умер!» — думал Заряжский. «И обо мне вспомнил. Что обещал дать Евангелие... «после как-нибудь»... Наверно, и имел в виду, что после смерти. А я — так и сухари забыл ему посылать». — Фомич! Включите-ка свет! — он потянул с одеяла черную книжечку.

Евангелие было на церковно-славянском, старое, с пожелтевшими, будто опаленными, страницами и множеством отметок, подстрочных и на полях. Из корешка торчал оборванный шнурок закладки. Заряжский раскрыл наугад. Вышла глава пятнадцатая; от Иоанна 13-ый стих, внизу страницы, был жирно подчеркнут:

«Больше сея любви никто же имат, аще кто душу свою положит за други своя».

«Как пришлось удивительно! Именно это место»...

**

Заряжский часто думал о том, что вера в Бога, в сущности, — особый талант, заложенный, вероятно, в зачатке в каждом, но не в каждом успевающий процветать. Пробуждение этого таланта, т. е. охоты и способности верить, он, как ему казалось, испытал на себе. В детстве ему мало приходилось слышать о Боге. Дедушка-философ, в усадьбе которого жил он каждое лето, был атеист убежденнейший и верил только в опыт. Водя мальчика по громадной своей библиотеке, рассказывал ему про книжные полки, мешая, как всегда, русские и французские слова.

— Это вот беллетристика, — говорил он, показывая на особняком стоящие красные шкапы. — Сказочки! Всё, что здесь, — всегда в твоём распоряжении. Можешь взять себе, если хочешь. А вот это — когда вырастешь! Здесь, *mon cher*, великое богатство ума, сокровищница человеческой мысли...

— А это, дедушка? Вот на этой полке?

— Там богословские книги, голубчик. Принадлежали покойному брату моему. Он увлекался. Я ведь не верю. Господь Бог, Царствие небесное и прочее и прочее — *ce sont des bêtises*, благоглупости... Никогда не интересовался, голубчик.

Выросши, Заряжский попробовал все-таки познакомиться поближе с этими “*bêtises*”. Однако Библия, Евангелие, Апокалипсис показались такими нереальными, то наивными, то противоречивыми, и всегда — туманными, что он надолго потерял интерес к такого рода чтению.

Интерес этот, как ни странно, возродился в годы воинствующего безбожия и преследования Церкви. Заряжского, помнится, поразила тогда жертвенность отдельных вер среди неистовых гонений на свободу человеческого духа. Снова взяв Евангелие, он ощутил вдруг его величественную, покоряющую глубину. Среди близких эту перемену угадала только одна из московских теток, из любимых. Когда уезжал на фронт, сунула ему, прощаясь, в карман маленький образок Божьей Матери и, отдельно, шелковую ленточку — надевать на шею: «Тебе, я знаю, нужно, — а ведь не спросишь сам. Не снимай».

Ленточка давно истерлась. От жару и пота краски на образке облупились и сквозь серебряную ризку чернели только пятна лиц и рук. Заряжский продел толстую тесемку от плаща-палатки, которая, хоть и терла шею, но была надежна, и теперь, в болезни, часто хватался рукой за грудь, чтобы удостовериться, что иконка на месте.

Заснуть после ухода батюшкиного посланца он не смог. Закрывая глаза, видел неизменно перед со-

бою исхудалое лицо священника со страшно обтянувшей череп кожей. Ввалившиеся глаза смотрели с укором. «Еще бы! Он и тогда, в первую встречу, знал, что я такой. Откуда у меня эта черствость к людям? Плинк, например, тот — по-другому, а я... Все — масштабы. Забота о людях — тоже в масштабах. Мимо отдельного человека. Может, если бы не забыл, он и выжил бы. Был у него крест нательный, он говорил. Интересно, снял этот паренек крест или с крестом — в штабель? Что это у меня еще связано с нательным крестом? Неприятное что-то!» — потер лоб и, тотчас же вспомнив, заволновался. Дня три тому назад на дворе остановил его за рукав мальчик — один из малолетних запроволочных. Мальчик просился в рабочий барак, потому что мерз в нетопленном. Заряжский написал ему тут же записку к Бойчевскому. Помнил сейчас фамилию — Козлов. Когда мальчик прятал записку в брючный карман, шинель у него распахнулась и оказалась надетой прямо на тело, рубашки не было. На шее же висел маленький медный крестик.

«Принял его Бойчевский или нет? Самому надо было свести, а не записку... Может быть, он и сейчас мерзнет там, с крестиком?..»

Больной священник и мальчик стояли теперь оба перед глазами. Оба глядели укоризненно. Мальчик распахивал шинель, обнажая посиневшую узкую грудь, потом вытаскивал из-за обшлага черненькое Евангелие и, раскрыв, указывал пальцем на какие-то строчки...

Час спустя Заряжский уже не понимал окружающего. Не слышал ни Камского, который хотел установить, появилась ли уже сыпь, ни Милицы, забегавшей еще раз к вечеру, ни Плинка с Фомичом, клавших ему на голову смоченные в ледяной воде тряпочки. Внешние впечатления просунулись в сознание только дважды: утром, когда его одели и подвели к саням, — тут запечатлелись множество снежинок, которые, попадая на горячие щски, так мгновенно

таяли, и заплаканные, некрасиво припухшие глаза Милицы; в другой же раз очнулся он, войдя в маленькую с бревенчатыми стенами больничную аптеку, куда поставил для него кровать Моталин. Он даже отвечал что-то на вопросы маленького доктора, который, хмурясь, выслушивал сердце. Затем, когда опускался на подушку, полки с банками и бутылочками поплыли, как качели, по стенам и потолку, и ему показалось, что его просовывают в узкий, тесный сруб глубокого, без дна, колодца. Этим впечатления внешнего мира и кончились.

18.

Милица болезненно переживала одиночество — «такое, как никогда в жизни!». Все надежды свои, и осуществимые и неосуществимые, собрала она в один узелок: скорое освобождение из лагеря. Верила, что свободная жизнь в городе принесет ей, как ласточка в клюве, и весточку от родных и, может быть, немножко радости, без которой ведь немыслима молодость. Главное — вырваться отсюда: от умирающих, которым нельзя помочь, отчаявшихся, которых нечем утешить, замкнутых, озлобленных и безразличных людей, с которыми не о чем разговаривать.

И вдруг — всё рушилось. Она припомнила и повторяла про себя одну и ту же строфу из стихотворения, которое читал недавно Заряжский:

«Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
Если жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута...»

Еще приходила тоска по дому, тревога за родных, за отца особенно: он ведь был так болен. «Очень, очень скверно с вашим отцом», — говорил знакомый доктор: «В Москву ему надо. Здесь у нас даже рентгена нету».

«Да, в Москве — рентген и врачи. Может быть, помогут... А если нельзя помочь?»

Ей казалось теперь преступлением, что она настояла на своем: уехала-таки на курсы. Всех переспорила. Как убеждал ее отец оставить эту затею, пока он так болен, и именно потому, что он так болен! Тревога за нее разве не могла еще ухудшить болезнь? Она со стыдом вспоминала теперь, как нетерпеливо выслушивала его доводы, одни — с насмешкой: о том, что окажется беззащитной среди чужих людей («кто это обидит меня, из военных?»); другие — с возмущением, вроде того, что ей, мол, в эту войну и защищать-то некого и нечего («Это ей, комсомолке!»).

«Ах, как был он прав, бедный папа! Почти во всем. Нет, совсем во всем. Теперь я это хорошо понимаю! Может быть, Бог меня за то и наказывает, что я всех переупрямила».

Почти каждую ночь видела она отца во сне — каким выглядел в последнее, перед отъездом, время: седая щетинка по щекам (бриться не мог от слабости) и такое ужасное выражение подавленного крика на лице и в глазах («не хотел волновать нас с мамой»).

Глаза эти, чуть прозрачней обычного, чуть-чуть постекляневшие и без мягких морщинок в уголках, вставали перед нею в снах особенно отчетливо. Она плакала и просыпалась на мокрой от слез подушке и потом снова долго плакала уже наяву.

Она разыскала городской домик, куда должна была переехать. Старушка оказалась радушной и словоохотливой и очень ей понравилась. У племянницы же в комнате сидел румяный толстощекий немец. Она называла его Фрициком и часто, без видимого повода, била шарфом по толстым пальцам. Разговаривать с ними было не о чем, и Милица вернулась домой, понуриив голову.

Не получив однажды, как обычно, вечером известий о Заряжском, она наутро вместе с Плинком сама отправилась в больницу.

Было солнечно и морозно. Ветки на деревьях застыли в пушистых перчатках инея. На окраине, за рекой, ослепительно блестели снежные бескрайние поля. «Вот бы лыжи, мигом бы добежала и узнала все скорее!» — думала Милица, похрустывая по нахоженному снегу каблучками и невольно ускоряя шаг. Плинка, прихрамывая, едва поспевал за ней и совсем запыхался, когда они подошли, наконец, к разбросанным низким больничным домикам.

Доктор Моталин не пустил их к Заряжскому.

— Бесплезно, барышня! — сказал он Милице. — Он без памяти, вас все равно не узнает. А узнает — опять нехорошо: разволнуется, вообразит себе что-нибудь. А сердце надо беречь. Да и вид у него невзрачный, — добавил он шутливо, поглядев поверх очков на убитое милицино лицо. — Потом будет мне пенять, что я вам его в таком виде показал.

— А вообще, что вы думаете о его положении? — спросил Плинка.

— Что думаю? — нахмурился доктор. — Кризиса ждем. Сейчас с вечера к нему Терентьева сажаю, санитару. Немного камфоры у меня еще осталось, в случае чего — сердце поддержать. А вы как? Всё ни с места попржнему?

— Приказа нет. С часу на час ожидаем. Уж и машины груженные стоят.

— Кризис наступит и вообще в случае чего — я извещу вас, — снова повернулся к Милице Моталин. — Пришлю Терентьева. Не беспокойтесь. И что не пустил — не сердитесь, это для пользы...

Санитару Терентьеву было уже под шестьдесят. Из них тридцать лет прослужил он при больнице. Сначала сторожем, потом, за ударную работу, «выдвинули» его в санитары. Близких у Терентьева не было, а привязанностей имелось две: к рыбной ловле и крепким напиткам. Для обеих этих привязанностей здешнее место оказывалось удобным: и река близко, и спирту можно было почти всегда перехватить. И сей-

час вот: за сверхурочное дежурство у кровати Заряжского Моталин наливал Терентьеву собственноручно мензурку неразбавленного «сырца».

На другой день после посещения Милицы доктор уже с обеда послал Терентьева к Заряжскому. За обедом Терентьев выхлебнул мензурку и теперь, сидя около больного, в маленькой, жарко вытопленной аптеке, поклевывал носом.

Заряжский в своем забытии вел весьма деятельную, напряженную жизнь. Колодезный сруб, в который его опустили, был узок, так что, расставив руки, можно было ухватиться за звенья стен. Впрочем, Заряжский держался на каких-то тоненьких, как насесты, жердочках, упертых поперек в пазы между бревнами. Дно колодца чернело внизу всегда одинаково далеко. Там что-то возилось, шипело и хлюпало. Верхнее же окно сруба, странным образом, оказывалось то выше, то ниже. В нем можно было наблюдать смену дня и ночи: показывались то квадратик бледноголубого неба, — в колодец начинали залетать редкие пушистые снежинки; то — вечерняя синева с миниатюрной, как если смотреть в бинокль наоборот, Большой Медведицей. Иногда у края сруба появлялись какие-то фигуры, заглядывали книзу, но лица скрывались колодезной тьмой. Раз как-то показалось Заряжскому, что он видит вверху знакомого московского парикмахера в халате, другой раз подошел кто-то, похожий на Аристова, и, нагнувшись внутрь, погрозил Заряжскому кулаком. Как следует рассмотреть людей наверху Заряжский не мог и перестал обращать на них внимание. Ясно было, что из колодца следовало во что бы то ни стало выбраться.

Утвердившись на одном из насестов, он осторожно, держась рукой за стенку, вытаскивал второй насест из пазов и перемещал его на звено выше. Затем передвигал первый. И так далее, звено за звеном. Сердце начинало выбивать чечотку, он задыхался, садился на жердочки отдохнуть и задремывал. Тогда жердочки, прогибаясь, тренькали по ребрам сруба,

как по клавишам, и спускались ниже. Приходилось начинать снова.

В день, когда Терентьев явился раньше обычного, Заряжский особенно много хлопотал. Ему удалось подняться очень высоко: до отверстия оставалось каких-нибудь 4-5 метров, оттуда уже тянуло повременам чистым морозным воздухом. Но сердце совсем разбушевалось от усилий, требовалось поминутно отдыхать. Он все-таки упорно, одну за другой переставлял жердочки кверху. Скоро стало ему казаться, что еще немного — и он сможет уцепиться руками за края сруба. Он выпрямился, прикидывая расстояние на-глаз, и вдруг увидел над головой, на стенке какое-то отвратительное насекомое. Оно было необыкновенных размеров, плоское, как каракатица, со множеством мохнатых — вроде крысиных — лапок и волосатым брюхом. Глаза, круглые, навывкате, злобно уставились на Заряжского, словно прицеливались. Заряжский почувствовал, что насекомое вот-вот бросится на него, и похолодел. Тотчас же оно, в самом деле, оторвалось от бревна, ринулось вниз и гулко шлепнулось о его щеку. В ужасе он отмахнулся, и гадина, сделав под ним дугу, поднялась и снова уселась на прежнем месте.

Атаки следовали одна за другой непрерывно, и он совершенно изнемог, защищаясь от мохнатого чудовища. Однажды сделал он особенно отчаянный взмах рукой и, потеряв равновесие, соскользнул вниз, едва успев ухватиться за одну из жердочек.

«Теперь — конец! Сейчас оборвусь!» — подумал он, чувствуя, что обессиливает, и тщетно пытаюсь зацепиться болтающимися ногами за бревна. Сердце билось, как сумасшедшее, и так громко, словно кто-то стучал топором по гулким колодезным ребрам. «Конец!» — повторил Заряжский, замирая. Ослабевшие пальцы разжались, и он, теряя дыхание, полетел в пропасть.

**

Муха на лбу Заряжского была очень довольна, что ее так долго не сгоняют больше с места. Это была

ранняя, до времени ожившая в теплой комнате муха, еще немножко ошалелая от спячки. На топившуюся в углу печку усесться было никак нельзя, и она выбрала раскаленный лоб Заряжского. Было приятно чувствовать под лапками струящееся от горячей кожи тепло.

Однако, посидев без помехи на одном месте минут с десять, она заметила, что тепло под лапками начинает исчезать. Там сделалось мало-по-малу так же прохладно, как и на бревенчатой стенке. Она переползла немножко выше, ткнула хоботком во что-то влажное и тоже холодное у корней волос и тщательно вытерла хоботок лапками. Потом, немножко подумав, взмахнула тяжеловатыми еще крылышками и, полетав, уселась на нос похрапывающего на стуле Терентьева. Нос был уютный, со множеством теплых переплетающихся сине-красных жилок, но, должно быть, очень уж чувствительный, потому, что тотчас же дрогнул, наморщился и растолкал в щелочки смеженные справа и слева от него губчатые веки.

— Опять усypило! — вздохнул Терентьев, зевая, и собрался было потянуться, но, взглянув на больного, так и остался на секунду с раскрытым ртом: прежде кирпичного цвета лицо Заряжского было не розовее наволочки, сшитой из деревенского домотканного суровья. Совсем огромным казался побелевший лоб. Стянутые комком на груди простыня и одеяло не шевелились. «Никак прозевал!» — с ужасом подумал Терентьев и нагнулся щупать пульс. Рука поверх одеяла была холодна. Опрокинув ногой стул, Терентьев опрометью бросился к двери и, застегивая набегу неверными пальцами ватник, с размаху налетел в коридоре на Аристову.

— Ты что, с... с цепи, что ли, сорвался? — сердито спросил Аристов и расправил набежавшую на шинели от толчка складку. — Старый хрен! — добавил он уже помягче, разглядев в полутьме Терентьева. — Ну, как там наш переводчик? Дышит?

— Вот только что кончился, кажись. Бегу доктору докладывать. Извиняюсь! — Он пустился дальше.

— Фью! — тихонько присвистнул Аристов. — Загнулся Заряжский! Вот так так! — Постоял минутку в нерешительности, посмотрел на часы и вышел за Терентьевым на улицу. В больницу приходил навестить кого-то из бывших своих полицейских, заговорился с ним дольше, чем предполагал, и теперь надо было спешить.

Упругой своей походкой Аристов зашагал к мосту, «прорабатывая» сообщенную Терентьевым новость. Он был мстителен, но, странным образом, не испытывал сейчас злорадства по поводу смерти Заряжского. Старая история с Милицей в ОРБ? — Женщины для него являлись предметом своего рода спорта, и как истый спортсмен он ненавидел противника только в горячке схватки. К тому же был теперь занят Тамарой. «А все-таки Паншина поедет с нами, — думал он, — одна здесь не останется. Значит еще «будем посмотреть». Тамара — девка хорошая. Только виснет больно уж. Боюсь, надоест скоро».

Он вышел на тротуар и прибавил шагу, с удовольствием козыряя встречным военным, небрежно — рядовым, с молодецкой отчетливостью — старшим в чине.

Когда он подошел к лагерю, уже темнело. Завернув за угол кирпичного здания, увидел, что окна на верхнем этаже открыты и оттуда валит дым. По двору, в подъезд и из подъезда, сновали санитары.

— Что вы, горите, что ли? — остановил он одного.

— Вшивая камера загорелась! — ответил санитар, ставя на землю ведро. — Тушим вот, бьемся.

— Не вшивая камера, — вошебойка, дурень! Вещи на дезинфекции занялись, — поправил другой, убегая с большим кухонным бачком. — Давай, давай, не задерживайся!

Аристов посмотрел вверх. Окно комнаты Камского, открытое, дымилось. В нем торчала плешивеющая голова Плинка.

«А этот чего там околачивается? Тоже ведь к Паншиной липнет, старый ...!»

Плинк был старше Заряжского всего на пять лет, но Аристов никогда бы не признал в нем всерьез соперника и по части женского «спорта» считал его вышедшим в тираж.

— Ало! — крикнул он вверх, произнося нерусский этот оклик, как первые два слога в «Алёша». — Ало!

— А, это вы, Аристов? — сказал Плинк, посовываясь вперед на подоконнике. — Вот задыхаемся тут. Окно пришлось выставить. Были в больнице? Какие новости?

— Только что оттуда. Плохие.

— Как Заряжский?

— Помер. Час, примерно, назад.

— Да что вы? Немыслимо! — посыпал Плинк сверху испуганным полушопотом. Он знал, что Милица — в комнате, за его спиной, и, следовательно, может слышать разговор. — Вы сами видели?

— Санитар сказал, который смотрит за ним.

— Ужасно! — Плинк оттолкнулся от подоконника и подтащил корпус обратно, в комнату: «Слышала она или не слышала?» — думал он, медленно, со страхом поворачиваясь спиной к окну.

В комнате ползали едкие клубы дыма. Из-за них глянуло на него побледневшее лицо с широко раскрытыми темными глазами. «Слышала», — решил Плинк и опустил голову.

— Что сказал Аристов? Он был в больнице? Да? Да? — беззвучно, одними губами, спросила Милица.

— Тяжелое известие, Милица Аркадьевна. Алексей Филатович только что скончался...

Рядом — должно быть, в соседнем окне — резко стукнула рама. Со звоном посыпались вниз разбитые стекла. Кто-то громко выругался на дворе.

Отвернувшись, Милица стояла несколько минут молча, опершись обеими руками о край стола. Тихо,

как дождь по листьям, падали на полированную поверхность слезинки.

— Пойдемте к нему! Я хочу к нему! — заторопилась вдруг она, отрываясь от стола и хватая Плинка за руку. — Вместе! Пожалуйста!

— Немыслимо! Смотрите, уже темно. Нам с вами разрешения не дадут на выход в эту пору. В больнице нет электричества. Что мы станем там делать, в потемках? Подождем до завтра.

— До завтра?

— Конечно. — Садитесь сюда и давайте обсудим всё обстоятельно. Завтра с утра я — в вашем распоряжении. Явлюсь точно, ну, скажем, в девять, и сейчас же и отправимся. Сговоримся с Моталиным насчет... словом, обо всем, что требуется, и... — Плинок заходил по комнате, с напряжением подыскивая слова. Они шли медленно, поначалу — натянутые, потом — менее принужденные и, как ему казалось, убедительные и примиряющие. Обычно жестковатый его голос теперь, когда он волновался, звучал мягче и душевнее.

Но Милица не слушала его. Сидя на диване, на том самом месте, где привыкла сидеть в посещениях Заряжского, закрыв руками лицо, думала о том, как зловеще преследует ее судьба, отрывая одну за другой ее привязанности, обрекая на такое страшное одиночество. Когда это началось? Почти сразу же после отъезда из дому. Почему ее, именно ее одну, отправили тогда в чужую, в окружении, часть? Она вспомнила первую встречу с Заряжским и перечувствованное, передуманное в тот вечер у землянки ОРБ. Потом — Руфь, к которой она так привязалась. Разве не ужас? Немножко, совсем немножко надежды — и вдруг этот удар. Такой неожиданный, снова швырнувший в пустоту робкую ее жизнь...

Прижатые к горячему лицу ладони стали мокры от слез. Под закрытыми веками плавали какие-то серые и голубоватые кружки и точки, точки и кружки. Потом перестали плавать, подобрались к середине и вдруг необыкновенно явственно и отчетливо сложились в улыбающиеся глаза Заряжского.

Вошла Ляля. Узнав новость, всхлипнула и, обняв девушку, повела ее к себе. «У нас там хоть дыму меньше и тепло».

— Так я к вам — в девять, Милица! — крикнул Плинка вслед. — Будьте готовы!

**

*

Наутро Плинка застучал в комнату сестер еще темно, в самом начале восьмого.

— Милица Аркадьевна! — торопясь и волнуясь, цедил он сквозь чуть приоткрытую щелку слова. — Поднимайтесь! Новые события! Тамары это касается тоже. Поскорее, пожалуйста, если можно. Я буду в комнате доктора.

«Новые события» был приказ на выезд прежнему персоналу дулага, полученный, наконец, в полночь канцелярией и только что утром сообщенный Плинку Вансовичем. Как это всегда бывает, несмотря на долгие приготовления и ожидание, приказ все-таки застал врасплох; сборы всё еще не были закончены, и в Управлении суетились и бегали старые и новые хозяева. Спешно подписывались, сдавались и принимались какие-то бумаги. Упаковывали в оставшиеся еще забытыми ящики пишущие машинки. Капитан Фрик в отделанной барашком кепи и барашковом же воротнике, нетерпеливо щелкал хлыстиком по блестящим, бутылочками, голенищам, подгоняя писарей. Пленные, предназначенные к освобождению, были уже отпущены. Ехавшие с дулагом — ждали кучкой у подъезда с сундучками и узелочками.

Милица вышла с подпухшими глазами и по-детски расплывшимся от слез ртом.

— К великому несчастью, Милица Аркадьевна, — заторопилась навстречу Плинка, — наше намерение — в больницу — отпадает. Сейчас уезжаем. Зондерфюрер сказал мне, что и вы с нами едете.

— Как? Я не могу. Я должна сначала...

— Невозможно. В восемь часов колонна выстраивается на шоссе. В больницу — в оба конца — больше часу... Это, если не задерживаться.

— Господи! Что же делать? — хрустнула она пальцами. — Может, все-таки, мы успеем?

— Мне не разрешат ни в коем случае. А вы рискуете отправиться и вернуться в пустоту. Вы не убивайтесь так, Милица... Я напишу Моталину, он всем распорядится, как нужно. А мы... Господин Вансович сам хотел поговорить с вами. Вот, кажется, он...

Вслед за дробью шажков по коридору в дверях показался зондерфюрер.

— Уф! На минуточку! К вам, m-lle Паншина... Уф! — захлебываясь одышкой, заговорил он. — Прежде всего — сердечное мое соболезнование. Очень потрясен! Наши все тоже сожалеют... Передохну чуть-чуть! — Он сел и, верный привычке, потянулся за платком. Милице сверху не стало видно его лица, а только красноватая, с редкими, словно приклеенными, волосиками лысина, и она тоже села, облокотившись, напротив.

— Насчет вот вас... Желание господина Заряжского было, чтобы, в случае его смерти, вы ехали с нами. Это все устроено. Я говорил с оберстом. Мы вас берем. Упаковывайтесь побыстрее и — к Управлению. Вещей у вас немного, не правда ли?

Она смотрела на него, не отвечая. Этот внезапный, как на голову свалившийся, отъезд казался ей теперь новым ударом, новой несправедливостью преследующей ее судьбы. «Ведь целый месяц ждали — и всё оставались, всё сидели здесь. Почему именно — сегодня? Как раз сегодня? Сейчас?» Она боролась с подступающими слезами, и все-таки они заволакивали глаза, а розовое лицо зондерфюрера расплывалось и ползло в сторону.

Вансович растерянно поглядел на Плинка.

— Мы сговорились как раз утром идти в больницу. Проститься. И вдруг — отъезд, — пояснил тот.

— Ах, вот что! Да, разумеется, понятно, очень тяжело. Но что поделаешь? Транспорт к восьми должен быть в готовности. Может быть, и час простоям на месте, а все-таки отлучиться нельзя. Война!

Будьте молодцом и не опаздывайте со сборами. — Он поднялся. — К вам, господин Плинк, там заместителя привели. Хотят, чтобы вы с ним поговорили до отъезда. Пойдемте вместе!

У двери Вансович оглянулся. Милица плакала, уронив голову на руки. Пушистые кончики кос на столе подрагивали.

— Да, тяжело, очень тяжело! — повторил Вансович. — Вы, Тамара, можете м-лле Паншиной уложиться, не правда ли?

**

На улице было солнечно. Первая робкая мартовская оттепель чуть тронула сугробы по обочинам шоссе. Плотный спрессованный дорожный наст потемнел и заблестел на солнце. В желтых навозных россыпях почти по-весеннему тормозились воробьи.

Колонна дулага вот уже больше часу стояла на сборном пункте. Ждали оберста. Капитан Фрик у своей перекрашенной под ящерицу «эмочки» выжидательно поглядывал в направлении города. От него, звучно щелкнув каблуками, отошел Аристов: спрашивал разрешения украинскому взводу запеть что-нибудь хором, когда тронутся.

Взад и вперед вдоль колонны с треском и выхлопами носился клеенчатый мотоциклист в громадных очках и с флажком на руле.

Наконец, мимо подрагивающих слепых фар прокатилась маленькая вымазанная белилами машина оберста. Фрик поднял хлыстик и помахал им в воздухе. Машины одна за другой дергали вперед. Колонна покатила на восток.

В последней с похожим на киоск кузовом машины ехали взятые дулагом русские: несколько мастеровых, два шофера, Тамара, Плинк и Милица.

Часть вторая

ДЕВУШКА ИЗ БУНКЕРА

1.

Сорвавшись в колодец, Заряжский необычайно долго, как ему казалось, летел вниз, задевая ногтями противно склизкие стены сруба, а упал мягко, без ушиба и сотрясения. Хлюпнуло жидкое дно, и, влипнув в него, прохладно взмокла спина; всё тело, распластавшись, заотдыхало в блаженном покое. Было только непроницаемо темно, и даже светлый квадратик колодезного отверстия не пробрезживался.

«Да ведь я зажмурился, когда падал!..» Он с усилием подернул кверху веки. И тотчас увидел близко-близко над собой заболтанные веревочками очки и за ними — темные, строгие в пристальной напряженности глаза доктора Моталина. Встретившись со взглядом Заряжского, глаза эти дрогнули, теплые струйки света плеснулись к углам, в мелкие лучистые морщинки.

— Ну, вот и слава Богу! — сказал маленький доктор и выпрямился. — Жить будем. Возьми-ка шприц, Терентьев.

«Жить будем!» — хотел повторить за ним Заряжский, но ничего не получилось, кроме судорожного вздоха. «Так они боялись, что я умру? — В памяти встали вдруг убитое лицо и красные подпухшие веки Милицы. «Боялись, что умру... А мы жить будем! И, значит, я снова увижу Тебя...»

Суток двое спалось непреодолимо. Заряжский слышал над собой посапывание Терентьева, слышал,

как подходил Моталин, щупал пульс, снова колот шприцем, — но проснуться не мог.

Потом сонливость оставила, и пришло ощущение необыкновенного благополучия и охота говорить. В этот день, во время очередного визита, он забросал маленького доктора вопросами.

— Да, да, старый состав дулага уехал из города. Ваша сестрица? Гм... гм... тоже уехала, насколько мне известно, — говорил Моталин, поглядывая куда-то насторону поверх очков. — Я вот узнаю сегодня-завтра поподробнее, расскажу тогда. Письма? От нее? Нет, не было. Да, конечно, странно. Гм... все это, я думаю, выяснится. Я постараюсь...

О том, что в лагере сочли Заряжского умершим, доктор сообщил только два дня спустя, и эти два дня вклинились зловещей тенью в радужное небо выздоровления. Почему Милица решила уехать, вопреки договору? Почему не оставила ни строчки в объяснение? Взапуски возникали догадки, одна колючее другой. Температура прыгнула. Тогда доктор поспешил объясниться и даже прочел записку Плинка с просьбой похоронить «нашего дорогого Алексея Филатовича не в общей могиле, а особо, чтобы можно было после найти...»

— И дальше, ей Богу, ничего не понимаю! — развел он руками. — Какая блудливая сорока им на хвосте отнесла, что вы померли, — ума не приложу!

Разгадать было нелегко! — «блудливая сорока» отъехала уже далеко от Б., Терентьев же или совесть признался, или и сам позабыл свое впопыхах оброненное «кажись, кончился».

У Заряжского, однако, камень с сердца свалился. Мысль, как должно было потрясти девушку это крушение общих их планов и внезапное одиночество, удручала, но самое главное — непонятный ее отъезд — выяснилось. То, что объяснение отъезда казалось «самым главным», Заряжский устанавливал со стыдом и по привычке упрекал себя в эгоизме.

Ближе к концу месяца зашел из соседнего, через двор, отделения Духоборов.

— А я и не знал, что вас тоже сюда приволокли, — объявил он, усаживаясь. — О чем надо, и не потрудятся сказать. Впрочем я с этим дурачем, санитарями, не разговариваю.

Духоборов был костляв чрезвычайно и слегка приглуховат, как это случается после тифа. Оттого гудел пронзительнее обычного, разговаривая.

— Собираюсь на выписку. Три раза уже в город таскался. Насчет работы.

— В городское управление хотите?

— Да нет, какое там! Стоит за низачто штаны просиживать. К тому же у них прижим националистический: требуют, чтобы служащие по-белорусски изъяснялись. А я ведь никак не могу признать, что если вместо «улица» сказать «вулица», а вместо «колбаса» — «коубаса», так уж и особая национальная «мова» получается. Да и противно язык карежить. Нет, мне повезло: в столовой место нашёл. Три часа в обед на рояле играть. Для культурности и пищеварения. Кормят ведь пакостно. Ну-с, за это получаю стол. А потом там же — приход-расход вести, бухгалтерию. За это платить будут особо, на табачишко. Вот с 1-го апреля, с обманного дня, и приступить можно было бы...

— За чем же дело стало?

— Да за жильём, чтоб ему пусто было! Куда-нибудь надо же отсюда переползть. Городишко сгорел, всё забито. Показывали мне одну халупу, так ведь голые стены и ни печи, ни дров. До тепла с холоду околеешь. А покуда подходящее сыщешь, гляди и столовая улыбнётся.

— Гм... Может быть, вас хозяйка моя пустит, — сказал, подумав, Заряжский. — Я ведь с месяц как нанял помещение. В расчёте на освобождение. Для себя комнату и для Милицы маленькую. Ну, маленькая отпадает, кухня моя уехала. А в большой и печку починили, и топлива натащили запас. Там диван

стоит, — канапа, как они здесь называют. Вот бы вы и могли... пока. Там, когда я выпишусь, посмотрим.

— Знаменито! — хлопнул себя по острым коленкам Духоборов. — Это был бы выход! Покуда вы очажнете, я, может быть, и подыщу что-нибудь. А нет — так и вместе пожить могли бы. А? Не полагаемся ведь, не с Плинком...

— Давайте карандаш, а бумага — вон там, в кармане.

— Знаменито! — продолжал гудеть Духоборов, пряча в бумажник записку. — Лишь бы не сорвалось. А я бы вас иногда из своего трактирчика подкармливать стал. Там в неделю три раза гречневая каша. Вы, я знаю, любитель. Да! Как же это с вашей кухней? Санитар вчера нёс гиль какую-то, будто вас в покойники произвели. Потому она и уехала. Верно это?

— К сожалению, да...

— Чорт знает что такое! Кинодрама какая-то! От Плинка, говорят, была записка? Уверен, что он и срежиссировал всё. Это, доложу вам, тип!

— Ну, что вы! Не мог же он сам выдумать. Услышал откуда-нибудь. Человек порядочный.

— Я и не говорю, что прохвост. А — путаник. Это иногда ещё хуже. Говорят, они в Париж поехали, лагерные?

— Вряд ли. На восток, ближе к фронту.

— Ну, тогда не страшно. Сыщется. Гнусно, конечно, получилось, но поправимо. Надо только с каким-нибудь немцем стакнуться, номер полевой почты узнать и попросить отправить письмо. И дело с концом. Не унывайте!

Необычный этот в Духоборове оптимизм был живителен. В самом деле, по военной почте можно же списаться с Вансовичем, а через него и с Милицей. Заряжский боялся только, что, когда напишется письмо, её не будет в лагере. «Отпустят, наверное. Это ведь недалеко от её города... Какого города?» Как можно было за почти что полгода так и не узнать, где именно жила Милица с родителями до войны! Он

восстанавливал в памяти все их нечастые разговоры, чуть не дословно, — нет, ни разу не выговорила она названия города. Помнится, при первой встрече, в домике, собиралась было, а он перебил, сказал, что это неважно. «Если бы знать! Выздоровев, можно было бы тогда добраться...»

Старушка-хозяйка охотно пустила Духоборова в комнату, и тот, как живой водой sprыснутый, на-рысках выбрался из больницы.

Трижды в неделю Терентьев приносил из духоборовской столовой солдатский котелок каши. По воскресеньям Духоборов наведывался сам.

В апреле Заряжский стал выходить из своей аптеки на свежий воздух. Весна выдавалась несмелая, не торопилась утвердиться. Снега таяли медленно, плотно и упрямо прижимались к земле. Крепкие морозцы до полудня сковывали небойкие весенние ручьи и редкие проталинки. Только от реки с синеватыми под лёгким парком полыньями тянуло по-весеннему.

В одно из воскресений Заряжский с Духоборовым отправились рассматривать взбугрившийся лёд. В лиловатых его складках плавилось солнце. В узких у берега трещинах нетерпеливо всхлупывала вода.

— Скоро разорвёт! — сказал Духоборов, оглядывая из-под ладони покоробленное речное зеркало. — Два-три дня, больше не продержится. Я ведь волжанин. Дрянь эта на Волгу, конечно, не похожа, а признаки те же. С вашей Валеи сговорились на лёд-ход поглазеть.

— С какой «моей Валеи»?

— Да с хозяйкиной племянницей. Не знакомы разве?

— Ах, с этой! Как же, видел раза два. Даже как-то под патефон кружились... Так её Валеи зовут?

— Славная девка. С немцами вот только путается. И вообще путается. Но с моей точки зрения это не порок. Аппетитная. Ляжки хороши. Мягонькие, как подушечки.

— Быстро вы присматриваетесь...

— Да она сама показывается. Ходит днём, чорт её знает, в каком-то размахайчике, без застёжек совсем. Всё моё карамазовское естество бунтует.

— А вы и Карамазова в себе признаете?

— А что же? Все русские — Карамазовы. Думаете, вы — нет? Не морщитесь, я ведь не о сладострастии только говорю. Вообще — о характере. Все мы — Иваны или Дмитрии, Алеши или Смердяковы. В чистом виде редко. Чаще разболтано: от одного немного, от другого побольше.

— Вы думаете?

— Уверен. «Братья Карамазовы» — ключ к русской душе. Если бы Достоевский только одно это открытие и сделал — всё равно оказался бы гениальнейшим из гениальных. Ключ! Ну, что такое, например, Русь советская, как не ивано-смердяковщина? Несколько Иванов начали, Смердяковы продолжают. Митенька и Алеша в щель загнаны. Не согласны?

— Схематично, по-моему.

— Ничуть! Иностранцы вот всё разгадать нас стараются. Сопоставляют с собой, — ну, и дальше зубных щёток в качестве культурного мерила сравнение не идёт. Достоевского они ценят за то, что он написал два криминальных романа. А понять нас без Достоевского невозможно.

— Может быть... Вы, впрочем, о себе начали. В вас-то какой Карамазов сидит?

— Во мне — Иван, конечно. Есть и от других малая толика. И от старичка, и от Смердякова. В вас, например, — Митенька. Смердякова почти нет: гонор мешает, чистоплюйство, так сказать. Есть ли от Алеши — не разобрал ещё. Мало знаю.

— Ну, а Плинка? — полюбопытствовал Заряжский. — У него какое наполнение, по-вашему?

— Никакого. Один большой желудок, всё остальное пристроено. Человек — подобие Бога, а он подобие человека. Всю жизнь будет заглядывать живущему только под хвост, в самое негармоническое место, так и умрёт, не увидев лица. Ну его...

На солнце набежало молочное облачко. Река стала свинцовой. Со льда пахнуло колючим холодком. Духоборов поёжился.

— Мёрзну я в проклятущей этой шинели. Где другую достать? Безнадежно! Вот ваш дядька, санитар, с рыбой идёт. Такую одёжку, как у него, раздобыть бы!

От берега шёл в латаном нагольном тулупе, с ведёрком и какими-то баграми в руках, Терентьев. По тому, как держал он ведёрко, и по разочарованной, волочущейся походке видно было, что лов не удался.

— Ну, что, Терентьев, много поймали?

— Пустой! — звякнул санитар ведёрком и смахнул рукавом каплю из-под лилового носа. — Ничего не берёт. Снасть худая, а заменить неоткуда. — Он постоял секунду, подхватил подмышку «худую снасть» и тронулся дальше.

— Пойду-ка и я тоже, — поднялся Духоборов. — Да: насчет этой самой полевой почты... Не вижу ведь никого из немцев. Всё с земляками, чтоб им пусто было. А нарочно идти — по-немецки я плохо. Придётся вам самому, после выписки. Вы когда думаете отсюда?

— Через недельку Моталин обещает выпустить. Говорит, уже можно будет.

— Вот тогда и нажмём. Ничего, свяжемся. Не в Африку же они с вашей кузиной отправились.

2.

Состав дулага, в котором была Милица, катился очень не спеша к северо-востоку, с утомительно долгими днёвками по пришоссейным сёлам и полуразрушенным городкам. Не доехав до Смоленска, свернули на запад, по большаку, и наконец остановились в деревушке Орехово, на бугре между большаком и серой грядкой леса.

Чернея, сбегала с бугра колючая проволока, вырезая квадрат лагеря, с приплюснутыми по углам грибами сторожевых вышек.

— Как, говоришь, деревня называется? — спросил кто-то из мастеровых у глазевших ребятшек. — А? Орехово? Ишь ты: Орехово, да не Зуево...

— А тебе на что Зуево?

— Да я сам оттуда. Из-под Москвы. Теперь вот обратно в Орехово попал. Ан Федот, да не тот!..

В первый же вечер оседлости явился Плинк с картой.

— Установил, Милица Аркадьевна, куда попали! Вот, смотрите, — он развернул карту и поставил на неё стеариновую с танцующим огоньком плошку: — Это вот наше Орехово, где крестиком отмечено. Оттуда вон мы приехали. А вот это — дорога на Смоленск. Я уточнил: 120 километров до него. Это вот, пожирнее, шоссе на Москву.

— А где мой Старгород? Далеко?

— Старгород? Разве это ваш город? Я думал, вы из Смоленска... Старгород мне где-то попадался. Минуточку, темно... — Плинк совсем низко наклонил к карте плешивую голову. — Вот он, Старгород. Видите? Сейчас прикину по масштабу... Пустяки! Всего километров шестьдесят. Да и шестидесяти не будет. Час езды на машине. Поздравляю. У вас там родные? Квартира?

— Нет, папа с мамой эвакуировались. Никого теперь. Дом был свой, огород, и даже цветник у меня. Но очень бомбили. Наверное сгорело всё...

— А вы уверены, что эвакуировались? Вдруг там ещё?

— Нет, я письмо уже с дороги получила. Ждали на вокзале эшелона.

— Что же, вам теперь надо туда проситься. Если не родные, так знакомые найдутся.

— Ещё бы, я там выросла.

— Вот только устроимся здесь — и проситесь. Или немного погодя, когда потеплеет. И мне напишете. Как там — с жильем, с продовольствием. Может быть, и я рискну — в ваши края. В учителя куда-нибудь. Вот как только междуцарствие с лагерем кончится, так и думать будем...

Со сдачей-приемом лагеря на новом месте повторилась прежняя канитель: здешнее командование не получило еще распоряжения выезжать, и смена разместилась кое-как. Oberштабартцу Шустеру отвели под амбулаторию мелкую, навалившуюся грудью на заваленку избенку: комнатуха и два закута за дощатой перегородкой. В комнатухе возникли полки с баночками, таблетками и бинтами, в закуте поместили Милицу с Тамарой, в другом — сонного долговязого немецкого фельдшера.

Со свойственным немцам отвращением к бездеятельности Шустер тотчас же составил расписание: до десяти прием солдат, с десяти до обеда — местных жителей. Милица помогала при перевязках и переводчицей.

Местных шло поначалу немного, а потом набивались целые сени. Несли все больше детей, с опухольями, нарывами, язвами, лишаями. Шустер пожимал плечами, пытался устанавливать причины...

Бабы слезливо жаловались на голод, нехватку одежды, а уходя совали oberштабартцу дары: пару яиц, кусочек заболтанного в цветную тряпочку желтого масла.

Шустер морщился. «Переведите, что у немецкого солдата своего продовольствия достаточно», — приказывал он Милице. Бабы, вздыхая и кланяясь, совали дары обратно в кошелки, с недоверчивой усмешечкой выслушивая объяснения. «Было бы у них достаточно, не шлендали бы по дворам за курями и яйками», — сказала как-то одна, побойчее, и Милица покраснела, подумав, что Шустер потребует перевода, — робела своего неразговорчивого начальника.

Постепенно холодный из-под кустистых бровей, требовательный взгляд Шустера стал теплеть, когда он обращался к своей помощнице: старому врачу нравилась спорость ее движений и то, что ее так охотно слушалась детвора.

После одного особенно затяжного приема oberштабартц скинул халат, отмахнул подпрыгнувшего с шинелью санитаря, уселся на лавку и вытащил

сигару. Задымив, принялся расспрашивать про семью, про то, как попала Милица на фронт, что думает делать и где жить, когда кончится война. «Как, вы из Старгорода? Так близко? — удивился он, выталкивая колечки дыма к закопченной божнице. — Значит, надо вас отправить домой. Немного только подождать, пока устроимся. Говорите, родственников у вас там не осталось? Ну, все равно, родной город. Да, так и сделаем! *Abgemacht!* Хоть мне и жалко терять помощницу, — улыбнулся он в первый раз за их знакомство, одними только заплетенными около глаз морщинками. — *Aber nichts zu machen*»...

**

В начале апреля машины старой команды дулага выкатились, наконец, за околицу, разбрызгивая желтоватую талую кашу дороги. Плинка предложил Милице осмотреть лагерные владения.

По выщербленной колеями и ухабами улице прошли они к полуразваленной, без купола, кирпичной церкви. Как раз против церковной паперти белели входные ворота в лагерь. По сравнению со старым казался он крошечным. В маленькой будке у ворот помещалось управление. Левее, под черными, как обуглившиеся, липами расплзался бревешками низкий, словно на корточках, домик. Справа серели две длинных под драночными крышами конюшни.

— Да он игрушечный, этот ваш лагерь! — удивилась Милица.

— В этой игрушке зимовало две тысячи человек, — сказал Плинка. — А сейчас осталось около пятисот, — добавил он шопотом и оглянулся на будку, словно боясь, что там могли услышать и понять сказанное. — За деревьями — это бывшая усадьба священника, а теперь лазарет. В конюшнях, как и у нас, в Б., — пленные. Там вон, видите, у проволоки, бугорок с трубой — бункер для арестованных. Еще, за бараками, где я обитаю, две избы, — вот и все хозяйство. В общем — мерзость и запустение.

Они двинулись вдоль конюшен по рыжему мокрому, как губка, вытопанному дерну. Только теперь заметила Милица у солнечной бревенчатой стенки несколько одиночек-пленных. Они сидели на подсохших проплешинках ската, как приклеенные, с землистыми лицами и, греясь на солнце, выскивали в снятых шинелях вшей. Никто не поднял головы и не посмотрел на проходивших мимо: так безразличен, видимо, стал им внешний, внебарачный мир.

За конюшнями проволока выхватывала из деревенского порядка два двора и затем уходила влево.

— В этой избе, — кухня и повара, а здесь — мастерская и моя комната. Тесно. Меня поместили пока вместе со здешним строителем Сверчковым. Видели его? Хороший человек, бухгалтер московский в прошлом. Зайдем к нам на минуточку. Вот наша горница.

Воздух в «горнице» был сперт и едок. Жестяная печка в углу чадила. Глухое оконце с пепельного цвета стеклом было заставлено котелками и закопченными консервными баночками разных калибров. Как-то рикошетом вползал в него неширокий солнечный лучик и растекался по бревенчатым стенам над кроватью. Пригретые им, шевелились в проконопаченных пазах и по щелям рыжие усики и словно полированные спинки. Усики эти и спинки почему-то сразу бросились Милице в глаза, и ей стало не по себе: боялась тараканов.

— Садитесь вот сюда, Милица Аркадьевна. Вот к моему письменному бюро! — Плинк показал на низкий подстроенный к оконцу столик с разложенными в виде огородных грядок бумагами. — Вот и Сверчков. Послушайте, Милица Аркадьевна не верит, что в таком лагере могло поместиться две тысячи человек.

— Три! — поправил Сверчков и сел на кровать. Были у него свежие молодые глаза и лицо, по-крестьянски заросшее пепельно-русый волосом. — Три тысячи. Две — это на зимовку оставалось. Из них полтысячи выжило, прочих закопали. У нас ведь ни немцы лагерем не интересовались, ни русских таких не было, чтобы о пленных думали. Весь лагерь Горяче-

му, как на откуп, отдан был; он, что хотел, то и выворачивал.

— Горячему?

— Это прежний русский комендант лагеря, — пояснил Плинк. — Уникум среди негодяев...

— А церковь здешнюю немцы разбомбили? — спросила Милица.

— Нет, какое там... Своими силами разбирать начали, до войны еще. На строительный материал. Как у нас в Москве говорилось: «добыча кирпича по системе Ильича». Теперь я уже сам продолжаю... что ж! печей ложить не из чего, без них пропадем...

Как бы в подтверждение жестяная печка в углу фыркнула несколько раз кряду едким чадком.

Милица сощурилась от дыму, отвернулась к стене, и снова попали в глаза поблескивающие спинки и шевелящиеся усики. Она поднялась.

— Вы — уже? Да, верно, неудобно у нас. Вот он с весны обещает развернуть жилищное строительство...

— Горячий, комендант, — это такой блондин, веснушчатый? Да? — спросила Милица Плинка, когда они вышли на улицу.

— Да, да, пегий, с глазами навывкат. Разве вы это го уголовного субъекта знаете?

«Уголовный субъект» заходил как-то в амбулаторию. Тамары не было. Долговязый санитар читал у окна криминальный роман в отчаянной обложке.

— Сестричке привет! — сказал субъект развязным баритончиком. — Йодку не разживусь у вас? Палец испортил. Боюсь, гноиться станет паскуда! Полечите, сестричка, пострадавшего.

Милица протянула с полки бутылочку с йодом и вату.

Орудую над пальцем, субъект в несколько приемов обшарил — как обыскал — девушку выпуклыми беловатыми глазами: ему не понравилось это самообслуживание.

— Прима! — объявил он, кончая одновременно и процедуру и осмотр. — С кем же вы... дружите здесь, интересно? В этой инвалидной команде?

— Дружу? Тут еще одна сестра живет. В этой комнате.

— Ха-тире, ха-тире, ха-точка! Гомерический хохот, одним словом! В других смыслах спрошено. На чем вы здесь попечении, любопытен знать? Неужто этот медицинский старикан резвится? Сухарь ведь...

Наглость вопроса была так ошеломительна, что Милица и не поняла сразу.

— Вы... Вам еще — что-нибудь нужно здесь? — вспыхнула она и оглянулась на санитаря.

Тот встал, отложил роман на подоконник, шагнул ближе: *Fertig? Dann mach', dass du wegkommst! Los!*

— Ну, ну, не очень-то! — пробормотал субъект, чуть потерявшись, но оправился тотчас и ушел, подмигнув Милице с порога.

«Так это и был Горячий. И такой вот командовал над пленными!»...

— Он приходил однажды ко мне за йодом, — ответила она Плинку.

3.

Когда наступал вечер, в амбулаторной избушке нестерпимо пахло аптекой. «Или это кажется, что сильнее, чем по утрам, потому что — одна и без дела?» — Милица подошла к полке и крепко, со скрипом прикрутила притертые пробочки у двух склянок, пахнувших особенно пронзительно. Зашла за перегородку, взяла с подоконника растрепанную книжку с недочитанными немецкими рассказами, не раскрыв, снова бросила ее на прежнее место... «Как же нудно одной!.. Хоть бы какая-нибудь живая душа! Хоть бы Тамара...»

Тамара возвращалась домой только в одиннадцать. Прежде, кончив послеобеденную уборку, она забиралась с ногами на кровать, мурлыча свою цыганщину, раскидывала на себя и Милицу маленькие за-

мусоленные карты. Последнее время карты перекочевали к Аристову, и сама она ввечеру, сполоснув шею и крупно вымазав губы, исчезала к нему. Когда выселился из избушки сонный санитар, Тамару перевели в его темный, без окна закут. Ужав в ниточку тонкие губы, она перетащила от Милицы свою койку и матрац и с тех пор, кажется, дулась немножко. Все равно, до ее прихода не хотелось ложиться спать.

«Господи, отпустили бы скорее отсюда!..»

Оберштабартц говорил с полковником Брауном об освобождении. Тот поручил дело Вансовичу. Вансович же уехал на целый месяц в какую-то командировку. Перед отъездом зашел проститься, как всегда — розовый, с большим голубым платком и одышкой.

— Вам придется подождать, м-ль Паншина. Вернусь во второй половине мая, и тогда сразу же все сделаем. В мае, говорят, переводится в Старгород Corrück — это тыловое наше начальство, связь будет постоянная. Комендант не хочет вас так просто с рук сбить. Приказал устроить на работу, на квартиру. У вас там дом был, неправда ли? Сгорел? Вот я все разузнаю, и тогда распростимся с вами. Тоскливо ждать, это я понимаю. Но, что поделаешь? — война!

«Война... война... война...» — повторила про себя Милица и, повыбрав из волос шпильки, скинула косы на спину: от противного запаха принималась болеть голова.

Ржавый оконный шпингалет долго не хотел кверху. Больно прищемив палец, Милица все-таки выдернула из лунки стерженек, посмотрела, не сломался ли ноготь, и сильно, обеими руками, толкнула створки рамы. Приятно пахнуло в лицо остреньким вечерним морозцем с оттепелью...

Она постояла несколько минут у окна, дыша стремительно, всей грудью. Улица была темна и беззвучна: ни огонька, ни петуха, ни прохожего... Потом откуда-то слева донеслись гулковатые по мерзлой дороге шаги. Еще немного спустя обозначилась фигу-

ра в шинели, со знакомой неловкостью, подскальзывая, направлявшаяся к лагерю.

«Плинк!.. Наверно — от священника. Зайдет или мимо?»

Милица радовалась, когда приходил Плинк, хотя и была в том, как он говорил и держался, какая-то стесняющая, как корсет, натянутость. Если в хозяйстве оказывались «жиры», как называл Плинк всё, на чем можно было готовить, она жарила ему картофель — сковородку верхом. После трапезы лицо и рассказы Плинка оживлялись. Рассказывал он всегда о себе. Чаще всего — об ухабах и терниях трудной своей жизни в ее метаморфозах от белого офицера до советского активиста-поневоле. Слушая его, Милица начинала понимать, откуда у Плинка его «пришибленность», как называла она это про себя. «Он много перестрадал, бедный», — решала она, и ей становилось жалко-жалко рассказчика. Был он к тому же похож на ее дядю, тоже когда-то врангелевского прапорщика, погибшего в ссылке. Еще нравилось ей, что Плинк так охотно и с увлечением говорил о церкви: бывшая комсомолка, Милица, была религиозна.

— Вы еще ни разу не заглядывали на здешнее богослужение? — спросил Плинк, поровнявшись с окошком, и помолчал, ожидая не то ответа, не то — приглашения зайти.

Милица покачала головой отрицательно...

— Теперь идет страстная, служат ежедневно. Завтра даже я выступаю с речью к прихожанам.

— Вы? С какой же речью?

— Так, батюшка просил. Вроде проповеди. О таинстве причастия. Вот, если хотите... Это в девять утра приблизительно.

— В девять у меня перевязки...

— Ну, тогда на заутреню пойдем. В субботу. Если немцы разрешат службу.

Слушать проповедь Плинка побежала наутро Тамара.

— Ну, уж и церкви! — говорила она за обедом, презрительно выпятив нижнюю с остатками несъеден-

ной краски губку. — Окон нет, пол выломан, только в середине досочек набросали, а вбок двинься, так и в подвал скатишься. Над головой летучие мыши лѣтают.

— Что ты, летучие мыши? Они же только по ночам... Это — ласточки, верно.

— Все равно, жуть! А уж поп... Тоже мне, слушитель Божий!

— А что?

— А как из «Синей блузы». Я там задержалась чуток, иконы рассматривала. А он как раз домой собрался. Разглядел меня, — представился.

— Да?

— А прощались — ручку поцеловал.

— Неправда!

— А не верь, если не хочешь. И ножкой шаркнул. По мне лучше вовсе без церкви, чем с таким попом.

— Ну, а Плинк хорошо говорил?

— А я поняла? Таинство, таинство... Нудно так. Бабы крестились, а я не слушала. Подконец сказал попонятнее, чтобы не забывать православного обычая, принести батюшке на праздник чем разговеться.

«Зачем это он? — подумала Милица. — Как неловко!»

— А я все-таки пойду к заутрене. Обязательно! — сказала она, встав из-за стола.

— Как знаешь...

**

Весна на Смоленщине в этом году не торопилась, и снег не поспел к Пасхе растаять до конца. Мокрым глянцем, как к празднику вымытые, посвечивали после только что отпустившего утреннего морозца рыжеватые ореховские поля, влажно чернели огороды, но вдоль дальнего леса, в дорожных канавах и кое-где по межам белели еще снежные бахромки, словно их вымести позабыли.

Около восьми утра, как было условлено, Плинк стукнул в окно закута идти в церковь. Немцы не раз-

решили субботней ночной службы, и заутреню назначили на сегодня.

Постучав, Плинк перебрался по глинистой засыпке вдоль стенки на солнечную сторону избы, втянул голову в плечи (ему было холодно), уселся на завалинке ждать.

Солнце выкатилось весеннее, приветное, но не успело еще разогреться как следует, путалось то и дело в тонких, как марля, слоистых облаках. От синей грядки леса резвясь налетал студеный пахнувший прелью ветерок, словно утреннюю зарядку делал, окоченев за лесную ночевку.

Зябко вытянув шею из жесткого воротника шинели, Плинк посмотрел в сторону церкви. Улица была пуста, только два каких-то карапуза в отцовских шапках, держась за руки, опасно подходили к невидной отсюда паперти. «Опоздаем!» — вздохнул Плинк, снова втянул шею и ссутулился. Но тут же брякнула в сених щеколда, чмокнула под быстрыми каблучками глина, длинные розовые пальцы перед самым носом Плинка схватились за бревенчатый крестец, и Милица осторожно, чтобы не поскользнуться, вернулась из-за угла к завалинке.

— Здравствуйте! Я уж думала, что не придете. Сегодня настоящая весна. Как хорошо! — Сощурившись, она подставила солнцу свежие щеки, с удовольствием вдохнула колючий лесной ветерок: ясно, как звуки любимой песенки, различались в нем задорные весенние запахи.

— Хорошо! Правда ведь?

— Холодновато! — поежился Плинк и с трудом выпростал из рукавов застывшие кисти.

— Да? Вы замерзли? — Она виновато разглядывала его нахохлившуюся фигуру, синеватые безжизненные щеки. Как всегда, ей вдруг стало жалко его, почти неловко за свою в каждой жилке бурлящую молодость. Ямочки на щеках ее погасли... — Так идемте, идемте же!

В лицо им подул другой, тепло пахнувший дымком и коровниками уличный ветерок. Милица весело

хрустела не растаявшими кое-где по колее льдинками, оставляя для Плинка серединку дороги. Не поспевая за ней, он подхрамывал позади.

Перед папертью, плотно у ступенек и разжижаясь по краям, грудились местные и приехавшие колхозники, десятка два рыжих шинелей военнопленных и несколько грязнозеленых — аристовской полиции. Гражданские стояли чинно в негибкой плотности намотанных платков, ватников и лукового цвета тулупов; шинели же мельтешели тут и там, ввинчивались в толпу, шушукались с платками и овчинами, жестикулировали. Висел шумок, как на собраниях перед выходом оратора. Рядом, у коновязи, качаясь, похрупывали сеном конские головы. Сверху, с голого вяза, подпиравшего щербатую колокольню, сыпалось карканье.

— Мы здесь и постоим, — зашептал Плинок. — Туда все равно не войти. Пол выломан, в приделах ямы. Вы видели?

— Нет.

— Грусть! Все облуплено. Под куполом только недавно гнусный лозунг замарали. Престол, аналой — из фанеры, охрой крашены. Иконки жалкие, по домам собирали. Трогательно было бы, если бы драться не хотелось.

— Драться?

— Именно. С разрушителями. Ведь это не церковь только уничтожили. Жизнь человеческую ограбили! Впрочем, что это я вам говорю. Вы ведь и сами церкви не знаете...

Милица хотела было сказать, что последнюю в их городке церковь закрыли, когда она была еще девчонкой, но раздумала. Ее разочаровала обстановка у церкви. Солнце спряталось. Полуразваленная колокольня, голые, с вороньем сучья, гудевшая, как на митинге, толпа — всё выглядело серо и неприветливо. Она припомнила рассказы о пасхальной заутрене — настоящей заутрене в весеннюю полночь, с тысячами свечек-огоньков и колокольным захлебывающимся звоном. А здесь, сейчас, все было такое ненастоящее... Ersatz, — как говорят немцы...

— Вот бранят здешнего батюшку, — снова зашептал Плинк. — А ведь энергичный. Певчих организовал. Вот услышите. Нате вам половинку моей свечки (он вытащил из-за пазухи тоненький восковой жгутик и перерезал ножичком), можно уже зажигать. Сейчас запоют, кажется... шапки сняли.

Оглянувшись, Милица увидела, что и у старухи рядом, и у многих других горели такие же маленькие восковые огарки в бережно сложенных корзиночками ладонях. И еще заметила, что гул и сутолока в толпе исчезли. Все вдруг застыли в каком-то напряженном выжидании, глядя на церковную со снятыми с петель расколовшимися створками дверь. Там ничего не было видно, кроме тесно прижатых друг к другу черных и рыжих спин и платков. Но Милица почувствовала, что общее ожидание передалось и ей.

Потом спины и платки дрогнули, из двери высунилось и закачалось над головами тонкое древко с линялым куском бархата, и в церкви запели. Пенье доносилось негромко, проглоченное, должно быть, сыростью, ямами вместо пола и гулявшим по церкви сквозняком, но платки и обнаженные головы словно ветром помело: все закрестились. В дверях обозначилась расселина, расплылась, показался несший бархатную хоругвь мальчик, за ним — священник в серебряной ризе и две женщины с иконами в вышитых полотенцах; потом к ступенькам высыпало еще человек десять женщин и мужчин понаряднее — хор. Наступила вдруг совершенно изумительная, как показалось Милице, тишина. Даже воронье в сучьях вяза примолкло. Снова, выпутавшись из марлевых туч, брызнуло на паперть и колокольню солнце.

«Христос воскрес из мертвых!

Смертию смерть поправ!» —

запел хор, на этот раз — так звонко и так восторженно, что Милица даже вздрогнула и румянцем зашласть от непонятого колыхнувшегося в груди отклика.

На лицах кругом лежала теперь взволнованная торжественность: словно замерцал в каждом, пробрез-

живаясь наружу, какой-то огонек. Запавшие губы старушки рядом разжались, нижняя, неожиданно большая, выползла вперед и вздрагивала, в темных морщинках, как по желобкам, бежали частые светлые слезы. Дрожала рука с оплывшим огарком, и на коричневую кожу пальцев падали желтые капли воска.

— Христос воскрес! — сказал священник со ступенек, обращаясь к толпе, и все ответили разом, будто одним дыханием, и снова запел хор.

Милица одна из всех, как ей показалось, не ответила ничего: не сразу вспомнила, что надо было отвечать, — и виновато оглянулась на старушку.

— Воистину воскрес! — повторила старушка, перехватив взгляд, и всхлипнула, с усилием, как дети, смаргивая мешавшие глядеть слезинки. — Вот ведь, барышничка, и лихота, и разговеться нечем, а праздник Господень — всё праздничек. И радостно... — Всклипывая, задула огарок и стала вытирать рукавом дряблые щеки.

«В самом деле — радость!» — думала Милица. «Очень хорошо! Сейчас бы колокола! Громко-громко... И войти бы в церковь, и чтобы обязательно много-много свечек везде. И молиться, молиться...»

Но войти было некуда. Священник, мальчик с хоругвью, женщины с иконами уже подались внутрь. Хор и часть стоящих на паперти двинулись за ними и снова плотно закупили дверь. Колоколов тоже не было — сверху несло карканье и треск сучьев под неуклюжими крыльями. Солнце спряталось. У церкви задвигались и заговорили. Кое-кто уходил.

Милица потушила огарок и тоже заторопилась домой: захотелось скорее рассказать Тамаре, как всё было хорошо и трогательно.

Повернувшись, она дошла уже до угла ближайшей избы, как вдруг кто-то осторожно тронул ее за локоть.

— Наверно не признаете меня, сестричка? — сказал человек в овчинном полушубке и ушанке. — А я вас враз приметил: она самая, думаю.

Милица посмотрела с удивлением на незнакомое в веснушках и пушистой молодой поросли по щекам лицо.

— В дивизии встречались. На дивизионном КП, — объяснил человек и улыбнулся. От улыбки в серых его глазах запрыгали вдруг вокруг зрачков светлые веселые живчики.

«В самом деле, где я видела эти глаза? На фронте?»

— Селезнев. С лейтенантом Заряжским в вестовых ездил. Помните? К реке продирались с машинами... Ночью.

— Ах, Селезнев! Конечно же, помню. Вы тогда были с лошадьми. И еще команду собирали, чтобы через ручей переправиться. А потом раньше нас, кажется, к лесу поехали. А мы у броневика остались. Я и...

— О лейтенанте-то слышать что-нибудь?

— Умер... В Б. С месяц тому назад.

— Эх, скажи! — рубанул Селезнев кулаком воздух. — С голоду? — спросил он, помолчав.

— От тифа.

— Ну, все едино, за проволокой. — Он снова помолчал и, завернув полу полушубка, полез в карман за махоркой.

Солнце окончательно высвободилось из туч и хлынуло по улице, взблестнув на свежеструганных лагерных воротах и тесовой будке Управления.

— Ах, сколько же народу, сколько народу загубили, проклятые! — сказал Селезнев, скручивая «козью ножку». Серые глазки его, пробежав по лагерю, потемнели.

— Как же вы здесь? И в штатском? — спросила Милица.

Селезнев ударил ладонью по колесу зажигалки, — большой, похожей на гирьку от ходиков, закурил и оглянулся по сторонам.

— Тоже к ним попал, сестричка. За рогатки! Удрал из лагеря, еще по осени. Все равно, думаю, пропадать в бараках. Два месяца пробирался к своим.

Да уж больно далеко фронт откатился... Маленько не дошел, здесь вот застрял, в Сасове. Слыхали, может, третья отсюда деревня.

— В Сасове? Это — где партизаны?

— Партизаны? Да, заходят, случается... Я там в кузне работаю. По специальности, — объяснил Селезнев и стал так часто кряду затягиваться, что живо выхлебнул «козью ножку» до перехвата. Милице показалось, что добродушное его лицо вдруг почужело немножко.

— А вы что же сюда — с этой новой командой? — спросил он, заботливо вдавливая обсоуженным валенком окурочек. Тоже и в вопросе различался теперь холодок.

— С ними. Когда Алексей Филатович умер, я не захотела оставаться далеко от дома, одна. А здесь... Я ведь из Старгорода, близко отсюда. Отпустить обещали.

— Вот какое дело! — выпрямился Селезнев и посветлел. — Так вы тутошняя? Что же, родные живут в Старгороде-то?

— Нет, родные эвакуировались, но я все-таки хочу...

— Да ясно-понятно. Своя сторона, всё не с чуяками. Когда же отпустят?

— Не знаю, жду вот. Недели через три, наверно.

— Ну, посылай вам Бог. А мы давайте-ка, сестричка, покуда что знакомство держать. По воскресеньям я, когда народ в церковь, — тоже сюда. Вот вы и заглядывайте. Может, новости какие или что... Эх, вот, кабы лейтенант не помер, да сюда бы его! Мы бы тут сообразили чего-нибудь!

Глаза его, снова брызнув светом по обочинкам зрачков, смотрели на Милицу так сочувственно, что ей совсем радостной начала казаться эта неожиданная встреча.

— Я уже к следующему разу яичек вам расстараюсь.

— Нет, что вы, спасибо. У нас достаточно...

— Ну, яиц, поди, с собаками по дворам не сыщешь. Немцы до них охотники. А к нам немцы — редко, у нас есть. Замётано, значит, насчет воскресенья?

— Я приду.

— Служба когда раньше, когда позже здесь. Так вы так, чтобы к окончанию угодить. Ну, а пока — досвиданьчика, сестричка, всего вам.

Завернув на улицу, Милица оглянулась. Селезнев уходил легким, чуть в развалочку шагом и, словно услышав, — обернулся тоже и помахал рукой в воздухе.

«Он хороший, Селезнев», — подумала она и потянула платок с головы на плечи. Так приятно, будто поглаживая, потекли по щекам теплые солнечные лучи. И вообще всё было очень, очень хорошо. «А Тамара, наверно, спит, глупенькая!»

Теперь по дороге не похрустывало уже, а чмокало. Милица на носках перепрыгивала расплывшиеся кофейные лужицы. Еще не доходя до дому, она вдруг почему-то решила про себя, что о встрече с Селезневым ничего не скажет Тамаре.

4.

Заряжский отложил в сторону программы, посмотрел на часы: сотрудники Управления вот-вот должны были вернуться из столовой. Сам он обедал позже, с Духоборовым — выходило сытнее, и можно было поработать с часок в одиночестве; он всё никак не мог привыкнуть к махорочному туману в комнате и шарканью ног по коридору. Впрочем, работы почти и не было. Готовились открывать к осени учебный год, но школьные здания были разбиты или заняты немцами, учителей нехватало, — особенно, чтобы наладить все на белорусском языке, как хотели местные градоправители.

Заведующий отделом, профессор, один из бывших обитателей «кунсткамеры», поручил составлять

новые программы: «предварительные, знаете ли, наброски; какого типа будет новая школа, куда неясно, установок нет».

«Установок» действительно не было. Зондерфюрер для связи между немецкой комендатурой и Управлением в ответ на все вопросы только рукой махал и все ждал какой-то инструкции от какого-то особого министерства.

Этот зондерфюрер, по фамилии Таль, был из семьи чиновного петербургского немца. Революция застала его в Пажеском корпусе, швырнула в эмиграцию. От «русского» осталась у него немножко беспорядочная доброта и легкий — в манерах и языке — налет «гусарства»; от зарубежной жизни — стилизованные в изгнании представления о советской действительности и какие-то, немного опереточные, как называл про себя Заряжский, планы реконструкции «Святой Руси». Впрочем, он мало говорил о политике, а больше — о женщинах, с которыми познакомился или собирался познакомиться. «Н-да, чорт возьми, у меня такое впечатление, что всех хорошеньких отсюда эвакуировали! одни мовешки остались, честное слово! Как вы думаете?»

На другой же день после встречи с Талем Заряжский попросил его узнать номер полевой почты Вансовича, чтобы отправить Милице известие о себе. Таль по-русски тянул: забывал, извинялся, завязывал на носовом платке узелок и только на-днях принес, наконец, номер, записанный на спичечной коробке.

Письмо пустилось в путь, а напряжение, в котором жил Заряжский, утроилось ожиданием.

Напряжение шло от впечатлений новой, «свободной» жизни, вне проволоки и больничных стен, и реакций на эти впечатления. В лагере реакции глушились самую травмой плена, бытом, наконец, усилиями воли — как ненужные, бесцельные. Теперь же хотелось разобраться во всем; вопросы, большие и маленькие, взметывались, путались, как крючки на лёс-

ке, и, как крючки же в одежду неловкого рыболова, вонзались в сознание, острые и непреодолимые.

Война. События на фронте. В лагерной жизни это ощущалось как стихия, как снаряд, проносющийся над головой: хотелось зажмуриться и не думать, только ждать, куда ударит он, когда разорвется, что сокрушит.

Теперь фронт стоял. Говорили о неизбежном, когда установятся дороги, новом немецком наступлении. На безглазых домах расклеены были плакаты с замаранным крест-накрест портретом Сталина и подписями о том, что «большевистский колосс на глиняных ногах» повержен и уже не оправится. Но ясно было в то же время, что «блицкриг» не удался и драка затягивается.

«Ах, ну что я вам могу ответить? — отмахивался Таль с искренним, или, может быть, деланным равнодушием. — Все говорят, будет удар на Москву... к концу весны, может быть. Что? Планы немцев насчет России вообще? Чорт их знает! Честное слово бывшего пажа Ее Императорского Величества — сам голову ломаю! Мир? Да, вот хотя бы это... С кем заключать мир, если большевики будут прогнаны? Во Франции нашлось с кем, а здесь? Ей Богу, ничего не знаю. Давайте лучше — о чем-нибудь другом...»

В коридоре хлопнули дверьми, зашаркали. Заряжский взял со стола папку и вышел из комнаты: начальство разрешало во вторую половину дня брать работу на дом.

На тротуарах и мостовой, в развалинах и по изуродованным фасадам солнечно плескался апрель, влажный и ветреный. Лязгали над головой свесившиеся на стены лоскутья крыш. Встречных было немного, всё больше немцы, чаще — раненые: в городе размещалось с десятков лазаретов.

На перекрестке перерезала дорогу какая-то часть. Солдаты, видно из свежего пополнения, шли весело, гулко отбивая коваными подошвами шаг.

Заряжский с несколькими другими прохожими остановился у круглой дощатой колонки для афиш.

Во всю верхнюю половину колонки лепился большой в красках портрет Гитлера с тугим начесом на лоб и свастикой на рукаве. Надпись внизу гласила: «Гитлер — освободитель». Быстрый ветерок уже отдул нижний край плаката и, потрепывая, норовил загнуть на сторону. Ветерок этот приволок откуда-то с восточной стороны города не сильный, но внятный тошнотаватый запах. Заряжский потянул носом воздух, поморщился. И вдруг сообразил, что запах летит с лагерного кладбища: как и предсказывал Кожевников, слегка забросанные ледяной землицей трупы всплыли по весне, теперь их чуть не круглые сутки закапывали снова, поглубже, но работа шла медленно, и в городе об этом шептались повсюду.

Заряжский взглянул на соседей в гражданском — чувствуют они запах? Но гражданские — две старушки и паренек в рыжем комбинезоне — смотрели на проходящих немцев. В том, как они смотрели, не было ни любопытства, ни оживления, а неприязненная сдержанность, и Заряжский тотчас же отметил это про себя; выйдя на улицу, где помещалась столовая, стал думать о том «новом» в настроении обывателей, что становилось все ощутительнее. Новое это было — растущая враждебность к немцам, которых так недавно, всего семь-восемь месяцев назад, встречали кое-где с хлебом-солью.

«Кажется, чорт возьми, обе пропаганды сообща постарались, чтобы на нас коситься начали! — говорил зондерфюрер Таль. — И ваше Политбюро, или как это у вас называется, и наш Геббельс... Или вообще так уж сильно забиты у всех головы коммунизмом? А? Как вы думаете?»

В столовой был липкий воздух, пропитанный парами похлебки из капусты и мороженого картофеля и махорочным дымом. За общипанным запотевшим пианино Духоборов играл свободный пересказ моцартовского «Турецкого марша».

Заряжский прошел в конец длинной комнаты, к столу служащих, уселся ждать. Трое за соседним столом — по виду не то старосты, не то работники за-

городных управлений, кончив обедать, рассуждали о чем-то.

— У вас, у обоих, партизаней до чорта! — говорил один, бритый, собеседникам. — И вообще народец г...о! Так в лес и смотрит. Будете слюни распускать, еще и кокнут обоих — дождетесь!

— У тебя их нет, партизан! — усмехнулся другой, сидевший лицом к Заряжскому. Была у него раздвоенная, так называемая «заячья» губа и, когда он усмехнулся, — выпятилась вперед и казалась словно клещами расплющенной.

— У меня, браток, людишки тихие. Работают каждый на себя и — молчок в тряпочку! Чтобы против германского командования или что — ни-ни! Очень довольны...

— Всё это, как сказать, больше от ортцкоменданта зависит, — сказал третий, в бороде венником. — От солдат от ихних. Ведь у нас мужик — как: зарезали у его бабы курей, не скажи уж, корову отобрали, — значит, он против немцев. Не трогают его, дышать дают — за!

— Вот то-то и оно! — подхватила заячья губа. — Меня, вот, вызывает к себе комендант. По субботам. Ну, сигарету, конечно, и все такое... Штимунг, говорит, какой у населения? — Политнастроение, вроде, по-нашему. — Ничего, говорю, штимунг, гут... А какое тут, к матери, гут, если теперь он приказал, к примеру... — Заячья губа осмотрелась, перехватила заинтересованный взгляд Заряжского и, навалившись на стол, продолжала дальнейшее уже шопотом.

Духоборов кончил играть, поднялся, худой и длинный, хлопнул крышкой и подошел к столу.

— Экое подлое занятие! Так бы и подложил торпеду под всю эту харчевню проклятую. Чтобы всё на воздух взлетело!

— Ну, что вы, под кормилицу-то?

— Думаете, удовольствие играть для этих чавкающих унтерменшей? Какой только идиот выдумал! Кормилица! Вот увидите сейчас, какой будет корм.

Разве это щи? Баланда, клеево, ложку не провернешь. Я уж просил, чтобы нам картошки дали побольше, картошки хоть нажрусь...

— Вы, может, подождете меня немного? — спросил он, кончив с едой и брюзжанием по ее поводу. — Я только Зинке помогу кассу подсчитать. Баба хорошая, а всегда просчитывается. С четверть часика всего, а там — пошли бы вместе хоть на разлив. Ведь всё баландой провоняло — и платье и легкие.



Четверть часика растянулись втридолга, и, когда вышли из столовой, перевалило уже за четыре.

По пути к реке Заряжский рассказал Духоборову о разговоре за соседним столом.

— Что ж тут удивительного? Это же морлоки! Для них проблема «немцы или большевики» не решена. И решена никогда не будет. Мы с вами — другое дело, мы пораженцы. Оригинального и тут ничего нет: коммунисты тоже были в свое время за поражение. В японскую войну, в первую мировую. Хотели царя — побоку. А мы хотим — их побоку. И потому — за немцев. Решение простое и неизбежное.

— Гм! — сказал Заряжский, потирая висок: ему это решение вовсе не казалось «простым». Может быть, вследствие своей вынужденности. В самом деле: попав в плен, поработав в лагере «на должности», позволив себе и критику «самую вражескую», податься назад было немыслимо. Духоборовский вывод выходил навязанным раньше, чем продумывался до конца. Объединение с немцами не становилось от этого натуральнее...

Они подошли к высокому, почти отвесно скатывающемуся в реку берегу.

Разлив убегал в бесконечность, ослепительный, как все разливы, с дорогой расплавленного в ряби солнца посредине, притуманенными песчаными отмелями вдалеке и затопленными домишками вблизи, под скатом. На крутизне разбит был сквер, перекопанный теперь какими-то оборонными сооружениями.

Вниз, к набережной, опускалась узкая лестница, перехваченная в нескольких местах площадками со скамеечками.

Заряжский с Духоборовым уселись на первом переходе. У конца лестницы высилась когда-то громадная гипсовая, крашенная под бронзу фигура Сталина. Ей перебили ноги; повалившись, она уткнулась головой в скат. Острые листики молодой только пробивающейся крапивы щекотали гипсовый нос и щеки. Ниже, на цементном фундаменте, торчали огромные с облупленной краской и рваными кромками голенищ сапоги.

— Вот немцы, — кивнул Духоборов, — педанты, а до конца дела не довели: тулово скинули, а сапожищ не убрали; остается эмблема.

— Какая?

— Диктатура сапога. Бездарности.

— Вы серьезно считаете его бездарным?

— А вы — нет? Жаль... Неужто четверть века бесплодных судорог ничего не доказали? Ведь все средства в ход пущены: и грабеж, и обман, и труд рабий — и всё без толку! Да один этот разгром военный чего стоит! В прошлую войну, с «серой-то скотинкой», при «гнилом» режиме мы немцев на свою землю так-таки и не пустили. А теперь? Нет, попросили бы меня подобрать ему прозвище — вот как императорам подбирали, — так бы и сказал: Иосиф Бездарный. Не Кроважадный, не Коварный и не Крепколюбый, а именно — Бездарный. Так-то!

Утверждение снова показалось Заряжскому по-духоборски преувеличенным, но спорить не хотелось, и он опять промолчал.

Пригревшись на солнышке, Духоборов стал задремывать. Заряжский же смотрел и смотрел на разлив. Он любил воду, много воды. Где-то слева, на этом берегу, немцы пристреливали по дальней песчаной косе миномет. Когда мина не долетала, перед косою взметывался ослепительный, в серебряных брызгах фонтанчик, а при попадании — песчаный столбик, рассыпав-

шийся вверху золотом. Было интересно следить и, после минометного выбуха, угадывать место взрыва...

Помолчав с полчаса, Духоборов потянулся и встал. — Пойду уж... Конец месяца, отчет надо составлять.

Когда отскрипели вверху ступеньки, Заряжский улегся на лавочке и стал разглядывать узкую ленту набережной внизу, тоже изорванную окопами и убежищами. Потом в глаза бросился забытый Духоборовым на лавочке напротив роман в лимонного цвета обложке — подарок Таля. Заряжский потянулся, взял роман — сочинение какого-то эмигрантского писателя, из новаторов, — и стал перелистывать. Автор, видимо, больше всего на свете боялся, чтобы у него не получилось «как у всех», и поэтому выворачивал наизнанку общепринятые литературные уклады. Необыкновенны были реакции героя: изображался он в грохоте первых дней Октября, но мыслями всё уносился почему-то к каким-то не то индийским, не то египетским гробницам с названиями, известными только составителям крестословиц. Под пулеметную трескотню петроградских улиц поражал его вдруг какой-то необыкновенный запах: лотоса, мумий и еще чего-то, столь же невообразимого...

Необыкновенен был и язык повествования: с латинской расстановкой слов и каким-то особым ритмическим скоком, вызывающим мигрень.

Заряжский перестал читать, положил роман и руки под голову. Он не думал спать, а так только, понежиться немного в ласковом этом апрельском пригреве. Но заснул тотчас же и проснулся оттого, что тепло исчезло и тело схватывал колкий, вызывающий дрожь, холодок.

Солнце зашло и потушило блеск и золото на воде. Она стала светлосерой, атласной, и только вдалеке, за посиневшими отмелями, отблескивались в ней фиолетовые облака. Закат был тихий, как на гитаре сыгранный.

Заряжский скрутил папиросу, а когда закурил — с реки принеслась песня. Он прислушался.

Пели на той самой песчаной косе, по которой давеча пристреливали немцы миномет. Теперь она едва серела под грядкой тумана. В середине пробивал грядку курчавый дымок, а ниже, у самой воды, оранжево вымигивал рыбачий костер. У костра и пели.

Шумел камыш,
Деревья гнулись,
А ночка темн-а-я-а была-а...

— угадывались неслышные слова. Он любил эту песню. Ему вспомнилось вдруг, как давно уже, лет десять, а то и больше назад, он так же вот сидел над рекой, далеко отсюда. И так же вот, скользя по-над водой, налетала песня и ту же непонятную, что и сейчас, проливала в сумерки грусть.

«Удивительно одинаково звучат наши песни, где бы их ни пели. Точнее: одинаковое вызывают ощущение. «От ямщика до первого поэта мы все поем уныло». Да нет, дело не в унылости, песня может и веселой быть, и буйной, но всегда в ней — неудовлетворенность какая-то, порыв в простор безудержный, и кажется, слушая, что она и тебя в этот простор уносит, и становится беспокойно и потерянно. Да, вот о потерянности... Неужели Духоборову в самом деле так уж всё ясно в его отношении к теперешним событиям? Тоска, мозговая и душевная, не режет его надвое?»

Заряжский потушил окурок и поднялся: с темной по городу нельзя было ходить без пропуска.

На улице, смежной с лагерем военнопленных, опять дохнуло трупным запахом, и снова пришли мысли о зловещем облике этой необыкновенной войны. «Дулаг ...надцатый» называет лагерь Духоборов. Сколько их, таких «...надцатых»! И сколько, значит, бессмысленных, ничем не оправдываемых жертв! Заряжский вспомнил, что уже с неделю не справлялся о Кожевникове, который был совсем плох.

Так, по крайней мере, сказали санитары, приняв в проходной будке бутылку молока.

Молоко доставала Валя, хозяйкина племянница, и обещала достать еще бутылку и печенья: работала в немецком Soldatenheim.

Валя была добренькая, услужливая, но Заряжский, не разделяя духоборовского восхищения, избегал ее: неприятны были ее чересчур громкий, не совсем естественный смех, подстриженная чёлочка над красноватой припухлостью выбритых надбровий, привычка при разговоре близко, чуть не вплотную придвигаться, толкая грудью или плечом.

«Кажется, она сегодня вечером свободна. Хорошо бы — не встретить!»

**
*

Но дверь ему открыла именно Валя и, не дав еще войти, посыпала частыми, как горошек по полу, словами в жестах и ужимочках.

— Вот, наконец. Чего это вы так поздно? Я ждала все время. Да, да! вас, конечно... Ха! Зачем? Он спрашивает! Ну, что это вы морщитесь? Шучу. Я сегодня именинница, и вечер свободный у меня. Шнапсу немножко достала и сладкого кое-чего. Вы ведь сладкое обожаете, я знаю. Угощаю. А потом патефон покрутим. Идет?

Заряжский вовсе не был воодушевлен приглашением. «Это, наверное, к ней в комнату надо. А там немца какого-нибудь принесет...» — Вот придет Духоборов, тогда уж мы вместе к вам, — сказал он нерешительно.

— У меня никого не будет. Вы — один гость. Если желаете, я все к вам и подам в комнату, у вас танцевать просторнее, — словно угадав, о чем он думал, заявила Валя. — Никак замерзли? Идите тогда скорее, сейчас согреемся. А Духоборов после подойдет.

Заряжский едва успел вымыть в маленьком тазике с облупленной эмалью руки, как Валя уже явилась с бутылкой, рюмками, тарелочками и пакетиками,

удивительно ловко размещенными в пальцах, подмышкой и на сгибах локтей.

— Вот какой шнапс... видите? «Рум» написано. Хороший это?

— Ром. Его лучше с чаем. Пробовали грог когда-нибудь? Только сахару надо.

— Чай у меня как раз горячий. И сахар есть. Сейчас притащу, момент! — Она выгрузила всё с рук на маленький столик у кушетки и побежала к себе.

Несмотря на именины, был на ней тот самый «размахайчик» без застежек, которым так восхищался Духоборов.

— Вот чайник, стаканы, сахар... даже скатерть прихватила, — затараторила Валя в дверях, и Заряжский заметил, что в молниеносную эту отлучку из комнаты она успела и губы «освежить», и чёлочку взбила пооживленнее. Она впрочем всё делала необыкновенно проворно: живо расстелила скатерть, выложила из пакетиков на тарелки печенье и что-то вроде торта, налила в стаканы чай...

— Я побегу ставни прикрою, а вы огонь засветите, — распорядилась она и вернулась со двора опять-таки, словно на крыльях слетала, раньше, чем успела разгореться керосиновая лампочка.

— Ну, а теперь действуйте сами. Сколько рому, сколько сахару, сколько чего... Я — вот сюда, а вы, битте, рядышком с именинницей.

Заряжский подлил рому, размешал сахар. Они чокнулись.

— Теперь я припоминаю: немцы у нас тоже этак пьют, — сказала Валя, вытянув частыми глоточками свой стакан. — Вкусно! А вообще-то они ничего во вкусоностях не понимают. Первым делом у них — картофель-салат. Знаете?.. — Она поставила на блюдце пустой стакан и передохнула, готовясь рассказывать...

Заряжский слушал молча и молча же размешал вторую и третью порции грога. Ром был крепкий и, должно быть, от слабости или отвычки от спиртного, он быстро почувствовал опьянение. Темные глаза

Вали в редких, наспех вымазанных ресницах тоже словно маслицем подернулись и поблескивали.

— Да вы что же сладкого не берете? Вот вам торт с мармеладом — с повидлом, — по-нашему. Какой вы! Самой надо его кормить!

Нагнувшись, она потянулась к тарелке, и от этого размахайчик разлетелся широко к плечам. Круто выголились, полыхнув теплом, большие, разделенные сочной светотенью груди. Почти целиком выпрыгнули, и Заряжский быстро взял в рот кусок торта и зажевал, пристроившись смотреть на узорчатую бахрому скатерти.

— Вот так-то лучше! — хмыкнула Валя. — А то угощать его, подумаешь! — Она забросила ногу на ногу и откинулась к валику, потягивая из стакана. От этого размахайчик стал расползаться вниз, открыв налитую, совсем недурной формы икру, круглое колено и мягко растекающуюся вширь сливочного цвета ляжку — предмет особого духоборовского восторга.

Заряжский подлил еще рому в свой стакан.

— Ага! — Покрепче захотелось! — снова довольна засмеялась Валя. — Давайте тогда чокнемся. За здоровье того, кто любит кого! Идет?

Чокаясь, она надвинулась вплотную. Со вплющившейся в плечо горячей груди будто искры посыпались.

Взяв Валу за талию, Заряжский осторожно прислонил ее к спинке кушетки. «Сидите-ка смирненько!» — хотел он сказать, но ничего не выговорилось... Под тонкой тканью размахайчика похотливо дрогнуло тело, и пальцы, почужев, не захотели оторваться и словно приказали молчать. «Неужто на ней больше ничего и не надето?» — подумали пальцы, подрагивая. Чуть передохнув, он вдруг крепко вдавил ладони в теплую, плывущую к бедрам талию... Размахайчик хрупнул — должно быть, последняя подалась застежка, — и Валя, приспустив веки и повывернувшись в руках (да, кроме размахайчика, других одежд на

ней не было!), вскинула на кушетку упругую одну ногу, чтобы лечь. Но тут же защелкали за ставнями доски тротуара, хлопнула калитка и по двору застучали шаги.

«Духоборов!» — догадался Заряжский, выпустил талию и вытер вспотевший лоб.

На стук в дверь Валя поднялась с такой разочарованной миной, что ему, несмотря на неловкость, даже жалко ее сделалось.

— Вот как! Вы тут пиршествуете, оказывается? — загудел Духоборов, зорким глазом скользнув по столу, по Заряжскому и, видно, тотчас же уяснив себе ситуацию. — Могу присоединиться, или — как?

— Ясное дело, садитесь, — кивнула Валя, все еще прихмуриваясь. — Сейчас третий стакан принесу.

— Замерз! — поежился Духоборов, потирая ладонь руки. — Нет, уж я лучше чистенького! Я всех этих выдумок, «мишунгов» разных, не терплю.

Как всегда, выпив, он оживился мгновенно, принялся болтать. Сперва — о пустяках в своей столовой, потом повернул на анекдоты. Потерявшие строгость глаза его так и цеплялись за разлетающиеся полы размахайчика, будто перед ним карамельку какую-то диковинную из бумажки вывертывали.

Смеяться Валя начала после первого же анекдота, недавнее ее неудовольствие исчезло бесследно. У Заряжского же нудно, как после контузии, заняла голова.

— Если я прилягу немного и стану вас обоих с кровати слушать, голова трещит... Вы не рассердитесь, Валя?

— Чего уж там, ложитесь, если ослабли. Без вас бутылку кончим, хоть я уж и так совсем пьяная.

Улегшись, Заряжский быстро задремал под монотонное гудение Духоборова и валины трескучие смешки. Позже, сквозь сон, почувствовал вдруг, что в комнате стало тихо. Проснулся же, когда скрипнула дверь, и Духоборов на цыпочках прошагал к столу и, тренькнув пружинами, уселся на кушетку.

Приоткрыв глаза, Заряжский посмотрел в его сторону: лампочка на столе почти погасла — выгорел, должно быть, весь керосин; Духоборов сидел, широко расставив ноги и упершись ладонями в колени.

«Во ку — во ку-у-знице,
Во ку — во ку-у-знице...»

— гудел он, поклеывая в такт опущенной седоватой головой.

— Вы чего распелись? Поздно, светать, верно, скоро будет.

— Настроение бурное! — объяснил Духоборов, и по тому, как он начал, видно было, что ему хочется поговорить. — Момент наскочил головокружительный. За такой момент в рабство продаться можно. Если бы задержать... Как это у Фауста с Мефистофелем, не помните?

«Вот так скачок от «Во кузнице!..» — усмехнулся про себя Заряжский, но прочитал:

“Werd’ ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! Du bist so schön,
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zu Grunde geh’n...” *)

— Не совсем понимаю, но это самое. Да, очень счастлив. Кажется, никогда в жизни такого состояния не испытывал!

«Немного же нужно для твоего счастья!» — подумал Заряжский. Не ответив, повернулся к стене.

5.

— Не знаете ли, кто мог бы артистическую группу сострять? Чтобы концерты давала или ревю ка-

*) «И если я скажу мгновению:
Прекрасно ты, остановись!
Я предаюсь уничтоженью,
И ты над жертвой веселись.»

Гёте, «Фауст».

кое-нибудь? А? — спросил Заряжского зондерфюрер Таль.

— Артистическую группу? Что за идея?

— Наш генерал выдумал, комендант города. Решил взяться за культурные начинания. Должно быть после праздника, который мы на первое мая устраивали, — все дошли от скуки, вы же видели. Так чтобы хоть зрелища были, если хлеба недостаточно. Поручил мне, а я в панике. С чего начать — не имею ни малейшего представления.

— Давайте я возьмусь, если хотите.

— Вы? — вскинул брови Таль.

— Вот именно. В юности в режиссерах был. Могу подобрать эстрадников, программу соорудить. С охотой даже, вместо этой вот канцелярской пустяковины. Разумеется, при известных условиях...

— Чорт возьми! Вы меня окрыляете! А что за условия?

— Велика ли должна быть группа?

— Честное слово, не знаю. Думаю, что небольшая. Генерал хочет, чтобы разъезжала везде.

— Ну, скажем, человек восемь-десять. Мужчин можно взять из лагеря. Только разрешение добудьте. Ну, затем — помещение, немножко денег на оборудование и, главное, паек.

— Послушайте, вы драгоценный человек! Как выручаете! Сейчас же бегу к генералу блеснуть исполнительностью. Если не застану, тогда — завтра с утра, а в обед — к вам. Идет?..

«Идти-то идет, даже заманчиво, да как тебе верить?» — подумал Заряжский, проводив глазами широкую над перетянутой талией спину Таля. Немецкой деловитостью «паж Ее Императорского Величества» похвастаться не мог, славянской же бесшабашной способности загораться и обещать было у него в избытке. Угрожающе долго не приходил ответ от Вансовича, и, кто знает, не таскает ли Таль и посейчас в кармане письмо к Милице...

Зондерфюрер, однако, явился на другой день к обеденному перерыву сияющий, как рефлектор.

— Все улажено! — уселся он и картинно расщелкнул серебряный с гербами портсигар. — Вот приказ в *Lagerleitung*: можете выбрать четверых. Состав утвержден в восемь человек. С вами включительно. Мало, чорт возьми! Да? Группа получает отдельный домик — уже осматривал, — немецкий паек, кое-что из платья (тоже знаю, где взять) и даже жалованье. Попробуйте отрицать, что я блестящий организатор! Н-да! Отбирайте тщательно. Самых лучших. Главное — актрисы! Чтобы были попикантнее, не мопсы какие-нибудь поющие. Лучше пусть голос поскромнее, да чтобы... В общем, полагаюсь на ваш вкус. *Carte blanche* вам. И действуйте.

Заряжский вынул из конверта бумажку в Лагерное управление. В ней стояло, что он, «русский режиссер Заряжский, имеет выделить четырех военнопленных из бывших *Künstlern*, которых и надлежит тотчас освободить в долгосрочный отпуск из лагеря, если нет сомнений в их *politische Zuverlässigkeit*».

— Так я после перерыва и отправлюсь, — сказал Заряжский, заклеивая конверт.

— Прошу. А потом, со всей компанией, — ко мне на квартиру. Пойдем осматривать дом, размещаться. Там печи выломаны и стекло нехватает, ну, да ведь теперь — к лету. И, кроме того, русские — мастера на все руки. У кого это, не помню, рассказ, как мужик на необитаемом острове двух генералов кормил? И так, жду...

**

Заряжский забежал домой — захватить приготовленную для Кожевникова передачу — и пошел в лагерь.

Пришлось ждать с полчаса у проходных ворот. Затем явился какой-то щуплый молочно-юный немец в пенснэ и в погонах младшего зондерфюрера и объявил, что приставлен сопровождать при выборе людей.

— Я хочу сначала в лазарет, — сказал Заряжский.

Они свернули к кирпичному зданию. Заряжский с любопытством, словно век прошел с тех пор, как он уехал отсюда, смотрел на окна бывшей своей квартиры. Над входом маслилась желто-черная вывеска: "Russischer Lagerkommandant".

«Вот потрафляет!» — подумал Заряжский, глядя на вычесанный метлами двор и по линейке простроченные пестрым щебнем дорожки. Вошли в лазаретный подъезд, пахнувший лизолом, — и стало не по себе: по этой самой лестнице поднимался совсем недавно к Камскому, к Милице... «Как она ощущается, эта разлука, — острее, чем тоска по своим... Может быть потому, что на встречу с ней надеешься все-таки, а с домом — безнадежность полная...»

На площадке второго этажа попался кто-то из лазаретных с крестом на рукаве, по лицу судя — врач. Видимо, узнал Заряжского, поздоровался.

— Вы не к Кожевникову, бывшему коменданту?

— Именно. Как он?

— Умер. Третьего дня вынесли...

Ухватив за веревочку, Заряжский покрутил в руках пакетик с передачей, ставший ненужным.

— Очень мучился перед смертью?

— Порядочно. Морфий доставали ему с грехом пополам. Да ненадолго действовал...

Из-за карантина пленные всё еще не выпускались на работы, сидели почти все в спецбараке — так сильно убавилось население.

Помощник Бойчевского живо привел двух кандидатов, намеченных заранее: свердловского режиссера Майского и пожилого эксцентрика из Одессы — бывших жителей «кунсткамеры». Оба потрясенно обрадовались известию. Высокий, сухой и нервный Майский, услышав слово «эстрада», загорелся, как факел.

— Сколько человек надо? Как, всего четверых? Кроме нас, двоих еще? — носился он по каморке, топясь, как пожар тушить.

— Обязательно — одного баяниста! — перебивал эксцентрик, очень стараясь казаться спокойным. — У нас есть. В Москве играл, для радио. Душа человек...

— Я вам сейчас весь материал соберу. Для выбора, — метнулся Майский и побежал в барак.

Помимо баяниста, Заряжскому из «матерьяла» приглянулся только один — очень юный паренек, с простецким веснушчатым лицом, «артист Московского Художественного театра», как он сам отрекомендовался. Звали его Володей. Выяснилось, что он и в самом деле участвовал статистом в нескольких спектаклях художественников. Говорил Володя театральным натужным басочком, который, когда он забывался, обламывался и пускал петуха. От счастья, что его выбрали, у него даже веснушки по носу и щекам потонули в румянце.

— А можно мне будет переменить фамилию? Теперь же? Вы понимаете, для безопасности и вообще, как принято у артистов... Я хотел бы — Ленский. Как вы думаете? Звучит?

— Отчего же, фамилия классическая, — сказал Заряжский, придерживая улыбку...

— Ну, а как же с женским составом? — кипел Майский, провожая Заряжского до внутренних ворот. — Артисток-то найдем где-нибудь?

— Это уж ваша забота. Вы ведь режиссером будете. Я только в качестве консультанта, ну и по репертуарной части... — сказал Заряжский и пожалел, что сказал: Майский чуть не оторвал ему руку, трясая своими обеими при прощании.



Кое-что положительное было в конце концов и в военных порядках: отсутствие волокиты, например, — слово Befehl открывало все двери...

Через неделю после посещения лагеря Заряжский уже жил в бревенчатом, в глубине двора, домике на

окраине, вместе с «труппой» из семи человек. И название для труппы — «Карусель» — было найдено, и баян куплен, и штатские костюмы добыты, и для трех с великими трудами отобранных актрис строились уже «вечерние» платья.

Володя и Дунин, баянист, как самые молодые, приносили обед и ужин из комендатуры. Ромм, эксцентрик, упражнялся на губной гармошке, сушил на солнце какие-то чурбачки, из которых, как из яиц в инкубаторе, должны были вылупиться тона и образовать что-то в роде ксилофона. Майский с красными пятнами на щеках «шлифовал» в рабочей комнате номера.

В рабочей комнате была русская печь с лежанкой, стояли скамьи и стол на нетвердых ножках. В комнатухе справа помещались актрисы. Налево, в двух разделенных дощечками клетях — Майский с Заряжским. Эксцентрик пожелал — на печку, Володя выбрал лежанку, Дунин стелил свой матрац на полу.

Без сожаления расстался Заряжский со старой квартирой. Без сожаления же простился с ним Духоборов: не умел лукавить и был на седьмом небе оттого, что поле для «самого счастливого в его жизни романа» вдруг расчищалось.

Дощатая клетушка Заряжского пропускала внутрь все шумы, но по первопутку были это всё «новые впечатления». Больше всего их возникло при подборе актрис. Два дня, покуда Заряжский сочинял для программы скетч, остальные четверо, как гончие, носились по городу в поисках «мастериц эстрады». Майский хотел, чтобы состоялся настоящий конкурс, «непременно конкурс, по всем правилам!»

В результате на третий день поисков, к вечеру, во дворе собралось больше дюжины талантов, жаждущих славы и немецкого пайка. Состав был самый разнообразный: от желторотых семиклассниц — судомоек в духоборовской столовой — до жен и дочек нового городского начальства, в повадке которых так

и сквозило что-то от бессмертных гоголевских Анны Андреевны и Марьи Антоновны.

Жюри обнаружило полное единодушие при отборе, должно быть, потому, что отобранные три девушки в самом деле выпархивали из общей массы, как канарейки из стаи воробьев. Только Таль впал было в уклон: предложил принять еще одну — плотную блондинку из городского рабочего бюро, с пышной грудью и удушенной талией, находя ее «чертовски пикантной!» Она пела басом, с надрывом, цыганские романсы, не дотягивая на полтона по верхам. Встретив отпор, он не стал настаивать.

Избранницы выглядели свежо, как апрельский салат, особенно самая юная из них, пятнадцатилетняя Светлана, похожая на пастушку с саксонской фарфоровой пасторали. Две других девушки, постарше, натурностью уступали ей, но Майский на профессиональном своем жаргоне уверял, что при их «телах, свежести лиц и яркости отдельных деталей» — они под самым легким гримом покажутся красавицами.

Нина, белоруска из Борисова, — вся в светлых, солнечных тонах, как подсолнух, до войны училась в музыкальном техникуме.

«Эх, Андрюша, нам ли жить в печали,
Играй, гармонь, звени во все лады!
Заиграй, чтобы горы заплясали...»

— спела она с таким пронзительным, подмывающим задором, что у Майского даже слезы поблескивали.

Вторая, Тася, темноволосая, с вишневыми глазами, была сирота из Чернигова. Родители ее и двое братьев умерли с голоду. Воспитывалась она в детдоме, петь не училась, но низкий голос звучал бархатно, и, что бы она ни пела, заплеталась в него, как ленточка в косу, проникновенная какая-то грусть. Она и выбирала всё больше грустное, была задумчива и неразговорчива.

Скетч Заряжского обе разыгрывали через неделю как старого знакомого, без суфлера.

Работали, впрочем, все самоотверженно. Мужчины — потому, что это была их профессия, мечта их барачного прозябания. Девушки — потому, что пение и танцы, несмотря ни на что, были свойственны их одаренной юности, как щебетание птицам. Еще, пожалуй, и потому, что работа в группе не только обеспечивала, но и защищала: повсеместно уже практиковалась посылка в Германию, сперва на добровольных, а затем и на знакомых началах «добровольной принудительности».

Заряжский после своих программ считал новую работу отдыхом. Была она независимой и приятно «нейтральной», пожалуй, самой нейтральной из всех возможных — в противоречиях этого неладного времени.

Наконец, все вместе видели в своей «Карусели» средство укрыться от каменных мыслей о доме, близких, страшном пережитом, непонятных настоящем и будущем. Так в подлинную, всамделишную вертушку-карусель садятся иногда затосковавшие люди, надеясь в этом захватывающем дух верчении хоть ненадолго развеять одолевающую тоску.

Травма плена постепенно заживала, мысль созерцательная откликалась на окружающее, но для мысли деятельной попрежнему не находилось приложения. Растерянность была повсеместная. Что делать? Чем жить дальше? Победители никаких отдушин не открывали, если не считать, конечно, вербовки в Германию.

Все выжидали дальнейших событий: нашего контрудара, в который верили мало, очередного немецкого наступления, которое обещалось со дня на день.

Но на фронтах было тихо...

**
*

Со сцены щелястого деревянного железнодорожного клуба Заряжский рассматривал зал через дырку в пропыленном кретоновом занавесе.

На выступление «Карусели» собралась вся привилегированная публика города: немцы из комендатуры — в первых рядах, снова немцы — подальше, но уже попеременно с местными своими приятельницами; затем «отцы города» в тщательно отмоченных от пятен костюмах и с женами в шляпках всех эпох и сезонов. Глубже сидели служащие помельче и бывшие пленные, работающие теперь при немецких частях — так называемые «хиви»^{*)}). Наконец, на галерке — рабочие каких-то фабрик, главным образом молодежь.

«Удивительно: и мобилизовали, и эвакуировали — и все-таки сколько еще юнцов!» — думал Заряжский, ища глазами Таля: должен был сказать, когда можно начинать.

У задника, изображавшего морской берег с пальмами, Духоборов, гудя на самых тишайших нотках, успокаивал комплиментами исполнительниц, у которых от волнения даже пудра сгорала на щеках. Заряжский расслышал что-то насчет нининых рук «совершенно классической, как у моны Лизы, формы». На сцене пахло плесенью, было холодно. Вверху, над колосниками, сквозь повыветевшие доски крыши чернело небо.

Таль, наконец, явился за кулисы в сопровождении «комитетчика» — того самого белоруса из Управления, с необыкновенно твердой на глаз черепной коробкой, которого Заряжский знал еще по лагерю.

— Вот этот господин, — сказал Таль, — сделает небольшое вступление. Можно открывать.

Дали занавес. Комитетчик начал с благодарностей от имени горожан в адрес генерала и немцев вообще, как «самой передовой европейской нации». По манере, с которой говорил, и по бесконечным шаблонам, сыпавшимся с его языка, как шелуха от подсолнухов, заметно было, что он не новичок в общественных выступлениях. «Видать, активист, в докладах

^{*)} *Hilfswilliger* — доброволец.

собаку съел и щенком закусил!» шепнул Заряжскому Ромм за кулисами.

«Настоящее культурное начинание оказалось возможным только благодаря инициативе и руководству германского командования», — говорил комитетчик.

Заряжский, привыкший ловить настроение аудитории, видел, что публика не одобряет оратора: с задних рядов, где сидела молодежь, так и тянуло холодком.

«Вот оно, духоборовское упрощенчество: или немцы, или большевики. Патриотизм сбрасываем со счетов, а он — на тебе — самовозрождается...»

Программу принимали радушно. Ромм, подрагивая мягкими, обвалившимися щеками, выколачивал из своих чурбачков марши, выдувал губной гармоникой невозможные какие-то симфонии; гнуткая пила, захлёбываясь, выпевала под его смычком «Лучинушку»...

Танцевала Светлана... «Вундеркинд!» — подумал Заряжский, глядя из-за кулисы на ее импровизацию — тонкого, почти певучего рисунка движения, какие, казалось бы, надо годами выучивать и вышлифовывать на станках. «Вот дается же этакое «Божьей милостью» и цветет, несмотря ни на что!..» За плечами этой девочки стояло нелегкое детство. На другой день после конкурса приходила светланина мать, местная учительница. Мужа ее года два как выслали неизвестно куда. Чтобы не потерять места, пришлось официально отречься от него и оформить развод. «Заставили, понимаете? Так всем и объясняла: не муж, мол, он нам и не отец, ничего общего с врагом народа иметь не желаем. А потом, бывало, запремся в своей комнате со Светланочкой и плачем всю ночь в подушки... Что сделаешь! Всё — для нее. Иначе бы житья не дали... А теперь услышала вот, что она в труппу какую-то вступает, и пришла познакомиться...»

«Андрюшу» и другие советские песни встречали особенно бурно. Тасе долго не давали уходить. Кончив с подготовленным, она вдруг спела на «бис» совсем незнакомое, от себя:

«И мячик спит,
И зайчик спит,
Усни и ты, родной,
Уж год прошел, —
Другой летит,
А где же папа твой?»

Слова и мотив песенки были незатейливые, детские, но спела ее Тася так, что в зале начали всхлипывать, словно там, в глубине, озеро стояло и кто-то бросал в воду камешки.

«Должно быть, вспомнили одни — отцов, другие — мальчиков с мячиком» — подумал Заряжский и сам вспомнил — Алешу, каким видел в последний раз: разгоряченного, с лаптой в руке...

— Генерал очень, очень доволен. Просил передать благодарность! — сообщил Таль, сияя именинником, когда все кончилось. — Он желает, чтобы вы повторили концерт еще раз, для немецких солдат. А затем поехали бы по району.

Заряжский помрачнел: не хотелось уезжать раньше, чем получится ответ от Вансовича. Все росла и росла в нем тревога, что так и не разыщет Милицы. Разговаривая с карусельными девушками, вдруг ловил себя на том, что сравнивает черты и жесты их — с милицыными, и делалось не по себе...

Прошла еще неделя. Концерт повторили. Письма не было. Как-то вечером, в начале июня, прибежал Таль с перечнем местечек, в которых предлагалось выступить, и «маршбефелем» на всех.

— Я буду, в общем, знать, где вы находитесь, — сказал он. — Если придет для вас почта, постараюсь переслать. Честное слово!

На другой день Заряжский с карусельцами выехали в «турнэ».

6.

— Ты придешь к нам вечером? — спросила Тамара, вывернувшись на песке, задрав кверху остренький под выкрашенной губкой подбородок.

— Не знаю... — Милица высвободила из объёма порозовевшие коленки, вытянула длинные свои ножки, прочертив пятками две горячих песчаных борозды, и тоже легла рядом.

— Если голова не будет болеть, — добавила она вздохнув: так не хотелось разговаривать и даже думать об этом неприятном, уже давно угрожавшем приглашении Аристову. Вокруг было так чудесно! Ласковое, чистое небо. На нем вон два облачка бегут, торопятся, как первоклассник по школьному двору, опоздав ко звонку. Под коряжистым берегом чмокает струя. Да если бы и не чмокала, все равно знаешь, что река за тобой, рядом: потягивает прохладой и чуть рыбой, и глиной мокрой, и чем еще? — Стрекоза, дрожа стеклянно, повисла прямо над головой. Села на бузину, качается... А крылышки теперь уже не прозрачные, а — как чай с молоком... У Аристову наверное будет водка и оберлейтенант Фрик. Нет, не думать, не думать об этом! Ах, если бы Вансович скорее вернулся!

Зондерфюрера Вансовича ждали в лагере со дня на день. Он так и не приехал в мае, задержавшись в командировке. Нужен был — для опроса пленных. Их приводили поодиночке и группками ежедневно. Были это партизаны из частей советского генерала Боброва. Говорили, что Бобров перевел через фронт в тыл немцам целую армию, и теперь был полным хозяином в лесах, в каких-нибудь двадцати километрах от Орехова. Против него посылались летучие отряды, но партизаны ловко использовали местные условия и, кроме горстки пленных, успехов у немцев не было.

Новички-пленные — двух из них перевязывала Милица — рассказывали новости: об отмене комиссаров и политруков, о введении старых, как до рево-

люции, названий: офицер, солдат, гвардия, об американских машинах, танках, консервах...

Плинка заводил по этому поводу длинно о политике. Милица слушала безучастно. Тосковала. Вот уже больше месяца, как обещали отпустить и — всё ждуть. Плинка — тот жил лагерем. Хлопотами о пленных. Избежавшие братских ям люди теперь попригрелись на солнышке, отошли. В бараках навели чистоту. О воздвигнутой с великими трудами вошебойке мог рассказывать Плинка часами. («Представьте, ни одной гниды не оставляет!»), чуть не силой потащил Милицу смотреть на сооруженный у бани транспарант с громадными вшами из фанеры и надписью: “*Tod den Läusen!*”.

Пленные щепили дранку, перекрывали крыши, что-то строили. Скверный ручьишко, протекавший через деревню, выравнивали и одевали в дерновые бережки, перед домами немцев разбивали газоны. Плинка объявлял то один, то другой участок работы «ударным», и хлебный паек удваивали. Плинка был теперь и за строителя, потому что «архитектор» Сверчков с пепельной бородой уехал на какое-то озеро, километров за десять, строить новый лагерь «для будущего».

— Представьте себе, Милица Аркадьевна, новый лагерь рассчитывают на 50 тысяч человек. Целый город! Проволоки гору навезли. И заметьте: это ведь прямо направление на Москву! Посмотрите (Плинка тыкал карандашом в карту): тут, значит, и сосредоточат удар. Сумеют наши на этот раз отогнать или нет? Теперь ведь морозы не помогут. В лагере все об этом говорят. Кто — за, кто — против. Да, да. Спячка с людей соскакивает. Вывешиваю сводку — так всегда толпа. Безразличных, конечно, попрежнему большинство, но есть и пораженцы и оборонцы. Даже просоветские есть настроения. Оно понятно: партизаны под боком. Снабжают их с воздуха, связь непрерывная. Говорят, им всё сбрасывают десанты, и Бобров, когда накопит сил, ударит на немцев с тылу.

О десантах говорили повсюду: очень уж внятно сквозь драночные крыши протекал по ночам недобрый стрекот пропеллеров; о связи с центром только сегодня намекал Селезнев. Перебирая все эти разговоры, Милица еще вспомнила одного перебежчика: переобуваясь, размотал он с ноги длинный кусок шелкового полотна, нарезанного на портянки из валявшихся по лесам парашютов.

«В самом деле, должно быть, десанты. Вот и Селезнев говорил. Ах, ну и пускай их... Только бы Вансович скорее возвращался!»

— Чик-чук, чик-чук, чи-чи-чи... — запилил в траве, где-то совсем близко у волос, кузнечик.

Она потянула пятки на себя, согнула ноги в коленках. Сейчас же еще горячей брызнуло на них солнце, а животу стало прохладно. «Как хорошо! А стрекота всё сидит? Нет — улетела... Ах, как хорошо!»

— Чик-чук, чи-чи-чи...

— Если ты не придешь, мой опять взбесится! — сказала Тамара, послунив отлепившийся было с носа листочек, и неодобрительно посмотрела на трусики и лифчик Милицы, — сама лежала голенькая и выгибалась в песке, как кошка, чтобы ни единой складочки не ушло от солнечной щекотки. — Он у меня совсем психический стал.

— Ты же знаешь: всегда мигрень ужасная к вечеру. И потом... — Что «потом», Милица не договорила, а только додумала про себя: «Аристов и Фрик такие неприятные. И еще надо писать письмо. Для Селезнева. Значит, если и не будет мигрени, притворюсь, что есть»...

С Селезневым Милица встречалась каждое воскресенье. Как уговаривались, выходила к церкви, к концу службы. Беседовали не подолгу: он всегда поторапливался смешаться с расходившимися и не любил оставаться на виду. Милица была уверена, что бывший вестовой Заряжского вовсе не так уж в стороне от сасовских партизан, как хочет представить.

Сегодня эта уверенность неожиданно подтвердилась.

Милица вышла к церкви позже обычного, чуть не проворонила Селезнева, и между ними произошел следующий — совсем на ходу — разговор:

— Ну, как, сестричка, всё — здесь? А я думал уже к себе, в Старгород, махнули.

— Какое там! зондерфюрера жду, без него никак не получается.

— И от родных тоже ничего, никакой весточки?

— Так ведь они эвакуировались, в Москве сейчас. Как же тут...

— А можно бы связаться, — вдруг сказал Селезнев. Глаза его смеялись и будто подмигивали.

— Как же?

— А напишите письмишко. Ежели адрес знаете. Отправим. Обрато — это не знаю, это тяжелше. А туда — в два счета дойдет.

— Да что вы? — даже остановилась Милица от неожиданности. (Разговаривая, оба завернули уже за угол, на улицу). — Так я сегодня же... А как мне его — вам?

— В следующее воскресенье и отдадите. Ай дожидаться долго? — Ну, завтра к вечеру, приносите в Крюково. Последний дом налево. Марфой хозяйку звать. Я туда забегу. — Он беспокойно огляделся и заторопился уходить. — Смотрите только, сестричка, чтобы, спаси Бог, не углядел кто. А то засыпемся обои. Значит, завтра, в восемнадцать ноль-ноль. Пока!

— Чик-чук, чик-чук, чи-чи-чи...

«Восемнадцать ноль-ноль, — это шесть часов вечера», — соображала Милица и искала глазами в траве кузнечика. — «Не видно, а совсем рядом где-то... Конверт для письма придется самой клеить. Спросить нельзя...»

— Ну, полезем, окунемся, что ли!

Тамара уперлась сзади руками в песок; закинув голову, подобрала частыми шажочками ноги к затыл-

ку, выгнулась мостиком, поблескивая бронзовыми волосиками на почти шоколадном теле. Потом, качнувшись, подкинулась рывком и выпрямилась спиной к солнцу.

«Какая она... как пружинка!» — подумала Милица.

— Спинку еще пожарить. Знаешь, сейчас лучи сбоку, сикось-накось, когда стоишь — лучше накаляется.

Солнце, действительно, уже скатывалось, и из-под тамариных ног по песку вылегла тонкая тень.

Милица поднялась тоже, стряхнула с плеч налипшие песчинки, стала рядом с Тамарой. И перед нею, много дальше тамариной, выбежала тень, — большеголовая от накрученных кос, с крутой выпуклостью бедер и длинными мягко выписанными линиями ног.

«Длинноногая!» — завистливо сравнила тени Тамара. «А загар мой лучше, чем у нее». — Ты почти совсем белая. Как молоко, фи! Погляди-ка... — она приставила к локтю Милицы свой, цвета крашеного луком пасхального яичка. — Видишь, какая разница!

— Ко мне загар не пристаёт почему-то, — сказала Милица рассеянно, глядя вдаль, за зеленую дугу кустов, которую вычерчивала по лугу речка. Там, на высоком пологом берегу, облитом солнцем, кончалась их деревня. Одиноко, отбежав от околицы, стояла на бугре изба с палисадником и скворешней на шесте. За бугор переваливала дорога на Крюково, куда надо было завтра идти с письмом. «Сколько может быть сейчас времени? Когда бывает проверка, в эти окна на бугре всегда бьет солнце, и получается, как пожар... Это — в шесть, а сейчас, значит, меньше...» Прищурясь, она снова посмотрела на чуть видные отсюда окошки. Вдруг в одном из них вспыхнули два ярких зеркальных зайчика. Мелькнули, потухли, опять загорелись, сочась лучиками...

«Бинокль!» — догадалась Милица, перебежала горячую песчаную полосу и села в траву у берега, спустив к воде ноги.

— Ты что, уже? Погоди, вместе полезем.

— Смотрит кто-то в бинокль. Хам какой-то... — сказала Милица с досадой, чувствуя, что краска с лица проползла даже за вырез лифчика. Потом вспомнила, как однажды растолковывал ей это слово — хам — Заряжский, вздохнула, вытянув ногу, поболтала пальцами в воде. Красная железистая вода была, как ключевая.

— Верно, в бинокль! — подтвердила Тамара, разглядывая из-под ладошки домик на бугре. — Это Фрик, чорт лысый, он там живет!

Оттолкнувшись, Милица соскользнула с берега. Всплеснув, щипнула вода раскаленную кожу, притворяясь ледяной. Потом, через минуточку, стала мягкой и ласковой, как в ванне. Только по плечам, за скатывающимися капельками, бежал холодок: на плечи глубины нехватило.

— Да иди же скорей, Тамара, смотрит ведь, как не стыдно!

— А фиг с ним! — вскинула Тамара подбородок, отчего зеленый листик окончательно отклеился с носа и упал, а острые маленькие груди задорно подпрыгнули. — Пусть смотрит! Жалко, что ли, шляпа, что ли, мнется, что ли! — Она показала двум блестящим точкам язык и пошла к берегу.

**
*

Оберлейтенант Фрик поморщился: в дверь постучали, — сполз со стола и положил на подоконник бинокль. Чуть подумал и прикрыл его газетой “Das Reich”.

Вошел Аристов и молодецкато щелкнул у порога каблуками.

— Виноват, помешал! — сказал он (совсем бойко справлялся теперь с немецким), и его зоркие чуть раскосые глазки мгновенно ухватили обстановку: небрежно отодвинутый к середине комнаты стол, закрывающую что-то на подоконнике газету, в окне — далекую под сползающим солнцем желтую полосу берега, и какую-то связанность со всем этим неловкой

позы Фрика и недовольного его взгляда. — Я только хотел спросить: можно ли надеяться, что заглянете к нам сегодня?

— Что ж, хорошо. Если скат не состоится. А кто будет у вас?

— Кроме меня и Тамары, — только Паншина, больше никого.

— А фрейлейн Паншина, наверное?

— Хотела прийти... — ответил Аристов не очень убежденно.

— Да? Ну, так вы мне еще раз напомните вечером. Пришлите кого-нибудь с вахи, если соберетесь все. А нет — тогда как-нибудь в другой раз.

— Яволь!

«Бабник чортов!» — ругнулся Аристов, выходя в сени. — «Значит, если Паншина не явится, то его чтоб и не тревожили. Бьюсь об заклад, что под газетой у него бинокль. Девчат голых рассматривал».

Аристову очень хотелось стать на более короткую ногу с Фриком, фактическим хозяином лагеря (старый оберст занимался теперь рассадой), и он вот уже второй раз пытался залучить его в гости. Милица выходила приманкой («пялится на нее, неравнодушит!»). Кроме того, он надеялся таким способом «приручить ее маленько». Изменил тактику. Встречаясь, воздерживался от «словечек». Даже с Тамарой стал ласковее, хоть и «надоела до чортиков»: без нее тут никак нельзя было обойтись...

От Фрика Аристов направился было к себе (он жил у мостика через одетый в дерновую набережную ручей), но у спуска его окликнули из окошка маленькой осевшей от дряхлости избышки:

— Господин вахмистр! К нам на минуточку!

В избе, кроме хозяина, лагерного хирурга Вачнадзе, сидели еще Попко, аристовский помощник, и два унтер-офицера из украинской вахи. Как и Аристов, были они в немецкой форме, только с красными, вместо серебряных, петлицами на воротниках. Иг-рали в очко. Вачнадзе банковал. На столе топорщи-

лась грудка немецких фронтовых денег и советских бумажек (десять рублей за марку).

— Развлекитесь-ка с нами. Двести в банке. Последний раз даю. Может, рванете? — Вачнадзе сдал троим по карте и протянул четвертую Аристову. Кисти его рук были по самые запястья вымазаны иодом.

— Рванешь у вас, как бы не так. Скорее вы без штанов пустите, — усмехнулся Аристов, однако карту взял и присел у стола. — Что это у вас с руками? Аборт делали?

— Летчика зашивал. Знаете: этого, из бобровцев, которого вчера привезли. Перчаток нет, вот и уродуешь себя. Ну, начнем. Сколько? — повернулся он к партнеру слева.

— Полсотни.

— Мажу еще на шестьдесят, — сказал Попко, — и даешь сюда! — он прикрыл свою карту полученной, поднял вверх обеими руками, задрал голову и, щурясь, стал приоткрывать постепенно краешек. — Себе!

— Себе так себе! — открыл Вачнадзе десятку. — Себе так себе! — повторил он, показывая вторую десятку, к которой прикупал. — Двадцать — и ваша не пляшет!

Попко порывлся в боковом кармане френча и вытащил проигрыш. Заглянув в свою карту, еще раз, слегка дрожа пальцами, перебрал в кармане бумажки.

— По банку! На свою гарненьку! — объявил он, и лоб его вспотел.

Вачнадзе везло. Открыв еще раз двадцать и потом кряду дважды очко, он потянул к себе со стола разбухшую кипу.

— Тебе прет, доктор! — заметил Аристов. — Вы бы дали мне сбанковать, ребята. Наличности при мне мало, времени и вовсе в-обрез. Пробанкую и уйду.

— Валяйте...

— Ну как вообще этот летчик? — спросил Аристов, тасуя карты. — После штопки-то... Очახнет?

— Пустяки. Снова летать будет. Но вот странное дело: какое там настроение! Твердо ведь верит, что скоро немцев прогонят: «победим, мол»...

— Чи то — странно? Их там обрабатывают, як надо. А вот у нас здесь виткиля такое настроення? Мы теперь у них из лизоблюдов та немецких холуев не вылазим!

— Кто это говорит? — нахмурился Аристов.

— Пленные, кто! Слышать то и дело, а кто — не углядаемо...

— Ушами хлопать не надо. Выявлять таких! — Аристов начал сдавать.

Карта была однако к нему немилостива. Банк не удержался. Почти не понтируя, он быстро спустил свою наличность и поднялся.

**

*

В маленькой избушке у мостика Тамара лежала на аристовской кровати, разглядывая в зеркало все-таки собравшийся лупиться нос. Были на ней зеленые плавки и бюстхальтер, от полумрака комнаты загорелое тело казалось коричневым и походило на перевязанную ленточкой шеколадинку.

— Ну, чего ж голая-то? Придет Паншина? — спросил Аристов, входя.

— Не придет.

— Почему?

— Мигрень. Уж и башку полотенцем мокрым завязала.

— Притворяется?

— А я почем знаю.

— Я тебя просил, однако, того... постараться, — сказал Аристов голосом, не обещавшим ничего доброго.

— Я ей и говорила. А если она нос воротит, что ж мне на коленки перед ней прикажешь? В ножки кланяться? Фигу тебе! — Сложившись рывком, Тамара села на кровати с поджатыми ногами и сделалась вдруг похожей на осу: вот-вот ужалит.

— Тамарка!

— Двадцать лет Тамарка. Ты думаешь, она дура? Не видит, что вы, два кобеля, на нее нацелились? А ей на вас плюнуть жалко.

— Цыц, стер-р-ва! — рыкнул Аристов и, словно наручники надел, обхватил ее руки над кистями. Сжал так, что пальцы побелели.

— Кричать буду... На все Орехово! — прошипела Тамара, выворачиваясь, как вьюн. Не без страха: в желтых наклонившихся над нею глазах поплыла знакомая муть; она знала, что теперь сделать больно для Аристова — необходимость и наслаждение. Он уже не раз поколачивал ее в последнее время.

Аристов тряхнул зажатые руки — в запястьях хрустнуло.

— Пусти, чорт! — вышепнула Тамара, посерев в лице и задыхаясь. — Она вот убежит от вас к партизанам, ваша Паншина. Только и добьетесь. Сегодня видела: письмо писала потихоньку. А завтра — в Крюково понесет. Допрыгаетесь, кобели проклятые...

Аристов разжал пальцы.

— Ты что, с глузду съехала? Ты понимаешь, о чем треплешься, дурища?

— Очень понимаю. Ты бы столько понимал, сколько я.

— Она сама тебе рассказывала про... про партизан и про письмо это? — допрашивал он уже другим голосом: неожиданность потушила бешенство.

Тамара спустила с кровати ноги и морщась стала растирать онемевшие кисти.

— Ничего она мне не рассказывала, а у меня глаза не на з.....е. Шла сюда — помаду забыла. Побежала назад — а вот пишет. И конверт на столе. Услышала — за ворот спрятала. А насчет Крюкова, что завтра пойдет, на пляже сама говорила.

— Да что за письмо-то, к кому?

— А не знаю, я у нее за пазухой не сидела. Не к тебе, ясное дело. И вообще у нас сейчас почта не действует.

7.

Жаворонок вынырнул из влажной, затененной уже лужайки и, словно там, среди кочек, выхватив песню, понес ее, трепещущую, ввысь, проливая каплями в смуглую предвечернюю тишину.

Крюково открылось сразу за холмом, приткнувшись к невысокому частому подлеску, и Милица прибавила шагу под горку. Ощупывая рукой письмо за кофточкой, думала о том, хорошо ли сделала, не рассказав ничего о своем предприятии Плинку. «Вдруг выйдет какая-нибудь неприятность? Ах, он такой осторожный, наверное стал бы только отсоветывать». Она вспомнила, какое жалкое было у Плинка лицо сегодня, на «выборе жениха».

Как раз из Крюкова явилась утром в лагерь какая-то баба с корзинкой даров и с просьбой отпустить одного пленного на полевые работы. Попала она на Фрика. Тот принял дары, распорядился и отправился сам смотреть представление. Милица и Плинк оказались в это время случайно у проходной будки.

Фрик приказал вывести просительнице “mindestens ein halbes Dutzend Bräutigame”, чтобы она сама выбрала подходящего.

Должно быть, со времени уничтожения невольничьих базаров не представлялось любопытным такого занятого зрелища. Выражение лиц выстроившихся вдоль забора шестерых кандидатов менялось ежесекундно: надежда вытеснялась отчаянием или безразличием, неловкость — выделанной развязностью и ухарской готовностью победить конкурентов. Один из «женихов» особенно запомнился Милице: маленький, уже немолодой, усатый, он, расставив плечи, выкатывал грудь колесом и с напряженным, как перед глазком фотокамеры, лицом изо всех сил старался взглянуть огурчиком.

Баба — было ей шибко за тридцать — вставала почему-то всё бочком к предложенному ассортименту и, жеманно утирая концом головного платочка губы,

искоса, словно невзначай, оглядывала каждого кандидата поочередно. Фрик, в сторонке, с несколькими немцами, с наслаждением потирал то руки, то скользкую лысину.

— А вот меня так никто уж наверно не выбрал бы, — сказал Плинк, когда выводка кончилась, с таким убитым видом, что Милица даже улыбнуться не решилась: не знала, шутит он или нет. Последнее время Плинк вообще был настроен на жалобный лад. Приходя, рассказывал все о бесконечных невзгодах личной своей жизни: двух браках, в которых нежно любимые им жены бесовестно его обманывали, так и не осуществившейся мечте иметь семью, детей... «В самом деле, какой он неудачливый! — думала Милица. — Даже обидно... Женщину зовут Марфой, последняя изба налево».

Деревня была маленькая. Последняя изба налево вряд ли приходилась десятой по счету в порядке и стояла почти у леска, кудряво вплотную подползавшего к дороге.

Марфа уже выглядывала Милицу, высунувшись в окошко.

— Вы к Семену? — крикнула она. — Заходите, он сейчас придет. — Посадив гостью в передний угол, она достала из подпола запотелую кринку молока, принесла стакан и каравайчик хлеба. — Ничего, ничего, кушайте! Есть молоко, корову покудова не отобрали. Хлебушко вот неважный: жмыху подбавляем, до нового чтоб дотянуть. Ну, как у вас теперь в лагере? Получшело, говорят? Зимой было — не приведи Господь. Уж на что мы ко всему приучены, а такого не видали... Измывались ведь над людьми, как над собаками.

Она уселась напротив и подперла щеку кулаком.

— Что-то дальше будет, неизвестно. Семен говорит: прогонят немца, и тогда выйдет народу от власти облегчение. Вроде как при нэпе. Будто на нашей стороне уж и церкви пооткрывали. Вздохнуть дадут. Вы как думаете?

Милица еще ничего не думала про то, «выйдет ли народу от власти облегчение» после войны. Но ей и не пришлось ответить, потому что в сенях звякнуло, и вошел Селезнев, веселый и запыхавшийся.

— Точно, как в разведке. Шесть ноль-ноль, — вытянул он из-за пазухи часы на длинном яичного цвета ремешке. — Спасибо, часы вот уберег от фрицев. Здравствуйте, сестричка! Я бы тоже молочка хлебнул, Марфа, дай-ка кружечку.

Марфа вытерла полотенцем другой стакан зеленоватого неровного стекла с треснутым краешком и поставила на стол. Прижав к груди каравайчик, отрезала еще ломоть хлеба и вышла из избы.

— Ну, как письмецо? Изготовили? — спросил Селезнев, выпив молоко крупными мурлыкающими глотками, которым забавно пританцовывал в такт его острый кадык. — Есть уже? Вот и ладно. — Он бережно засунул письмо вовнутрь пиджака, — не в карман, а в прорешку подкладки.

— Доставим, будьте надежны. Связь у нас сейчас — красота! Я вам, сестричка, открыто говорю, потому чую: вы своя, не выболтаете... Так-то! Немцы наново ударить готовятся, а мы у них за спиной — кулачок. Чтобы этак вроде, извиняюсь, как вилами сзади потревожить маленько. Ты что, Марфа? — повернулся он к окну.

— Идет сюда немец, то ли полицаи из лагеря! — сказала Марфа тревожным шопотом, высунувшись с улицы на подоконник.

— Ах, кусай его... Поговорить не дадут! Буду сматываться, сестричка. А то они ведь из избы в избу шлենдают... Масло, яйки!.. Нечего нам с вами им казаться. До воскресеньчика, значит!

Вряд ли успел Селезнев вывернуться из избы на дорогу, как с улицы раздался оклик, и Милица вздрогнула, узнав голос Аристов.

— Алло! — кричал Аристов. — Алло! Остановись-ка, слушай!

Но Селезнев очевидно свернул в заросли, потому что оклики прекратились, и через несколько секунд Аристов показался перед избушкой. Подойдя к окну, посторонил локтем — как ставень отодвинул — Марфу и перегнувшись заглянул в комнату.

— Вы — здесь, фрейлен Паншина? Мне сказали там, на другом конце, что вы сюда зашли. Ничего себе, деревенская информация, а? Собираетесь домой? Так айда — вместе!

Когда они вышли за околицу, солнце село. Обмокнутые по краям в розоватую бронзу висели облака. Из посиневшей лощины тянуло на дорогу то сырým холодком, то парным травяным теплом разогревшихся за день пригорков. Первым еще неуверенным горошком сыпали где-то лягушки.

Ловко, точно выключателем щелкнул, отломал Аристов ветку с куста. Оборвал листья. Сделал хлыстик. Никак нельзя было разглядеть на его лице, подозревает он что-нибудь или нет. Волнуясь, Милица все утوراпливала и уторапливала шаг.

— Этот тип, что в кусты от меня сиганул, — он что, знакомец ваш? — спросил вдруг Аристов.

— Да... то есть, нет... То есть да, знакомый немного, — растерялась она, хотя именно этого вопроса ждала и боялась все время.

— Видел вас с ним вчера у церкви, на улице! — сказал Аристов и свистнул в воздухе хлыстиком.

— Мы встречались еще раньше, давно...

— Вот как! Да, что же, вы ведь почти местная...

Они поднимались теперь на холм и, хоть было круто, — всё тем же курьерским шагом, так что, когда взошли на перекат, оба задохлись чуточку.

— Пойдите, фрейлен Паншина, очень уж вы спешите! — остановился Аристов. — Дайте дух перевести. Запарился. Вон оберлейтенант Фрик уж и огонь зажег. В карты, должно быть, режется. Вчера тоже, как и вы, к нам не пожаловал.

«Как он противно это «фрейлен» выговаривает» — подумала Милица, глядя мимо Аристова на уж сов-

сем проглоченную сизыми тенями ореховскую околицу.

— Ну, а письмо субъекту этому успели все-таки передать?

Вопрос был так неожидан, что Милицу даже назад качнуло. Да и задал его Аристов как-то особенно стремительно, повернувшись лицом к лицу. В упор.

— Какое письмо?..

Аристов совсем не был уверен, что Тамара насчет письма не выдумала с испугу: «Тоже ведь и ревнива дурища, как рыжий сеттер». Но при взгляде на милицино лицо все его сомнения рассеялись. Он удовлетворенно усмехнулся и опять взмахнул хлыстиком.

— Мне все известно, фрейлен Паншина. Напрасно отпираетесь.

«Как это «известно»? Откуда ему может быть что-нибудь известно? Неужели — Тамара? Да, нет, ведь она не видала... Это он меня просто «на пушку» берет. Как ужасно, что я так потерялась!»

— Никакого письма я никому не передавала, — сказала она, наконец, и пошла по дороге.

— Ох, зря вы так сторонитесь меня, фрейлен Паншина, — догнал ее Аристов. — Я к вам — всей душой, вы ко мне — всей спиной, как говорится, — не удержался он от «словечек». — Ведь чего я от вас хочу? Ничего, кроме дружбы. Мы здесь все — одной семьей. Только вы отрываетесь. Вот на мои приглашения два раза уже наплюнули.

«К чему он — все это?»

— Эту сегодняшнюю партизанскую историю опять-таки по-товарищески и замять можно. А если взглянуть с принципиальной точки зрения...

«Ну, что — если с принципиальной? Что он может доказать? Разве вот только — Селезнев исчез так подозрительно...»

— Пойдемте через лагерь, там ближе, — сказал Аристов, сворачивая в сторону: лагерная проволока подбегала в этом месте к дороге вплотную, и в ней, рядом с баней, были ворота для подвоза дров.

Щелкнув каблуками, пропустил их через воротца постовой-украинец.

— Знаете, что я надумал, фрейлен Паншина? — начал Аристов, когда они вышли к тыловой стороне барачков: — Пойдемте-ка сейчас ко мне! Посидим втроем, подзаправимся. Шнапс и закуска со вчерашнего дня нетронутые. Заключим тройственный союз и спрыснем. Заметьте: последний раз предлагаю. Нет — значит, враги, и за мной — полная свобода действий. Понятно?

«Грозит. Что может он, однако? Побежит Фрику докладывать? Неужели все-таки струсить и так и пойти к нему, к такому... Ах, если бы хоть Вансович был здесь!»

Они обогнули барак, и вдали забелели уже лагерные ворота. Справа бугрился бункер с постовым.

Аристов выгнул хлыстик дужкой, распрямил, снова свернул в колечко.

— Ну, фрейлен Паншина, — остановился он вдруг, — как же решаем? Куда двинемся?

— Я к себе. Устала очень.

Тренькнув, отлетел хлыстик в сторону.

— Так, так! — сказал Аристов, засовывая руки в карманы и подрагивая коленкой. — Всё артачимся! Так и запишем. Однако смотрите, девушка, — пенять будете только на себя.

И поза, и тон его — всё было на этот раз такое типично аристовское, издавна знакомое и ненавистное Милице, что ей стало жарко.

— Да что вы мне всё угрожаете? Что я сделала? И что вы можете в конце концов?

— Что я могу? — переспросил Аристов и сразу охрип. — Что я могу, интересуетесь вы? Могу сейчас вот, без никаких, доложить командованию о ваших партизанских похождениях. Так и сделаю. Еще могу арестовать вас за сношения с партизанами. До получения указаний.

— А, пустяки!

— Самойленко, сюда! — крикнул Аристов бункерному. — Сидит там кто у тебя?

— Двое беглых, господин вахмистр. — Те, что по пятеро суток...

— Чорт! Ну, все равно. Внесешь вот сестру в ведомость. Арестована. Отходить от бункера не имеет права. Разговаривать с кем-нибудь — тоже. Должна находиться здесь. До особого распоряжения.

Крутанув на каблуках, он зашагал к воротам. Быстро, словно убежал от недоуменных самойленковых вопросов.

— Чи вин сказився? — повернул Самойленко к Милице широкое добродушно-хитроватое лицо и поправил за спиной винтовку. — Чи пьян? Шо такое вышло у вас, сестричка?

За участливыми этими вопросами прятал Самойленко тревогу: ну, как арестованная возьмет да и двинется себе дальше, словно ни в чем не бывало! Что тогда ему делать, согласно этому нелепому приказу?

Но Милица, хрустнув пальцами, смотрела вслед Аристову, не отвечая.

Трудно сказать, как обернулось бы дело, дойдя до Фрика, если бы Аристова еще на дворе, перед самими воротами, не перехватил Плинка.

Плинка уже два раза за вечер заходил к Милице. Не найдя, направился к Тамаре за справкой. Тамара всхлипывала, уткнувшись лицом в аристовскую подушку, и не пожелала ничего отвечать. Плинка забеспокоился.

— В Крюково она пошла, невеста твоя, — сказала ему с завалинки аристовская хозяйка, старушка — та самая, с которой рядом стояла в заутреню Милица. — В Крюково.

— Ну, какая же она мне невеста? — порозовел от удовольствия Плинка. — Стар, бабушка.

— Чего стар? Молоденьких-то всех до одного угнали. А девкам что же, в куклы играть?

Чтобы убить время и тревогу, Плинка направился в лагерь: поговорить с садовником насчет газонов.

Там, стоя у большой клумбы, против будки Управления, он и увидел в глубине двора на фоне фисташкового неба и черных столбов две знакомые — выше и пониже — фигуры. Затем, когда фигуры приблизились, — остановку у бункера и разговор и, наконец, — стремительно зашагавшего к воротам Аристова.

Плинк прошел немножко навстречу и еще издали заметил, что Аристов «не в себе».

— Стряслось что-нибудь у вас? — спросил он. — Почему Милица от тебя отстала?

— После узнаешь! — буркнул Аристов, не останавливаясь, и хотел дальше, но Плинк удержал его за локоть.

— Ты мог бы все же ответить как следует, Аристов. Что она...

— А вот идем вместе к оберлейтенанту и узнаешь «что она». Арестована за связь с партизанами. Вот, что она.

— Ты рехнулся? Или заложил лишнее?

— А ну-ка пусти!

— Нет, постой: это ведь бред безумный! Паншина и — партизаны! Да ведь она сидит одна, как перст, в своей амбулатории. Безвыходно.

— Выходит поговорить с кем надо. Вчера ночью письмишко с донесениями накатила. Сегодня вечером передала.

— Ты видел?

— Письмо Тамара видела. А партизанский связной лично от меня в кусты дунул. Ничего, брат, докажем.

— Вздор, ерунда. Письмо... Я ручаюсь...

— Да ты-то что ручаешься. Спишь ты с нею или стережешь по ночам?

— Она моя невеста! — выговорил Плинк для самого себя неожиданно (должно быть, аристовская старушка-хозяйка подсказала ему этот удивительный аргумент). Он чувствовал, что Аристова нужно было

поразить чем-то, остудить раскаленную его неистовость.

— Фью! — свистнул Аристов и в самом деле как-то сразу распружинился.

— Моя невеста! — повторил Плинк впечатляюще. — И если она в связи с партизанами, то, значит, и я — тоже. А уж этого, милый друг, ты никому не докажешь.

— Ну, удивил! — сказал Аристов, уже почти обычным своим голосом, с насмешечкой, и вытянул руки из карманов. Напрягаясь, старался вернуть утраченную было способность рассуждать: надо было переоценить положение.

— Вот видишь: я в праве отвечать за нее, и за себя, — за обоих, и знаю, всё это — самое нелепое недоразумение.

«Кажется, я в самом деле зарвался с девчонкой» — думал, окончательно остыв, Аристов. — «И когда только они стакнулись? Оберштабарт, ясное дело, за них станет. Главное — на Фрика полагаться нельзя. Так может повернуть, если вожжа под хвост, что и в дураках окажешься».

— Чорт с вами! — махнул он рукой и полез за сигаретой. — Не пойду докладывать. Замнем для ясности. Ради тебя только, по-товарищески. Самойленко! — крикнул он к бункеру. — Отставить. Забирай свою красавицу, и в общем, значит, совет да любовь. На свадьбу, надеюсь, пригласить не забудете? Ну, пока! — и он пошел в ворота.

— Вы понимаете, Милица Аркадьевна, — говорил полчаса спустя Плинк, потерянно тычась по темным углам амбулатории. — У меня сорвалось это. Совсем неожиданно. Я знал, что мерзавца надо, что называется, ошеломить чем-нибудь. Остановить любой ценой. Вы представляете себе: это могло очень плохо кончиться. Катастрофически плохо! Как было неосторожно с вашей стороны! Побудительные причины я понимаю, конечно, но как все-таки опрометчиво.

Сказали бы мне, и всё бы с этим письмом устроилось как следует.

Он остановился у стола, и от прыгающего язычка стеариновой плошки казалось, что руки его трясутся (может быть они и в самом деле дрожали: он волновался).

— Страхи теперь позади. Только вот разнесет он всюду насчет нашей с вами... насчет жениха и невесты. Очень вас это конфузит? Очень вы на меня сердитесь?

У него был такой виноватый вид, что у Милицы вряд ли стало бы духу ответить утвердительно даже, если бы и было ей очень досадно. Но она чувствовала, что Плинк и в самом деле «обручил» их лишь с перепугу, из боязни за нее, без какой-либо задней мысли. К тому же сейчас всё казалось ей таким безразличным. Было неловко, тошновато, тоскливо...

— Ах, все равно! — сказала она, хрустнув пальцами. — Все равно. Только бы скорее — отсюда!

8.

Безлюдное, в плешинах и выбоинах бежало сквозь кочковатые торфяные поля шоссе. Прогретое солнцем, то поблескивало зеркально, то серело матово и казалось чистым-чистым, словно его суконкой протерли. Но ветер, налетая из-за дальнего поворота, каждый раз сдирал и гнал перед собою, как рубачком состругивал, низкую серую стружку пыли.

Глянцевито желтел у перекрестка свежеструганый телеграфный столб; старый — верно, партизанами спиленный — валялся рядом. Негромко гудели провода. Примостившись на верхнем, подремывали две вороны.

Милица и Плинк вот уже больше часу стояли на ветреной обочине. Ждали какой-нибудь немецкой машины, которая подвезла бы дальше. Был у них на двоих маршбфель-отпускная — в Старгород.

События в лагере после истории с письмом развернулись стремительно. В тот же злополучный «крюковский» вечер вернулся в Орехово Вансович. На другое утро окликнул проходящего мимо Плинка, высушившись из окна игрушечного своего домика.

— Массу новостей нашел по приезде, — сказал Вансович, впустив Плинка в комнату и усаживаясь за заваленный бумагами и конвертами стол. — Слышал и о вас с м-ль Паншиной. Быстро осведомили, не правда ли? Если это, конечно, не вздор, а? — добавил он, поймав на лице Плинка смущение. — Но есть новость еще поразительнее... — Зондерфюрер потянул из кипы на столе какое-то письмо. — Скажите, кто нам тогда в Б. сообщил о смерти господина Заряжского? Сам я слышал от вас, не правда ли? А вы — от кого?

— Аристов сказал, вернувшись из больницы.

— Аристов? Гм... выясним. Во всяком случае это была ложь. Господин Заряжский, к большому моему удовольствию, жив, здоров и, как это говорится?... — всем нам того же желает.

— Не может быть! — всплыл изумлением, как пузырь на воду, Плинка. — Жив? Не может быть!

— Да уж на этот раз верно. Это я вам сообщаю, — сказал Вансович, обегая почему-то глазами изумленную плинкову физиономию (против обыкновения, он и садиться не предложил ему). — Вот собственноручное письмо от него. Залезалось немного. Передайте м-ль Паншиной новость. Господин Заряжский просит ее писать. Так вот, если она сегодня успеет, — завтра я могу отправить вместе со своим. Скажите ей также, что я был в нашем *Corrück* — это как раз в Старгороде, на ее родине. Все устроено. Она получает место переводчицы при Городском управлении. И, значит, можем ее отпустить, хоть завтра. Как было обещано.

— Да... вот и я теперь хотел бы... просить, — начал Плинка неуверенно и, попятившись, сам наступил себе на ногу.

— Вы? в цивилисты? Тоже — в Старгород? Напишите рапорт на имя коменданта. Я доложу. Что ж, если оберст захочет...

Оберст «захотел», и вот, три дня спустя, Плинк стоял у перекрестка шоссе рядом с Милицей, дожидаясь попутного транспорта.

Порыжелая красноармейская шинель сидела на нем мешковато, оттопыривались плотно набитые чем-то карманы. За спиной привязанный веревочкой к вещевому мешку взбрыкивал при движениях котелок; другой котелок с какой-то баночкой в середине держал он в руках.

«Почему он такой пришибленный? — думала Милица, поглядывая на спутника. — И теперь вот, когда всё так удачно и радостно. И зачем эти два котелка и баночки?»

Сама Милица была вся налита радостью, светилась ею, как весенняя березка клейкой, только выбрызнувшей зеленью. Всё трепетало в ней от восторженного сознания свободы, от нетерпения увидеть скорее родные места, от взволнованного ощущения приближающейся новизны, похожего на предчувствие счастья. Было так, словно зазвенел у нее в груди залиvistый, радостный колокольчик и так и дрожит, не переставая, с того самого времени, как передал ей Плинк новости и, прежде всего, это невероятное, как чудо, известие, что Заряжский не умер. У нее и ямочки с тех пор не сходили со щек; разве на секундочку пропадали, когда с солнечного шоссе, ломавшегося хрупкой, как грифель, полоской у самого горизонта, куда она смотрела, переводила она глаза на понурую рядом фигуру Плинка.

«О чем он думает? Боится неизвестности, что ли? Как можно выглядеть таким убитым теперь?»

На грифеле у горизонта обозначилась точка; приближаясь, быстро светлела, разбухала и ширилась; вытянулась поверху в прямоугольные очертания кюзова, блеснула стеклом; наконец, отчетливо вырисо-

вался подпрыгивающий, как мячик, стремительный автомобильный фас.

— Не знаю, грузовик ли... попытаться все равно надо, — сказал Плинка и, сшагнув на шоссе, поднял руку.

Испуганные слетели с провода вороны. Машина, набегая, заскребла гравий, скрипнув тормозами, остановилась. Это был небольшой отечественного производства фордик с брезентовым верхом.

Погромыхая баночками, Плинка подбежал к кабинке:

— Можете вы взять нас с собою? Нам до Старгорода... — заговорил он, трудно, как всегда, подыскивая слова и торопливо развертывая подорожную.

— Na ja, meinetwegen, — сказал один из немцев в кабине.

— *Fahren wir direkt nach Stargorod. Wenn nur unser Mitreisender Sie nicht stört,* — добавил он, нерешительно поглядев на Милицу.

— О, нейн, нейн! — заверил Плинка поспешно, хотя и не совсем понял сказанное.

— *Dann gut.* — Немец вылез из кабинки, обогнул машину и откинул задний борт.

— *Bitte einsteigen. Wir werden ganz schnell an Ort und Stelle sein. Es ist keine lange Fahrt dorthin.* — Он подмигнул Милице и закрепил зажим. Машина тронулась.

«О каком же попутчике он говорил?» — с удивлением подумала Милица, усаживаясь с Плинком на длинном деревянном ящике посередине кузова. Они были одни в машине, и кроме этого ящика и двух немецких ранцев в углу с привьюченными одеялами не было видно другого груза. «Может, потом подсядет кто-нибудь?»

В открытой рамке задка уносились шоссе, песчаные обочины, желто-зеленые торфяные болота... Резала глаза их ослепительная стремительность, — словно из солнечного брандспойта какого-то всё это выпрыскивали. В кабине добавляли и добавляли газу.

Мотор всхрапывал, заглатывая скорость; дрожали в стремительном напряжении стенки кузова и пол под ногами.

«Как хорошо! — подумала Милица. — Как летим! Как раз так, как я хотела бы...»

— Зак-кусим, Милица Аркадьевна? — предложил Плинк, заикаясь от тряски. — Что? Отказываетесь? Напрасно. Час уже обеденный, и здесь удобно. Я во всяком случае подкреплюсь немножко.

Он вытянул из мешка и разложил подле себя на ящичке хлеб и еще что-то в пакетиках. В кузове запахло немецким жидковатым сыром, потом — ливерной колбасой, когда Плинк взялся за другой пакетик; потом — луком. Потом гастрономию повывудило сквозняком, и на смену потянуло вдруг чем-то тяжелым, гнилостным. Запах этот не хотел исчезать и то растворялся на секунду в струйке чистого воздуха, бьющей из прорехи в брезентовом передке, то полыхал так густо, что к горлу подкатывала тошнота: пахло трупом.

Милица посмотрела на Плинка — он, ссутулясь, пережевывал бутерброд, — потом на ящик, на котором они сидели, — и тотчас же с угла, у самой ее кисти, бросился в глаза вычерченный химическим карандашом по выструганному дереву немецкий орденский крест и надпись: “Leutnant Lörütz, Feldpostnr... gefallen am 16.VI.1942”.

«Господи! значит мы на покойнике сидим!» Она поднялась и стала у стенки тряского передка, ухватившись за железную дужку перекрытия.

— Что такое? — спросил Плинк, работая челюстями.

— Там покойник, в ящичке... Вон, написано. И вы же слышите, как ужасно пахнет.

Перегнувшись к углу, Плинк прочел надпись.

— Ничего не поделаешь! Вы садитесь на мой конец, — посоветовал он. — Запах, наверно, в глубине, а здесь, у меня не слышно.

«Странный!» — подумала Милица и потянула за уголок порвавшийся кусок брезента. Прореха прихотилась как раз на уровне ее лица, и теперь получилось маленькое окошечко, приятное, яркое, ветреное. «Всё ему безразлично как-то...»

Плинку действительно казалось совсем неважным, что под дощатой крышкой с разложенными бутербродами спрятан какой-то убитый немецкий лейтенант. С того самого момента, как объявил он Вансовичу о желании «освободиться», не оставляла его тревога: хорошо ли он делает, меняя «кукушку на ястреба», устоявшееся лагерное житье — на неизвестность вольного существования. Положение лагерного коменданта обеспечивало сытость, квартиру, множество мелких разных удобств и услуг и, наконец, защиту от всяких неприятных неожиданностей, которыми, по слухам, полна была жизнь «освобожденного» населения. А что гарантирует Старгород?

Еще задавал он себе вопрос: повлияли ли на его решение отъезд Милицы и та выдумка, благодаря которой он попал в «женихи»? «Нет, не повлияли», — убеждал сам себя и тут же устанавливал, что лукавит: именно за Милицей потянуло его из-за проволоки. И даже, по началу, — с воодушевлением, с какими-то смутными надеждами, щекочущими сердце и самолюбие. Именно поэтому и наступило позже, когда уже нельзя было на попятный, то беспокойное разочарование, которое испытывал он теперь: слишком уж явно захлебнулась радостью Милица, узнав про Заряжского, и письмо писала суетясь, непохоже на себя, и известие о том, что Плинка тоже выписывается в Старгород, приняла равнодушно. И сейчас вот — в этом Плинка был уверен — думает о встрече с «воскресшим», а не о том, что интересовало его, Плинка: каковы будут их отношения в Старгороде.

Немцы в кабине выжимали из фордика пределы: стрелка спидометра давно уже скакнула за 60 и толчками, будто с опаской, подпрыгивала к 80. Мо-

тор ревел. В неистовом разбеге выхлебывали колеса ухабы и выбоины шоссе. Скрипел кузов.

Торфяные болота кончились. В окошечке перед глазами Милицы, как в кино на экране, набегала справа синеватая грядка леса, и воздух врывался теперь не с теплыми травяными, а с прохладными смолистыми запахами. А когда проскочили лес — посыпались разбросанные в зелени домики под жестяными и драчочными крышами, бескупольная церковь, пожарная каланча, четырехугольный прудик с мокнущей раскинувшейся ребрами, как водяная лилия, бочкой.

Не веря глазам (она никогда не ездила так быстро и не могла теперь приноровить быстроту к расстоянию), Милица узнала Прилуки — село, от которого до Старгорода считалось всего семь километров.

В Прилуках была она как-то еще девочкой с отцом, когда его посылали сюда перемерять надель, и долго стояла у этого самого прудика. В нем плавала тогда целая туча желтых пушистых утят, и были они такие славные, так забавно выгребали лапками на сторону, посовывая в воду плоские носики. Помнится, она им весь свой завтрак выкрошила из вышитой, через плечо, сумочки.

«Как же быстро! Значит, сейчас уж и Старгород! Вот еще немножечко лесу и — поворот. И тогда должна высунуться труба стеклозавода».

— Сейчас уже, Федор Федорович! Нет, как быстро! Вы только подумайте...

— Уже город видно? — спросил Плинка и начал засовывать в мешок недоеденное продовольствие. А когда засунул и завязал веревочку, — чуть не сбросило его с ящика: правый борт подкинуло, машина, на той же скорости, заглатывала поворот.

— Видно! уже видно! Нагорная... монастырь!

Вырванный лоскуток брезента хрупнул и пополз вниз под милицыными пальцами. В увеличившееся отверстие, подрагивая, наплывал теперь буро-зелеными пятнами застроенных холмов и сверкающими точками редких белых зданий город.

Забросило левый борт, фордик круто вырулил на старое Смоленское шоссе, и тотчас же, как безумные, запрыгали колеса по искрошенному танками и тяжелыми орудиями асфальтовому настилу. В кабинке убавили газу, и все-таки у передка так подбрасывало, что стоять было трудно.

Хватаясь за ржавые крепления, Милица перебралась в задний конец кузова и села рядом с Плинком на ящик, на этот раз совсем позабыв, должно быть, что лежало там, под дощатой крышкой.

В раструбе мелкали маленькие лепившиеся по краям шоссе домики предместья. Очень быстро. Нельзя было разобрать, живут в них или нет.

«Кажется, нет. Вон стекла почти везде выбиты... Водокачка! Теперь, значит, уже город сам, едем по Смоленской улице. Ай, как костел разбомбило! А у развалин — ребятишки. Значит, есть люди, все-таки. Какая длинная она, эта улица... Уже тормозим, кажется... Стоп!»

— Bitte, Leninplatz! — сказал немец, подмигивая Милице, и помог ей выбраться. — Endstation!

В самом деле, это была Ленинская площадь, бывшая Сенная. Трехэтажная кирпичная коробка справа — Дом крестьянина. «Не разрушили. Даже стекла целы. И клуб пионерский тоже стоит». С горячими щеками Милица осматривалась вокруг. Жадно, чуть недоверчиво, как осматривается лесной зверек, когда его, после недолгой неволи, принесут снова на место, откуда взяли. Все было такое знакомое, родное. В этом клубе, например, («а забор кругом сломали!») она знала каждый уголок еще девочкой, когда впервые надела красный галстук. «Сколько же времени я не видела всего этого? Только год? Не может быть! Кажется гораздо дольше! Ах, скверик бедный, как его ископали! И Ленина нет!»

От памятника Ленину, в конце сквера, налево, осталась только четырехугольная гранитная колонна с обкусанным верхом. Перед нею буквою П были врыты столбы с вывеской на немецком языке и пестры-

ми, сверху до низу, торчащими в разные стороны, как перья, указателями. Смоленская улица перед вывеской раздваивалась: направо шла к центру, налево — в обход сквера — к Московскому шоссе. От того места, где она вливалась в него, нужно было пройти шагов сто, не больше, — и вниз скатывался переулочек, кривой, как запятая, в котором стоял милицын дом. Отсюда, от ленинской, было это всего шесть минут ходьбы. Точно шесть минут по часам.

На секунду Милица забыла о своих спутниках. Прислонившись к борту, наблюдал ее возбуждение немец, помогший вылезти из машины. Выжидательно поглядывал Плинк — мешок с котелком в одной руке, милицына сумочка — в другой. Из дверей кирпичного ящика, шумно разговаривая, высыпали солдаты.

«Да, сумочка!» — вспомнила Милица, посмотрела в раструб кузова, потом — на улыбающегося немца, на Плинку с растопыренными руками и — смутилась.

— Ах, вот... Спасибо, Федор Федорович. Давайте. И я пойду, мне...

— Я тоже с вами! — забросил Плинк на спину за лямку вещевой мешок. — Вместе, может быть, и устроимся где-нибудь...

— Нет, я одна... Пожалуйста! — испуганно сказала Милица и окончательно смутилась, заметив выражение обидчивого недоумения, поползшее по лицу «жениха». «Ведь это ясно, что я должна сейчас одна, непременно одна. Как он не понимает в самом деле!»

— Вам ведь зондерфюрер дал адрес, где можно остановиться? — спросила она, справившись со смущением, даже суховато немного, против обыкновения.

— Дал. Смоленская десять. Но я думал...

— Это рядом. Вот она, Смоленская, по которой приехали. И начало номеров отсюда. А я зайду обязательно попозже. Если придется долго устраиваться, искать знакомых — так завтра утром. Хорошо, Федор Федорович? До свиданья...

Она повернулась («пока снова не заговорил») и почти бегом пересекла улицу.

Они не открывались глазам постепенно, знакомые эти места, — они бросались навстречу взапуски, словно с докладом спешили о пережитом и, заодно, о далеких связанных с ними воспоминаниях. Сад справа, у пионерского клуба, жаловался, что совсем изрыли его вдоль и поперек окопами. Площадку, на которой, бывало, играли они до темна в волейбол, куда не выгонял сторож, загромождали теперь тупоносые грузовики. «Ах, сколько деревьев спилили, чтобы въезжать было можно. Вот жалость!»

Дома слева выгорели. Торчали только печи, — русские (на одной даже труба уцелела) и кафельные, на пожарищах покрупнее. «Что здесь было? Детский сад, кажется». Еще жалостнее, чем обуглившиеся балки вокруг печей, выглядели тоже обуглившиеся кусты в мертвых палисадниках. Угловой, на стыке двух шоссе, трехэтажный универмаг тоже сгорел, и остов торчал зубчатый какой-то, сквозь закопченными дырами окон, в которых (никак нельзя представить себе этого) лежали когда-то за заркальными ставнями товары (настоящие и «только декорация»). Весь этот квартал примыкал к вокзалу, поэтому, наверно, и забросали его бомбами в первую очередь.

У подъема на Московское шоссе Милица остановилась в нерешительности. Остановившись, услышала стук — словно электростанция работала где-то неподалеку — и не вдруг поняла, что это стучит сердце.

С высокого шоссе можно было сразу увидеть весь ряд домов, тянувшихся по низу, вдоль насыпи, к ее переулку.

«Что, если и там тоже сплошь пожарище?»

Зажмурившись, она стала подниматься вслепую, на цыпочках, пока не почувствовала под ногами асфальт. Тогда открыла глаза. «Слава Богу! Здесь всё по-старому». Низкие фасады, как прежде, прятались за палисадниками. «И дальше, к нам, тоже всё в целости... Ах, нет! Там как раз чернеет прогалинка. Еще

до угла начинается. И углового дома нет. Значит, и нашего наверно, тоже...»

Чернеющая прогалинка оказалась пожарищем на месте двух домов. Один — она вспомнила — был совсем маленький, настоящая избушка на курьих ножках, и принадлежал старому еврею-сапожнику с трясущимися руками и головой. Сколько раз в лето зашивал он Милице порвавшиеся тапочки! «А где сейчас, бедный?»

В другом доме, с террасой, жил доктор — тот самый, который все отправлял ее отца в Москву лечиться. Перед террасой были у доктора клумбы, где выращивал он удивительного размера пионы. По этой части они даже соревновались с Милицей, но таких ей никогда не удавалось вырастить. Сейчас на месте клумб с пионами серела зола, торчали недогоревшие балки. «Ну, доктор, верно, эвакуировался, как и наши» — думала Милица и всё медлила заворачивать за угол. Зимой уже отсюда через докторский сад проглядывала их крыша, а теперь из-за деревьев ничего видно не было.

«Ах, что же я, в конце концов! Наши же уехали. Ну, пусть даже и сгорело...» — она быстро обогнула пожарище и вошла в переулок. Узенький, тенистый, изгибался он дужкой влево, и с самой середины этой дужки встретили ее, как в глаза заглянули, старенькие знакомые ворота, забрызганные солнечными пятнами, с большим поблескивающим, как серьга в ухе, железным кольцом калитки. Встретили так, будто и не разделял их долгий, страшный год друг от друга, будто она, как обычно, возвращается из школы, чуточку запоздав к обеду из-за волейбола или комсомольского собрания. Домик, значит, цел. Низкие три окошка скрывались за разросшимися кустами палисадника — тоже в солнечных пятнах: в это время, обеденное, только и заглядывало солнце с самого высока в их переулок.

Мягко, как клавиши, подались под ногами доски деревянного тротуара. Она медленно подходила к

калитке. И вдруг вздрогнула и чуть даже сумочку из рук не выпустила от неожиданности: оторвавшись от подворотни, кинулся на нее светлорыжий, как пшеничный сноп, пушистый комочек, толкнулся в колени, подпрыгнул, метнулся в сторону, подпрыгнул снова и прижался к ногам, взвизгивая и дрожа неистовой восторженной дрожью.

— Дези! Дезька, Дезинька! — присела Милица, и тотчас же комочек вскочил на колени, в лицо ткнулась холодная мордочка, и горячий шершавый язык вмиг облизал щеки, шею, руки...

— Дезька, как же ты... неужели тебя здесь оставили? не взяли с собою, бедненькая! С кем же ты здесь? Ну, пойдем, пойдем скорее вместе, узнаем...

Она подхватила левой рукой дрожащую собачку, а правой, в которой была сумочка, повернула кольцо калитки (ах, как оно звякнуло!), вошла во двор.

То же ощущение, будто и не было никогда расставанья на-совсем, а только самая обыкновенная коротенькая отлучка, охватило теперь Милицу с такой силой, что она так и не дошла до двери в пристройке, а остановилась на полпути, у единственного выходящего во дворик окошка.

Справа, у забора, крупно цвели пионы; ближе, на другой клумбе, готовил бутоны душистый табак. Точь-в-точь, как при ней... «Его же надо было сеять, табак... И пионы... Кто же делает это всё, Господи!»

У угла пристройки, под кровельной капелью, стояла бочка. За нею, на высокой скамеечке, — лейка, а под скамейкой ведро для помоев — всё так, как уже много лет назад завела Анна Ильинична, милицина мать, и как ревниво, неизменно поддерживала...

В левой руке Милицы, под пальцами, горошком рассыпалось дезькино сердце; чуть повыше выстукивало ее собственное. Полуобернувшись, она заглянула в окно. Оно выглядело пусто: не было ни цветочных горшков на подоконнике, ни гардин, ни низеньких — с прошивками — занавесочек. «Вот окошко какое чужое. Сразу видно, что...»

До конца она не додумала, потому что в этом «чужом» окошке мелькнуло вдруг что-то до того знакомое, до того безгранично родное, самое родное на земле, что у нее перехватило дыхание.

Взвизгнув, скатилась вниз и обиженно отбежала в сторонку Дези. Скрипнула рама. Две неверных, прыгающих руки обхватили милицыны плечи, притянули к окну.

— Мили... Милица моя! — сказала Анна Ильинична грудным шопотом. С секунду, не дыша, разглядывала ее, держа за плечи; потом, зажав в ладони розовые, уже мокрые от слез щеки, поцеловала в губы. Отпустила, взяла за плечи опять...

Тихонько, чуть касаясь пальцами, гладила Милица редкие седеющие волосы. Сморгнув слезинки, заглянула в зеленоватые, не строгие, как прежде, а очень усталые сухие глаза. И вдруг увидела в них не то страх, не то тревожное какое-то выжидание. Словно боялись эти глаза, что вот-вот сейчас заговорит она, Милица, спросит о чем-то страшном, невысказанном.

— Мамочка, а как — папа?

Голова под ладонью дрогнула и сникла. Жалостно, совсем непохоже на Анну Ильиничну, сморщилось лицо. Притянув Милицу за плечи, она прижалась щекой к ее груди и всхлипнула судорожно...

9.

. В задней, выходящей на огород комнате с выцветшим зеркалом, разлатыми фикусами по окнам и старинным, похожим на комод роялем, возникал теперь по вечерам обманчивый уют. Уют этот казался Милице обманчивым потому, что, хотя вещи — и рояль, и фикусы, и зеркало, и рубиновое пятнышко лампадки в углу — и притворялись безмятежными, ничем не напуганными, но отца не было, в голосе Анны Ильиничны все так же непривычно звучали нотки беспомощности, из большой комнаты с окнами на улицу, если немцы были дома, рвались во все углы

домика марши по радио, и невольно говорилось шопотом, и в обмене впечатлениями за день обозначалось искаженное лицо затаившегося в тревожном ожидании городка. Становилось так, словно рядом лежал покойник или тяжело больной, и Милица поднималась первая и звала Настю спать, а Анна Ильинична, вздыхая, отправлялась в кухню мыть посуду.

На другой же день после приезда в Старгород Милицу приняли в переводчицы в Городское управление. Работа была легкая, почти «никакая», но сидеть полагалось до пяти, хотя бы и с книжкой из недогоревшей библиотеки. Письменные переводы делала Юльевна, старая сухая местная немка с почти мужской лысиной под седым пучком; к Милице же, минуя Юльевну, обращались немцы, приходившие к бургомистру за разными пустяками: соломой, ремонтом печей, окон, прочей мелочью.

Приходили они не так уж часто, хотя немцами в городе кишело: здесь сидело тыловое ведомство какой-то армии, было что-то вроде формирующего пункта, отправлявшего резервы на фронт, много лазаретов, солдат организации “*Todt*” в яичного цвета форме и жандармерии.

Еще больше было машин. Они вторгались всюду: на площади, в сады и городские скверы, дворы и палисадники. Уцелевшие дома дрожали от рева моторов, плющился под мощными катками горячий асфальт, крошились уличные тумбы. Тупоносые, громадные, подползали машины к вокзалу (станция была узловая), что-то выгружали, чем-то нагружались; обратно, пробираясь в обход, вязли в немощенных переулках, в песке или лужах, смотря по погоде, и с трудом выкарабкивались на окраины.

Давно ожидавшееся наступление началось и развертывалось стремительно. Немцы прорвали севастопольскую оборону, выше, на харьковском направлении, форсировали Северный Донец. Затем появилось Курское направление — фронт снова заходом наплывал на Москву.

Читая в расклеенных по перекресткам сводках о новых и новых занятых наступающими местечках, жители только руками разводили, самые «правовверные» не знали, что сказать.

Даже Настя, которая никогда не лазила за словом в карман, если нужно было защищать «ридную власть», — хмурилась и отмалчивалась.

Настина семья переселилась в Старгород из-под Полтавы незадолго до войны. Училась Настя в одной школе с Милицей, двумя классами старше; война застала ее в Смоленске за сдачей выпускных из учительского института экзаменов. Когда мыльный пузырь «неприступности наших границ» лопнул под первым же немецким танком, бросилась она в Старгород, чтобы захватить своих и эвакуироваться, но не успела: родители, боясь бомбежек, переехали в деревню. С досады на них она так и осталась жить с Анной Ильиничной, в милиционной комнате.

Была Настя маленькая, черненькая, востроносенькая, как птичка. А когда сердилась — и вовсе похожа была на скворца: словно перышки натопорщивала, и вот-вот — клюнет. Черные глазки разгорались угольками, в речь вскакивали вдруг украинские словечки. Комсомолка была она «вкрутую», как шутя говорил покойный отец Милицы, — из той весьма немногочисленной разновидности комсомольской, что без оглядки, с какой-то чуть напуганной убежденностью верит в непогрешимость верховных своих авторитетов, сама избегает сомневаться и рассуждать и в других не терпит сомнений.

Настя крепко, с каким-то материнским обожанием была привязана к Милице и очень переживала ее, как ей казалось, «согласительство».

— Ведь ты комсомолка! была, по крайней мере, комсомолкой, пока не разложили тебя в плену твои «контрики»! — шипела она возбужденным шепотом в маленькой их спальне, перед сном. — Ну, как ты можешь, — подскакивала она на кровати, комкая острым локтем подушку, — называть вашего подлеца Егорыча симпатичным? (Егорыч был старгородский

бургомистр, непосредственное милицино начальство).
Ведь он предатель и холуй, шкурник проклятый.

— Да я только про то, что с ним работать легко.
Он вежливый, добродушный...

— Добродушный! — захлебывалась Настя и уже сидела на кровати, словно прыгнуть готовилась, хотя в темноте Милица все равно не могла разглядеть ее воинственной позы. — О дитятко ридно! Добродушный! С двумя сестрами — вот весной, когда евреев расстреливали, — знаешь, что сделал? Две медсестры к нему пришли из лесу. Еврейки. Молоденькие. Паспорт просили, чтобы еще куда-нибудь перебраться, где их не знают, укрыться чтобы... Так он пообещал, велел назавтра придти, а сам в Гестапо сбегал.

— О!

— Вот тебе и — О! На следующий день они за бумагами, а у него в кабинете жандармы. И сразу — бить. Я как раз...

— Господи, что ты только рассказываешь! — перебила Милица плачущим голосом.

— Не ори! Мать услышит — опять скажет: я тебя агитирую. Я как раз тогда зашла в вашу канцелярию. Сама все видела: один размахнулся и — в живот. Сапожищем... Ох, вспомнить не могу! А эта слякоть, Егорыч ваш, рядом стоит, трясется. Да могла бы я — своими руками, понимаешь? своими руками задушила бы гадину. А ты...

— Я же не знала этого. Мне никто не говорил. На вид он такой культурный...

— Не знала. Не слепая, сама видеть должна. Ты погляди, когда он с немцами разговаривает: совершенно собачьи глаза. Вот-вот хвостом завилает и руку лизнет. Культурный! Для немцев — конечно: доносчик и угостить мастер. Ворованным. Их кто хорошо угощает — всегда «ганц культур». Другой мерки нет.

Немцев Настя ненавидела люто.

— Все враги и бандиты! И нас за унтерменшей считают. Никаких различий между ними делать не желаю. Все одинаковы!

— Ну, и оставайся при своем, а другим не навязывай, — сердилась Анна Ильинична. — Мы вот с Милицей думаем, что они — разные. Наши, например, так и вовсе неплохие. Когда Аркаша уж подлинно в отчаянное положение пришел, они и белого хлеба ему доставали, и сахару. И за лекарствами бегал... Эрих этот. И хоронить ходили... По человечеству, а не из любопытства, смотреть-то было нечего и не на кого. Нет, люди, как люди. Хорошие есть и плохие. А в тебе — кликушество какое-то сидит. Вот и рубишь с плеча, как солдат...

Под «нашими» разумелись три немца из полевой жандармерии, жившие в большой комнате на улице: Курт, Эрих и Вебер. Они отсутствовали иногда целыми сутками, а иногда — сидели дома днем, с темнотой же, надев на себя какие-то бляхи на цепочках, шли в патрули. В редкие свободные вечера играли в карты, пили водку из тяжелых глиняных бутылок. Подвыпив, случалось, принимались петь придушенными голосами («как удавленники!» — удивлялась Анна Ильинична, прислушиваясь из кухни). Пели, впрочем, только двое молодых. Унтер-офицер Вебер, грузный баварец с плешью, прикрытой по методу «взаимного кредита» височным волосом, — растроганно молчал и сосал трубку. Он постоянно молчал, этот Вебер, и русских обитателей домика словно и не замечал вовсе. Только раз, нарушив обычай, перепугал Анну Ильиничну насмерть: вошел в кухню и долго стоял перед кипевшим на таганке чугуном с пустыми щами. Потом резко, словно перед строем скомандовал, потребовал ложку. Попробовал, сморщился и впервые скользнул по растерянному лицу Анны Ильиничны маленькими призаплывшими глазками. С изумлением увидела она, что глазки эти смеялись.

— Gift! — сказал Вебер; тяжело повернувшись, прошагал в свою комнату и вынес кусочек копченой грудинки на ладони. — *Schneiden und reinlegen. Sofort!* — приказал он, положив грудинку около таганка, поспеел немного и отправился к себе опять.

Черненко Курт и высокий рыжий Эрих, оба берлинцы, были общительнее. Курт, приказчик по профессии, был и вовсе словоохотлив до неукротимости («Если разговорится, не дай Бог, так часами из кухни не выживешь!» — жаловалась Анна Ильинична. — «Так и сыплет, как горохом, аж пузыри на зубах вскакивают!»). Он все расхваливал жизнь при фюрере, орудя примерами и сравнениями, как товарами на прилавке.

Эрих, самый образованный из троих, не то художник, не то архитектор по профессии, старался выглядеть либералом. Беседовал он охотнее всего с Настей, так что Анна Ильинична, случалось, подтрунивала над ней, и та сердилась и пряталась от рыжего немца.

— Вы — точь в точь немецкая девушка из БДМ, — говорил Эрих Насте в конце споров. — Они такие же патриотки и фанатички в политике. Ну, что же, у каждого свои убеждения!

Однажды он, Бог весть откуда, достал и принес небольшой бюстик Сталина.

— Ist er gut, Ihr Stalin? — спросил он Настю, похлопывая по гипсовому, под бронзу, сталинскому затылку.

— Гут! — ответила она вызывающе и сейчас же вспыхнула и взъерошилась вся, готовясь к защите.

— Dann nehmen Sie ihn. Ich habe nichts dagegen.

Настя и в самом деле пристроила было бюст в спальне на подоконнике, но Анна Ильинична заметила в первую же уборку и переставила Сталина под настину кровать.

Курт и Эрих разрешили девушкам в свое отсутствие слушать радио и даже показали, где надо искать Москву («только осторожно, чтобы ни ваши, ни наши не увидели: streng verboten!»).

Когда все трое немцев уходили на ночное дежурство, Милица с Настей запирали калитку на засов, плотно прикрывали окна и «затемнение» и на корточках перед низкой тумбочкой с приемником ловили вполголоса «Информбюро» и московскую музыку. Музыка, особенно песни Красноармейского ансамбля,

захватывала до слез, сводки же, как и в первые месяцы войны, передавались невразумительные: из «боевых эпизодов» выходило, что немцам оказывается ожесточенное сопротивление, а из перечня быстро сменяющихся «направлений» — что происходит поспешное, похожее на бегство, отступление. Настя мрачнела и хохлилась.

Еще сообщалось о действиях партизан в немецком тылу, и однажды в числе прочих партизанских очагов названы были и окрестности Старгорода.

О партизанщине говорили в городе много: Гестапо арестовало полсотни подозреваемых в связях с партизанами горожан.

Возвращаясь однажды со службы, Милица встретила на улице Степку Буц, про которого рассказывали, что он в самых тесных отношениях с «лесом».

Со Степкой они вместе учились три последних школьных года. В школе звали его многие «Бычком» за коренастое тулово и манеру при разговоре гнуть, напряживая шею, голову книзу. Степка чуть заикался, чуть-чуть косил, и взгляд его темных из-под крутого подлбья глаз был тоже какой-то крутой и тяжелый. Еще тяжелее была степкина судьба. Отца его расстреляли, обвинив в троцкизме, когда Степка еще только азбуку начинал. Матери, тоже члену партии, удалось доказать свою верность «линии» и затем воспитать обоих детей — Степку и дочь, на год его моложе, — пылкими комсомольцами. Степка уже в первые дни войны попал на фронт, потом — в плен, потом по случайности, — в старгородский лагерь, откуда его выпустили, как местного и больного дезинтерией. Но ни матери, ни сестры Степка не нашел в городе: Гестапо расстреляло обеих по доносу. Теперь Степка работал чернорабочим в паровозном депо и, как говорили, при взгляде на проходящего немца начинал дрожать и стискивал зубы, чтобы они у него не лязгали.

— Т-ты что же, д-долго намерена так? — спросил он Милицу, вместо приветствия, когда они встрети-

лись, и сейчас же «сбычился», засунув руки в карманы измазанных мазутом брюк.

— Что именно — так? не понимаю, Степа.

— Шк-курничать. С-сторониться от настоящей работы.

— Что же я должна делать? И потом — я ведь всего две недели, как...

— З-знаю, что две недели. А что делать — должна сама сообразить. К-комсомолка. — Он чуть повернулся и, подкинув подбородок, посмотрел снизу вверх на девушку. Смотрел в лицо, но ей казалось, что темные глаза недобро рассматривают кого-то, стоящего за нею, сбоку.

— Если сообразишь, то я могу адрес дать, к-куда явиться. Можно было бы и сегодня... — Он помолчал, дожидаясь ответа. — П-придешь?

— Нет, не приду, Степа. Мне сейчас...

— К-как знаешь! — оборвал Степка, не дослушав, и, крутанув широкой спиной, зашагал прочь. — Потом — п-повесим! — сообщил он находку, повернув для этого голову и плечи...

— Ну, и верно, и правильно, и будем расплачиваться, вот только немцев прогонят! — закипела Настя, когда Милица рассказала о встрече за ужином. — За пассивность нашу, за то, что не помогали родине! Обязательно будем!

— Это за какую такую пассивность? — очень сердито вмешалась Анна Ильинична, подходя к столу, и даже чайник не вытерла, как всегда, со дна, а так и поставила закопченный на клеенку. — С каких это пор без девчонок родина обойтись не может? Пршлую войну без девчонок воевали, и немец дальше Польши не пошел. А теперь — и партизаны, и не разбери что, а фронт уже к Волге подбирается. Пассивность! Что ж вам — в лес, в землянки бежать? Бомбы под рельсы подкладывать? Ты мне Милицу с пути не сбивай, к тюрьме не подтаскивай. На виду живем, жандармерия под боком. И слава Богу, без

подозрений. А самой активничать вздумается — так покорнейше прошу: на другую квартиру!

**

Плинк приходил к Паншиным каждый второй вечер. Тотчас же устроился на учительские курсы — преподавать историю, получил комнату в детском приюте. Там и столовался, на приютских харчах, но все жаловался, что «калорий решительно нехватает». Как и в Орехове, завязал знакомство с двумя местными священниками и даже был чем-то вроде посредника между ними, так как они воевали друг с другом из-за приходов. Разговорами о церкви и религии он совсем пленил Анну Ильиничну, она слушала проникновенно и специально к его приходу варила котелок картошки.

С девушками Плинк не так быстро находил подходящие темы. Рассказав сводку, начинал обычно — о курсах и своих учениках. Если оставался с Милицей вдвоем — то замолкал, сидел неловко, словно собирался и никак не мог начать о другом о чем-то. Становилось неловко и Милице, и она в дни его прихода просила Настю не уходить, покуда Плинк у них, в спальню.

— Что же так? Я думала: третий лишний! — ухмылялась Настя и поддразнивала Милицу «женихом».

Это услышала как-то Анна Ильинична и, неожиданно для обеих, высказалась вдруг в защиту Плинка:

— А что плохого, если и жених? Человек хороший, я пригляделась. Годами много старше — так это и к счастливому браку иногда бывает. Сейчас, конечно, замуж не время думать. Война. А и зубоскалить тоже нечего. Не маленькие!

Чтобы занять девушек, Плинк предложил читать им лекции по русской истории. «Так, по получасику каждый раз, если заинтересуетесь».

— Ах, да, конечно, очень интересно, — уверила Милица.

— В старшей группе я сейчас до Владимира Мономаха дошел. Помните, кто такой был?

ворит, безответственные вопросы! Мы, говорит, советские люди. Нам царские фамилии знать не обязательно. Я говорю, товарищ Ленин сказал...» — и поехал! А Женю потом на комсомольском собрании прорабатывали. По его жалобе. И родителей к себе вызывал. Помнишь, мама? — Раскрасневшись от длинного рассказа, Милица закинула косы за спину и стала мешать ложечкой чай.

— Беру, беру свои слова обратно, — сказал Плинк и встал. — Что же, может быть, сегодня уж и начнем первую лекцию?

Лекций всего состоялось пять. Читал Плинк гладко, но чуть суховато, как всегда, и Милица с упреком ловила себя на том, что не слушает, а думает о своем. Чаще всего во время этих лекций — о Заряжском. Ей приходило в голову, что Плинк подражает Заряжскому в своих визитах через день и исторических чтениях. «Почему он никогда не говорит об Алексее Филатовиче? Ведь они же друзья почти? Завтра надо опять позвонить к Капсу. Если сам не придет».

Капс был зондерфюрер в немецкой городской комендатуре, на имя которого Вансович (они были земляки) обещал направить письмо от Заряжского, если получится. Узнав, что у Паншиных есть рояль, Капс набился в гости: «немножечко помузицировать» и являлся раз в неделю, худой, затянутый, похожий со своим узким бритым лицом без фаса на ножичек для резанья книг. И всегда — вполпьяна.

Играл он хорошо, но никогда не доигрывал ничего до конца, перескакивал с самой строгой классики на оперетки и фильмовые «шлагеры». Заключал же неизменно «Стенькой Разиным» и подпевал неверным баском, так выговаривая слова, что слушательницы едва удерживались от смеха. Кончив «Стеньку», поднимался и тоже неизменно всякий раз, покачиваясь, извинялся за то, что, кажется, в прошлый визит был «не очень трезвый».

— Да нет же, Ганс Карлович, — говорила Анна Ильинична, смеясь глазами. — Вы совсем в порядке.

— Теперь — возможно. Но в прошлый раз был wie... как швинья. Очень виноватый. А про письмо, Fräulein, буду сообщить sofort... в телефон...

Всё же, боясь, что Капс не разберет своевременно почту, Милица звонила ему почти ежедневно из Управления.

За пять лекций Плинк добрался до Московского княжества, а затем чтения кончились: жизнь его (недаром побаивался он покинуть лагерную оседлость) сделала неожиданный зигзаг.

**

Теплым июльским вечером Милица задержалась на кладбище: пересаживала на могилке анютины глазки, которые все никак не хотели приживаться, вяли и сморщивались в жалкие пестрые трубочки, похожие на мертвых мотыльков.

Прежде росли на кладбище громадные в два обхвата липы, могилки укрывала влажная тень. Немцы свалили липы на топливо, и теперь было солнечно, ветрено и пыльно; кладбище лежало на бугре, как старое пожарище. Лопух и крапива за одну весну взяли силу необыкновенную и совсем задавили могилы. Жалко торчали покачнувшиеся серые кресты, а на гребне бугра — облупившаяся, без купола кладбищенская церковка.

Милица несколько раз спустилась к колодцу на перекрестке, потом, кончив поливку, спрятала в бурьян между могилками консервную баночку, из которой поливала, и решила про себя, что из первой же полочки закажет непременно хороший высокий крест. Повернувшись уходить, вдруг увидела поднимавшегося на бугор Плинк. На этот раз он не прихрамывал, как всегда, а шел размашисто, без дорожек, перепрыгивая через могильные бугры.

Сегодня был не его день, дома предполагалась стирка, и Милица с неудовольствием подумала, что Плинк, наверно, возьмется провожать, и всё нарушится, и Настя будет дуться.

— Вы здесь, Милица Аркадьевна? Я заходил к вашим, и мне сказали, что вы на кладбище, — подошел Плинк, запыхавшись. Он был бледен, в поту и такой растерянный, что она сразу же заподозрила неблагополучное.

— Что с вами, Федор Федорович? Случилось что-нибудь?

— Ужасная неприятность! Убийственная! — Он провел платком по лбу и плешине и осмотрелся вокруг себя понизу. — Вы позволите, я сяду... Может быть, здесь и поговорим с вами. Без свидетелей. И прощаемся.

— Прощаемся? Вы уезжаете?

— Усылают... — сказал Плинк убито и опустил в лопухи, на бугорок соседней могилы, обвалившись плечами и позвоночником. — Может быть, вы тоже сядете? — Глаза его проползли по ее загорелым ногам, талии и заглянули, наконец, в лицо с таким выражением отчаяния, что она тотчас села напротив, подернув на коленях красное белым горошком платье.

— Кто вас усылает, Федор Федорович? Куда?

— В Сухое... Сто километров отсюда. Как снег на голову! Я тут предпринимал кое-что. Вам не рассказывал. Думал — потом, когда получится. И вдруг все дело вверх ногами перевернулось. Всё прахом пошло.

Перевернувшееся вверх ногами дело заключалось вот в чем:

Удрученный голодными сиротскими харчами, Плинк стал раздумывать, как бы организовать жизнь «чутьочку посытнее». Ему посоветовали подать просьбу о натурализации, т. е. о принятии в немецкое подданство на том основании, что, как он всем теперь рассказывал, отец его был немцем. Просьбу удовлетворили и направили его — по специальности — в распоряжение армейской пропагандной роты, так называемой ПК.

Начальник русского отделения ПК, уже немолодой лейтенант, принял его любезно, но деловито («Такой, знаете, сухой и фанатичный служака, из русских нем-

цев») и зачислил в свой штат. «С сегодняшнего дня, объяснил он Плинку, вы — немецкий военнослужащий. Будете получать военный паек, обмундирование, жалованье и — работать, работать... на пользу обоих наших великих народов! Мне кстати крайне нужен сейчас переводчик и пропагандист для населения — в Сухое. Вот и поедете туда завтра, с машиной. Нет, нет! — категорически отвел он робкие протесты Плинки. — Отговорок не принимаю, приказ! Ваши личные обстоятельства меня покуда не интересуют. Да и какие могут быть у вас личные обстоятельства? Вы ведь одиноки? Нет, нет, здесь вы мне не нужны. Прошу подготовиться к отъезду!»

— И вот завтра утром — прощай, Старгород! Машина отходит в шесть. И нет отступного. Я в отчаянии...

— Ну, да... Вы так привязались уже к курсам, к ученикам.

— Ах, вы меня убиваете, Милица Аркадьевна! — вскинулся неожиданно Плинка, и отвисшие его щеки подтвердили. — Неужели вы на самом деле не понимаете, почему я... что заставляет меня так переживать этот внезапный отъезд? Курсы! Ученики! Да разве это меня здесь удерживает!

— Я думала, что...

— Вот вы покраснели. Значит, знаете же истину. Вас, а не курсив и учеников, тяжело мне лишиться. Ради вас я бросил лагерь, ради вас осел в этом городишке. Кроме вас, я теперь ни к чему не привязан в жизни. Я молчал, откладывал объяснение со дня на день. В лагере и потом здесь... Но вот стряслась эта высылка — и я должен, понимаете, — должен объясниться.

Всю тираду произнес Плинка напористо, совсем непохоже на себя и, как показалось Милице, чуть по-театральному, словно заранее слова выучил. Но все-таки — искренно, и ей сделалось очень неловко. Отвернувшись, она смотрела на пыльные в дырках лопухи между могилами и думала, что же сказать и что последует дальше.

— Вы ведь не могли не подозревать о... о моем к вам чувстве! — продолжал Плинка, передохнув. — Это было бы недобросовестно с вашей стороны — утверждать, что вы никогда и не ожидали моего объяснения. Я знаю: вы знали, и я потому...

У Милицы чуть поднялись брови, и он осекся.

«Причем тут недобросовестность? Я ведь ничего не делала, чтобы... Ну, конечно, подозревала, что он может когда-нибудь... Особенно — в лагере. А потом, когда выяснилось, что Алексей Филатович жив, так и совсем забыла. Как он не понимает?»

Между Милицей и Заряжским никогда не говорилось о взаимной привязанности. Милица затруднилась бы даже обозначить эту привязанность словами: но ей казалось, тем не менее, что окружающие должны же знать... Особенно — Плинка. «Как же он может?.. Нужно ответить, откровенно. Обязательно откровенно ответить. Но, Господи, с чего же начать? Вот Настя на моем месте никогда бы не растерялась, счастливая...»

— Только ради Бога, Милица Аркадьевна, — быстро и будто испуганно заговорил Плинка: — Вам сейчас не нужно, ничего не нужно отвечать. Пожалуйста. Я не задаю вам вопроса. — Он опять передохнул как-то порывисто, с захлебом. — Обдумайте всё про себя сначала. Неделю, две... Я знаю: девушкам труден выбор. Я очень не молод. Но было же у вас ко мне что-то, я чувствую... Вы подумайте, поговорите с вашей матушкой. Через две, ну — три недели, больше я не выдержу ждать, — дадите ответ. Напишите или вызовете меня к себе. Вот о чем прошу вас. Обещайте мне это!

«Слава Богу, — подумала Милица с облегчением. — Написать — это уже проще. Конечно же, напишу ему, придумаю...»

— Хорошо, — сказала она и приподнялась неуверенно.

— Нет, еще минуточку, умоляю вас! — задержал Плинка за локоть (пальцы его были холодны и дро-

жали). — Есть еще одна просьба, дополнительно. В надежде на доброе сердце ваше...

«Что же еще?» — поежилась Милица. Плинк волновался так, что ей и жалко его и стыдно за него было и досадно, что затягивается неловкий этот разговор.

— Право, не знаю, как и изложить, чтобы вы не... — торопился Плинк. — У немцев есть хорошее выражение "Jawort". Знаете? Обещайте, что вы не скажете этого Jawort никому другому в течение этих трех недель, этого нашего испытательного срока... Никому, не поставив меня в известность, что моя кандидатура бесповоротно отклоняется.

Если бы у Милицы в школе были хорошие учителя словесности, она наверно улыбнулась бы, слушая канцелярские обороты, почему-то намернувшиеся Плинку на язык. Но ее учителя были сами стилисты слабые, поэтому дошло до нее только странное содержание просьбы.

— Ведь это уже лишнее, Федор Федорович! — удивилась она.

— Нет, не лишнее. Это мне страшно важно. Необходимо для спокойствия там, в Сухом... И еще, — летел он, как на тройке, — обещайте, покуда вы будете решать, эти три недели, месяц, — не дарить никому вашего внимания, особого внимания, не рассердитесь только! — ваших досугов, бесед, случайного поцелуя, наконец...

Милица поднялась так решительно, что Плинк и сам, как подколотый, выскочил из своих лопухов.

— Бога ради, не обижайтесь, Милица Аркадьевна! Я преклоняюсь перед вашей нравственностью. Конечно, с моей стороны это дурь, может быть и дерзость. Но вы представьте: внезапное одиночество, тоска, мысли, тревога, ожидание. Обещайте вот здесь, на могиле вашего отца, — и я утешен. Я буду ждать спокойно... Обещаете?

Он сложил умоляюще ладони, и обе дрожали. Необычайно блестящие глаза бегали по милицину лицу, шее, платью, ногам, — всей ее яркой в смуг-

лом закатном воздухе фигуре. Она никогда не видела Плинка в таком возбуждении, никогда не смогла бы раньше представить его таким. Неловкость сменилась в ней вдруг чем-то, похожим на отвращение.

«Он сумасшедший! Чего ради должна я ему что-нибудь обещать? И причем тут папина могила? Как неприятно, вот не думала! Надо, однако, как-нибудь кончить это гадкое объяснение. Ну, пусть, в конце концов, как он хочет... Господи, Насте обо всем даже и рассказать нельзя...»

— Хорошо, обещаю, — сказала она с крепкой досадой. — И теперь — мне пора!

— Спасибо вам от всего сердца за это утешение! — раскланялся Плинка снова чуточку театрально. Последний поклон пришелся уже в пустоту, потому что Милица уходила.

— Я провожу вас до моста, если позволите. А там и распростимся.

10.

Только в середине июня Заряжский с «Каруселью» вернулся в Б. Поручив Володе чемоданчик, он прямо с вокзала направился к Талю, на противоположный конец города. Солнце уже село. Пахло липой и сумерками. Еще — крапивой, буйно разросшейся по развалинам. Улицы в центре были пусты, как и безглазые дома. Город жил только на окраинах.

«Не может быть, чтобы Таль еще не получил письма: Вансович должен же был ответить! А мне не переслали — просто потому, что не случилось okazji...»

Заряжский долго стучал в дверь крылечка, и никто не отзывался. Потом распахнулось окно в палисаднике и высунулась голова с помятым лицом и темными с проседью волосами. И плечо одно высунулось — с узким серебряным погоном.

— Вы кого хотели бы? — спросил незнакомый зондерфюрер. — Если господина Таль, то его не будет.

— Он не ночует сегодня дома?

— Он в отпуске. И вообще... Да, но скажите сперва, по какому вы делу?

— Я сейчас только вернулся из поездки, с группой, и хотел поговорить...

— Ах, это — артисты? Тогда подождите немного, я стану открывать.

В комнате Таля стояли на столе неприбранные тарелки, пустые и недопитые бутылки. Хозяин, видно, спал, когда постучались. Двигался вяло, в маленьких умных глазках его стояли скука и безразличие.

— Моя фамилия Берг, — сказал он, потягиваясь, и подвинул Заряжскому стул. — Мы тут, знаете, закусывали немножко, и все уходили, а я потом отдыхал. Да, господин Таль должен был приехать уже к десятому, но получилось другое: его отправляют на одни курсы. Что? Нет, знаете, больше не вернется. Его заменять буду я.

— Вот неудача! Как же мое письмо? — выговорил Заряжский вслух, что подумал.

— Bitte?

Заряжский объяснил, что вот уже больше месяца ждет известия, которое должно прийти на имя зондерфюрера.

— Тут почты для него целая куча. Он как раз желал, чтобы я пересылал ему все это в пакете. От какого Feldpost ждете вы для себя? А, так... Сейчас можно посмотреть. — Посапывая, он стал разбирать на столе грудку писем.

— Да, вот как раз есть с таким номером, — завертел он в пальцах зеленоватый конверт, и Заряжский сейчас же узнал мелкий почерк Вансовича. — Но я, все-таки, знаете, не могу вам его передавать. Тут ничего, никакой пометки, или в скобках — вашего имени...

— Досадно. Я и почерк узнаю. Письмо определено для меня. Сам зондерфюрер Таль и не знаком с отправителем.

— Всё-таки, — заключил Берг решительно, и у Заряжского даже в груди заныло, когда зеленоватый конверт снова улегся в грудку.

— Всё, что я могу делать, — это задержать эту штуку при себе, а господина Таль спросить письменно, — сказал Берг, посмотрев на мрачное лицо Заряжского.

— Сколько же это пройдет времени приблизительно?

— Ну, до Берлина и потом сюда... Две недели, если он сразу ответит.

— Так напишите, пожалуйста, — вздохнул Заряжский и поднялся.

— Две недели вы ведь здесь пробудете. Я говорил с генералом. Он желает, чтобы вы готовили новую программу. И потом опять ехали. Очень заботится о зрелищах для населения. Хочет еще и немецких артистов выписать. "Europäische Kultur nach Osten", — пояснил Берг намерения генерала, и в умных его глазах вспорхнула насмешка. — А для меня вы, пожалуйста, коротенький письменный Meldung сделайте. О поездке. Завтра я зайду сам познакомиться с артистами...

«Kultur nach Osten! Kulturтрегеры!» — с досадой не то на Берга, за письмо, не то на немцев вообще думал, возвращаясь домой, Заряжский. «Удивительно неуниверсальна всё-таки гитлеровская диктатура по сравнению с нашей! Никакого у людей единообразия в мыслях!» Он припомнил с десяток немецких комендантов местечек, где пришлось выступать. Почти все приглашали артистов к себе после концерта, расспрашивали о России, о большевизме, — и все были разные. По-разному представляли себе войну, русских, что будет после победы, в которой не сомневались. Некоторые выглядели откровенными чингис-ханами в европейских проборах, завоевателями рабочих рук и «жизненного пространства». Один майор, подвыпив, совсем ошеломил гостей, пригласив их «через пару лет» в свое будущее симбирское по-

местье, которое рассчитывал получить после окончания войны.

Иные оказывались поскромнее и, удовлетворив аппетит, готовы были убраться восвояси. «Что вы дали бы нам за то, что мы вас освободим от большевизма?» — спросил Заряжского другой майор, трезвый. — Правобережной Украины не жаль будет?»

Третьи казались или прикидывались идеалистами, рыцарями-крестоносцами в борьбе с коммунизмом, или культуртрегерами, вроде здешнего генерала. Четвертые, самые многочисленные, — были просто солдатами, выполняющими приказ. В целом же у всех отсутствовала руководящая идея, было много сумбурного, наивности и политического невежества.

“Europäische Kultur nach Osten!” — повторил Заряжский, заворачивая в узкий обозначенный по углам двумя пожарищами переулок к дому.

**

Дома (после месячного кочевья это в самом деле был «дом», несмотря ни на что) два дня отдыхали. Девушки чистились, стирались, по вечерам уходили в кино с тем выбором сопровождающих, который обозначился за поездку: Нина с Майским, Тася — с Володей и Дуниным (очень была равнодушна, хотя, кажется, володины шансы последнее время падали). Заряжский, пользуясь тишиной, принимался за новый скетч для очередной программы. Писалось плохо, а когда все возвращались, писать и вовсе было немислимо: даже после «отбоя» лезли в комнату через все щели шопоты.

Володя, самый тихий из всех, вечерами мешал особенно. До «отбоя», примостившись под оранжевой лампочкой, долго писал в тетрадку с кудрявой надписью на обложке «Дневник Володи Ленского-Заботина». Потом, улегшись, начинал, очевидно, переживать записанное.

— Когда ты угомонишься, дьявол? — ворчал Дунин с матраца у лежанки. — Ворочается, ровно его поджаривают. И сыплется из твоего тюфяка чер-

товщина какая-то! Хоть бы Александр Иванович тебя сверху чем-нибудь пнул. Жаль, заснул, кажется.

— Да, вот тебе хорошо... — говорил Володя жалобным шопотом. — Тебе номеров не выдумывать. А я вот никак не выберу. Хочу что-нибудь драматическое... из декламации. То ли «Стрелочника», то ли «Сумасшедшего» Апухтина. Никак не могу остановиться.

— Останавливаться строго воспрещается.

— Остричь ты умеешь, а вот посоветовать...

— Так совета днем проси, псих! Сейчас я спать хочу.

— Будто тебе уж и ответить трудно. Или ты, может, не знаешь «Сумасшедшего»? Не слышал?

— Ясное дело, слышал. Штука стоящая. Крой!

— Хорошо бы — в костюме. Халат больничный бы...

— В ночной рубаше и подштанниках. Здорово получится.

— Остри, остри... ботинки вот тоже прохудились, из левого пальца торчат.

— Носки надень. Черные.

— Носков нет.

— Гуталином помажь поверху, и дело с концом. А в общем уймешься ты или нет, блаженный чорт!

«Блаженный чорт» умолкал на минуту и потом снова свешивал с лежанки голову.

— Как ты думаешь, Дунин, — спрашивал он самым тишайшим шопотом, — может быть, что-нибудь лирическое громыхнуть?

Укрощал Володю обыкновенно Ромм:

— Влюбленные умеют молчать не больше, чем пушка на позициях, — провозглашал он с печки. — Ты, Володичка, влюблен и потому бессонничаешь. А что касается стихов, так — свое возьми. Вон из того, что посвящал Тасе. Как это у тебя...

— Александр Иванович! — подскакивал Володя.

— «Ах, как хорош был, Тася,
Ваш поцелуй вчерася!»

— Или что-нибудь в этом роде. Стишата хоть куда!
И выступи!..

.
Заряжский дня два уходил на прежнюю свою квартиру и кончил все-таки скетч. Генерал передал через Берга пожелание, чтобы программа в части танцев и музыки содержала, главным образом, «народные мотивы». Стали срочно искать, вспоминать и разучивать старые песни.

Как и прежде, вечерами приходил Духоборов. Столовая никак не шла ему на пользу: он выглядел все таким же тощим, и где-то раздобытый пиджак полоскался на нем парусом. Настроение было и того хуже. Валя, оказывается, снова нашла себе покровителя из немцев, с вечера закрывалась с ним в своей комнатушке, и Духоборов оказывался не у дел. Он бодрился, уверял, что это — в порядке вещей и не нарушает их привязанности, что «девкам с такими ляжками и темпераментом необходимо разнообразие», но, видимо, тосковал.

— Ну, какого чорта вы эту дрянь разучиваете? — спросил он, прослушав хоровые вещи. — Ведь всё бездарь выбрали. Искусство унтерменшей!

— Вот тебе раз! Чем же, например, «Березонька» плоха?

— Как раз вот — «Березонька». И Чайковский ее в какую-то симфонию втиснул. — А что хорошего? Одни слова чего стоят.

«Во поле березонька стоя-а-ла», — загудел он, вытянув шею и сделав бессмысленное лицо. — Ну, ладно, стояла. Не успели, значит, на дрова сковырнуть. И наслаждайся ею, если уж про пейзаж запел! Так ведь нет: у унтерменша совсем по-другому мозги работают: «Некому березу заломати!» — Вот о чем он сокрушается. — Разве не идиотство?

**
*

Новая программа была готова. Заряжский даже расписание составил гастролей по району — улучшенное, чтобы избежать лишних концов. Ждал с трево-

гой, что раньше получится: ответ от Таля с разрешением прочитать письмо Вансовича, или приказ о выезде. Но с приказом медлили.

Наконец — это было уже в начале августа — явился Берг. Поздно вечером, когда уже все спать разместились.

— Вы не могли бы со мною — во двор на минуточку? — сказал он Заряжскому. — Имею кое-что важное...

— Завтра вам уже надо ехать, — сообщил он, когда они вышли из домика. — Но не в наш район, а немного дальше. Так получилось, знаете, что мы вас продали.

— Это как же?

— То есть не то, что продали, но, так сказать, сдавали в аренду. В соседней Corrück — тыловой штаб смежной армии по-русски. Они нас уже две недели об этом просили. Генерал всё не хотел, а сегодня вдруг согласился. Маршбефель — вот, получите. Поезд — в семь или восемь утра. Людей поднимайте сейчас или завтра рано, как хотите, я нарочно поэтому сюда вызвал...

— Куда же ехать? Написано в маршбефеле?

— Ну, там — только номер части. Считается военная тайна у нас. Но я вам скажу, конечно. До отъезда надо еще достать Marschverpflegung. Я распорядился.

— Что же, на-совсем мы едем или — как? Вы сказали: в аренду. У нас есть ведь и местные.

— Только на месяц. Они нам клятву дали, что возвратят вас обратно. Кстати: насчет вашего письма не тревожьтесь. У нас с этим Corrück связь через день курьером. Я вам тотчас отправлю. Вот и всё. Теперь желаю успеха и — до свиданья, через месяц. Пойду спать. День сегодня удался тяжелый.

— Вы хотели — город...

— Ах, да, город! — Старгород. Это, знаете, выше на север. Только своим сообщайте, пожалуйста, потом, уже в дороге...

Старгород встретил ливнями и подплывшими улицами: на окраинах — вязкими, в разбитом центре — в рыхлых затоплявших мостовую озерах. Комендатуру, оказывается, недавно разбомбило советским налетом, и ее надо было искать в пригороде, в разбросанных по бугру хатках. Оттуда послали в ПК, и пришлось снова топтать через весь город сквозь дождь и торчавшие всюду, вдоль и поперек тротуаров, машины. Промокли до нитки, когда добрались до трехэтажного кирпичного «Дома крестьянина», где помещалась пропаганда. Было в нем четыре подъезда, и, как всегда, первые лестницы оказались не те, и только последняя — настоящая.

— Жду вас с утра! — поднялся навстречу Заряжскому пропагандный офицер («лейтенант доктор Брилинг» — стояло на двери его комнаты). — Квартира для вас уже готова. Вам сейчас провожатого, — он позвонил. — А знакомиться будем после, теперь — сушитесь и отдыхайте.

— Пока засветло, — продолжал он, когда на звонок явился солдат, — присмотрите себе бомбоубежище поблизости. Большевики вот уже с неделю, как бомбят нас по вечерам. Вернее, не нас — свое собственное население, но все равно, предупреждаю. Если тревоги не будет, завтра в десять прошу ко мне. Всем ансамблем. А налетят — тогда после обеда, в два. До свиданья!

Солдат отвел промокший «ансамбль» через какой-то полувырубленный сад с машинами и высокое шоссе — в маленький домишко за шоссе с насыпью, в низине, к которому уже прильнули сумерки. На крыльце висела вывеска «Nur für Wehrmacht», а внутри стояли двухэтажные немецкие койки с ажурными ошестинившимися соломой тюфяками.

Просохнуть и отдохнуть, однако, не удалось: едва распределились, затянула сирена — надо было прятаться. Все снова оделись, вышли и рассыпались в темноту.

Заряжский еще по дороге из ПК заметил недалеко от дома протыкавшую шоссе́нную насыпь трубу. Туда и отправился с Роммом и Светланой.

В трубе понизу текла жидкая грязь, поверху — сквозняк; стоять можно было только согнувшись. Едва спрятались, затыкали зенитки, заухали, захлебываясь собственным ревом, тяжелые «фляки». В трубе откликалось так гулко, что не было слышно, рвались ли бомбы. «Как они могут бомбить в такую погоду?»

Грохотало с перерывами за полночь, и наутро чуть обед не проспали. Затем стали готовиться к явке по начальству, но Бриллинг пришел сам.

Он поговорил с каждым из карусельцев в отдельности, а затем неожиданно держал речь ко всем. «О задачах, — как он сказал, — нашей общей борьбы за освобождение России».

Говорил Бриллинг сжато, напористо, и так чисто по-русски, что только сама правильность выговора — без местной живой окраски — звучала чужевато и обличала немца. Деловит и напорист был он, видимо, и характером. По жестко вырезанному, суховатому лицу Заряжский определил было его в категорию «служака», но передумал и отнес к «энтузиастам». «В чем только его конек, интересно? Ну, потом увидим».

— Наши немцы, — говорил Бриллинг, крепко жестикулируя и так же крепко ударяя, словно подковывая, отдельные слова, — не знают России. Явились сюда неподготовленными. Представления о русских людях — никакого. «Русский» и «большевик» для них синонимы. Трагическая ошибка! В результате — разрыв между нами и населением. Непонимание, недоразумения, обиды...

Исправить это может только разумная пропаганда, правдивая пропаганда. Среди немцев провожу ее я. Среди русских — должны проводить вы и все честные русские люди, которые понимают, что враг у нас один, общий: большевизм! Вас я тоже считаю пропагандистами. Вы тоже должны способствовать

контакту в освободительной борьбе. Быть посредниками между нами и населением. В этом смысле наша пропаганда — великое дело, святое дело!..»

«Ага, вот, стало быть, конек!» — подумал Заряжский. «Что ж, хоть какая-то есть идея!»

В завершение Брилинг прочитал план работы группы на ближайшие две недели. «К сожалению, в городе начинать нельзя, из-за тревог. Придется по окрестностям. А сегодня займитесь бомбоубежищем. Лопаты получите у нас. Надо соорудить свое, надежное».

До вечера нарыли немного: глина плыла, дождик побрызгивал не переставая.

Только на утро обернулось по-летнему. Небо заголубело. Шоссе, дома и развалины заполоскались в солнце.

После обеда Заряжский с Володей пошли осматривать город.

Старгород захирел уже несколько столетий назад, а когда-то цвел и упоминался в самых древних наших летописях. Как во многих старых русских городах, от седой древности не осталось в нем почти ничего: дома, каменные в центре, а кругом повсеместно деревянные, вряд ли и три четверти века за собою насчитывали. Один монастырь выходил дедушкой, да и тот в теперешнем обличьи стоял лишь с начала восемнадцатого столетия.

Лежал город красиво: на двух крутых холмах, перерезанных оврагом. В незапамятные времена текла по оврагу речка Овражная и впадала в большую, судоходную, к которой, собственно, и пристроился город. Но большая отползла в сторону и перестала быть судоходной, а Овражная усохла в ручеек — он едва бежал теперь, жалкий, цвета кофе с молоком, в ивняке, хлибких там и сям сходнях и мусорных свалках по глинистым берегам.

Монастырь лепился по скату, как огромная статуэтка из терракоты. На низкие в зубчиках стены облакачивались клены, уже чуть тронутые желтизной.

Ниже, к обрыву, росла рябина, сквозил березнячок, тоже чуть с позолотцею, и между сочными глинистыми плешинками — какой-то кустарник, зеленый, бурый и фиолетовый. Всё вместе, после вчерашнего дождя, выпевало такую гамму красок, нежных, мягко подсыхающих на солнце, что трудно было не заглядеться.

Заряжский долго стоял на мосту, перекинутом от монастыря к другому берегу оврага. Грохотно прокатывались по досчатому насту колеса, цокали кованные солдатские каблуки, сыпались возгласы на чужом языке, — и все это было так суетно и тревожно в сравнении с лежащей напротив солнечно-акварельной тишиной.

Старая Русь угадывалась все же в городе, дремала не в старине зданий, а в том, как просторно, в вековом своевольном беспорядке рассыпался он кривыми улочками по холмам и прибрежным скатам. Полтысячи лет назад, верно, разбежались от монастыря к оврагу, как овцы от пастуха, маленькие эти домишки и посейчас — вразброде, на тех же самых местах, и баньки вот, бревенчатые, почерневшие, под самой кручей, — наверно и сейчас такие же, какими были во времена княжеских усобиц.

В новейшей, каменной части города, на противоположной монастырю стороне, каждый третий дом сгорел или был развален бомбами. Здесь начали понемногу расчищать: по развалинам, под охраной немцев с винтовками, шевелились люди в шинелях — пленные, собирая кирпич, но там и здесь груды щебня напоздали отмелями на тротуары и мостовую, мешали ходить.

Смотреть было нечего, все выглядело жутко, заброшено, хотя на въездах расставлены были пестрые указатели и на углах домов поблескивали дощечки с новыми названиями улиц: улица Вагнера, Гайдна...

— Скажите, Алексей Филатович, — спросил вдруг Володя (как-то необыкновенно долго для своего обычая молчал до сих пор): как, по-вашему, этот офицер, — вот, что вчера о немцах и большевиках

рассказывал, — любит он в самом деле русских или так только, из пропаганды, треплется?

— Не знаю, Володя, любит или нет. Не разглядел еще.

— Нет, я — в том смысле, что не могут же немцы нас так, задаром, освобождать? Другую имеют цель, наверно... Чтобы из-за идеи — непохоже что-то. Я сомневаюсь.

— Как эта улица называется, посмотрите-ка? По которой идем?

— Улица Хорста Весселя, — прочел Володя с синенькой дощечки.

— А вы знаете, кто такой был Хорст Вессель?

— Н-нет...

— И я не знаю. Немец во всяком случае. А город этот — наш, не немецкий. И не пограничный какой-нибудь, а русский искони. Вот вам и ответ на ваши сомнения...



Через день выступали в загородном лагере беженцев, эвакуированных с какого-то участка прифронтовой полосы. Кончили уже совсем затемно. Все пошли домой по шоссе, и Заряжский отстал нарочно: хотелось побыть одному.

Было тихо. В небе вызвездило ярко, чисто и уже как-то по-осеннему: начинался звездопад. Тускло поблескивало шоссе, а дальше по сторонам тонulo во мраке. В бесформенных силуэтах впереди не угадывалось затемненного до последней щелочки города. Только изредка — должно быть, у заставы, на переезде, — мелькали волчьими зрачками замазанные фары машин.

Заряжскому вспомнился сегодняшний разговор с Володей в городе... Вот теперь эстрадная группа — в ведении немецкой пропаганды. Ну, хорошо, большевики — враги. Но что всё-таки за попутничество между ним, например, Заряжским, и — Геббельсом? До каких именно пор им — по пути? И вообще — по пути ли? Что делать? Какая в самом деле головоломка — найти себе место в этом немислимом лаби-

ринте событий и отношений! За проволокой было много проще. Бездумное такое выжидание. А сейчас...

Быстрые, почти бегущие шаги за спиной, — и Володя, запыхавшись, догнал Заряжского.

— Вот хорошо, что далеко не успели уйти. Там, у заставы, постовой, а я пропуск забыл. Знаете, Алексей Филатович: это ведь не только эвакуированные с фронта там, в лагере. Большинство — из партизанских районов. Их выселили как подозрительных, просто выгнали из домов. Ох, и плач там! Все обступили, расспрашивают. Насилу вырвался.

Подошли к переезду, сказали пропуск; маленький, похожий на копну в своем бурнусе часовой пропустил за шлагбаум, в черту города.

— Вот чудно: сегодня ясно, а не налетают! — сказал Володя, разглядывая небо.

Словно откликаясь ему, откуда-то с другого конца города сорвалась и взмыла вверх сирена.

— Успеем мы, Володя, до начала? Здесь ведь как раз рядом со станцией идти нужно?

— Доскочим. Только неужто вы, Алексей Филатович, опять в трубу полезете? Там ведь грязь, мерзость. Вы знаете, я в первый же вечер, как приехали, отличный бункер нашел. От нас недалеко, в переулке. Там старик со старушкой хозяева. И еще приходят к ним соседи, через улицу. Вот и давайте туда.

— А не будут они недовольны, что вдвоем явимся?

— Да нет, сами звали приходиться. Славные такие, вот увидите. И бункер крепкий. Наши красноармейцы откапывали.

Они прошли еще с полкилометра шоссе, и сзади обозначился, нагоняя, недобрый, прерывисто-ухающий гул.

— Наши всегда так ухают, слышите? — Володя шагнул с обочины на насыпь. — Сюда, Алексей Филатович, здесь ближе! И давайте нажмем. Сейчас начнется.

Навстречу наплывающему гулу вытянулся вдруг молочно-серебряный палец прожектора, толкнулся в

облачко, до сих пор незаметное, прососал, выщупал его кругом, покивал в стороны, будто погрозил кому-то и погас. Два других возникли по сторонам и скрестились, как мечи, в звездном куполе. Мгла под ними насторожилась, замерла...

— Вот через этот плетень, Алексей Филатович! Не обстрекайтесь только, тут крапива. А вон за грядами и бункер, видите?

Это был, в самом деле, настоящий бункер, только потом переделанный в убежище. Отрыли его на бугре для какого-то орудия, в форме ракушки. Поверх траншейки торчала белая чья-то рубаха и белая же закинута кверху борода.

— Здорово, дедушка! — крикнул Володя еще издали, перепрыгивая через капустные грядки. — Вот пришли к вам вдвоем спастись. Не выгоните?

— А чего — места хватает. А нет — так и потеснимся, раз такое дело. Сегодня, надо полагать, дадут жизни! Видимость хороша.

Татакнул пулемет, выплеснув в небо золотистую прерывистую пулевую струйку. Тявкнула зенитка, чуть не подбоком, другая — подальше.

— Началось! — сказал старик в траншейке и перекрестился.

— Митрофаныч! — позвали из бункера. — Ну чего ты там в белом проклажаешься? Привлекаить ведь. Залезай, Бога ради, не юродствуй.

— Кого ж я привлекаю-то? Ночью? Тебя, что ли? Так то раньше было, матушка, — отозвался старик и снова задрал вверх бороду.

Громыхало уже повсеместно. Как в судороге, билась поземная мгла, швыряя в небо огоньки разрывов. В ответ на неприветливую эту встречу отлипла откуда-то из-под звезд бомба, провизжала вниз, грохнула где-то далеко, за вокзалом, качнув воздух.

— У вас фонарика нет? — обернулся Володя, ныряя за стариком в черноту бункера. — Тогда подождите, я сейчас зажигаю... «Ширк-ширк!» — крутанулось колесико, но огня не вышло, только искры повыбрызнулись. И все же можно было разглядеть,

что бункер был тесен чрезвычайно. По сторонам, на чурбачках, сидели по-двое; поглубже, в узком простенке, тоже высветились на мгновение чьи-то в темных чулках ноги. Свободного места оставалось совсем чуточку, только посередине.

Заряжский сделал шаг и опустился осторожно, упираясь ладонями, на насланную по полу солому. Одна рука его задела при этом что-то пушистое, вздрагивающее. Он отдернул руку, сдвинулся чуть в сторону и снова задел — на этот раз головой — за высокие за спиной коленки. Подобрался еще немного вперед и вытянул ноги.

— Вам удобно, Алексей Филатович? — спросил Володя.

Ответить Заряжский не успел: сверху — казалось, прямо над их головами, с зенита — сорвалась другая бомба и заскрежетала, падая. словно гигантское какое-то полотнище из необычайной толщины суровья разрывали с неба до земли и чем ниже, тем неистовее...

Хуп! — качнулась земля и замерла, ожидая взрыва. Секунда, другая, третья... и еще сколько-то секунд протекло, покуда из омертвелой тишины, как цыпленок из яйца, не проклюнулась догадка, что бомба упала вхолостую.

— Да не дрожи ты так, Дезька! глупенькая... — сказали над головой, и вряд ли вздрогнул бы Заряжский сильнее от взрыва, чем теперь, от этого голоса.

— Милица!

Нежные ладони скользнули по его щекам, легли на виски, обхватив лоб пальцами, притянули голову к высоким коленкам.

Он чуть повернулся щекой, и губы встретили ласковое сочившееся сквозь холодок чулка тепло.

11.

Бои на фронте шли уже за Воронеж — к северу и за Армавир — на юге. Бесконечными эшелонами катились через старгородский узел людские попол-

нения и снаряды. Должно быть, поэтому налеты с востока не прекращались.

Каждый вечер, в половине восьмого, Заряжский шел в пропагандную стражу узнать пароль и оттуда — в маленький, запятушкой, переулочек за шоссеиной насыпью. Под предлогом, что готовит новый материал для программы, оставался дома и в те вечера, когда группа выступала где-нибудь в окрестностях города.

Если не случалось тревоги, все сидели в столовой с фикусами. Электричество часто отказывало, и Заряжский приносил с собою немецкие стеариновые плашки. Свет этот — от плашки и лампадки в углу — разливался по комнате таким уютom, что никак не хотелось подниматься и уходить, — засиживались до полночи, покуда Настя, захлопнув какую-то педагогическую премудрость в толстом переплете, не уходила спать, а Анна Ильинична принималась выжидательно посматривать на Заряжского.

В вечер встречи сидели и вовсе до рассвета; отбой дали поздно, а потом рассказывал Заряжский про свои полгода в Б., а Милица — про житье ореховское. Почему-то, рассказывая о приключении с письмом, она хоть и упомянула, что Аристова «уговорил как-то Федор Федорович», но о «жениховстве» Плинка не сказала ни слова, и Анна Ильинична посмотрела на нее подозрительно, а Настя даже пыталась вставлять какие-то коварные замечания. Милица покраснела и начала сбиваться.

— А уж уезжать ему, бедному, отсюда не хотелось! — дополнила Анна Ильинична повествование про Плинка. — Как на казнь ехал! Через недельку приезжал за книгами какими-то, у нас ночевал, и все плакался на одиночество.

— Вот как? Останавливался у вас? — переспросил Заряжский...

.

Заряжский признавался сам себе, что переживал теперь «вторую молодость». Милица входила в него, теперешнего, плотно, как вздох. Подкидывая лишних

полсотни раз на дню руку с часами, понимал, что это — из-за ожидания встречи. После, идя вечерними, пустынными и гулкими, улицами, замечал вдруг, что почти бежит и взволнован, как студент. Нелепо! Между ними оставалось всё, как прежде, невыговоренным. А что если Милице и нечего высказать ему, кроме... ну, благодарности, что ли? Иногда ему казалось, что она мучительно решает что-то про себя и словно избегает оставаться вдвоем. Избегает? Почему? В лагере была будто ближе. Но там хозяйничала мрачная романтика стихии, замлетрясения, жизни «одним днем», оправдания случаем. Здесь же... Странно, до чего она другая здесь, дома. Ни робости этой, ни беспомощности. Впрочем, может быть это и время делает, не только домашняя обстановка: скоро год, как мы встретились, и испытать пришлось столько... Но все же: что дальше? Гнусное время, негодное ни для каких решений! — Он со страхом думал о том, что, может быть, скоро снова придется уехать отсюда. Так и уехать без решения... Ах, вздор! Всё ясно. Только не мальчишествовать — и пусть подскажет, раскроется сама... само...

В тревогу Анна Ильинична торопилась в бункер, а остальные шли во дворик. Обе девушки несколько не боялись бомбежек («меньше, чем я, беспокоятся, вот конфуз!» — думал Заряжский). Милица избегала бункера по беззаботности и еще — потому, что «не слышно там, как пролетят и всё кончится»; Настя же, разумеется, — из преданности «нашим летчикам», которые «знают, где бомбить; куда не надо — не станут сбрасывать!»

Во дворике цвел теперь табак и так пах в темноте, что трудно было дышать. Заряжский с Милицей усаживались на скамейке у досчатого забора, Настя — на порожке крыльца, лицом к пропеллерам: считала залеты, свечи, бомбы и угадывала попадания. В разговор на скамейке вмешивалась только, если касался он войны или политики.

Однажды они крепко поспорили с Заряжским.

Ночью у монастырского моста убили немецкого караульного солдата. Его нашли при смене с перерезанным горлом. Гестапо в тот же день арестовало человек двадцать. Говорили, что их долго и жестоко допрашивали, ничего не узнали и расстреляли потом половину как «заложников». Еще говорили, что убийство караульного — дело рук Степки Буц, который вдруг исчез из своего депо и из города.

— Он ненормальный, Степка, — вздохнула Милица. — Сколько ужасов из-за его глупости. Ну, зачем было этого несчастного убивать?

— Начинаются сентименты! — фыркнула Настя с порожка. — «Несчастливого»! — Он враг, захватчик... Всех их уничтожить, без исключения!

— Так почему же именно — этого? И потом: пострадали же и другие, невинные, ты сама рассказываешь...

— Кто знал заранее? Хоть и известно, что звери... А «несчастливые» у тебя все. Помню, наши как-то дезертира расстреляли, в первые еще дни. Тоже у нее оказался «бедненьким». Расчувствовалась!

— Так ведь не расстреляли, а застрелили. Как собаку. Знаете, Алексей Филатович: и нарочно положили у тротуара, на улице. И дощечку рядом: «изменник родины». Солнце печет, а он — в пыли, по лицу мухи ползают. Разве не ужас? Конечно, я не выдержала...

— Вот именно: не выдержала! Постой: кажется залет делают. Или это фрицы взлетели... Высказалась тут же, на улице. Брякнула. Хорошо, что никто не слышал, а то бы...

— А то бы — что? — любопытствовал Заряжский.

— Ну, из комсомола вычистили бы. И вообще...

— Из комсомола — не так страшно. Могли бы и арестовать, не правда ли?

— И арестовать. Что ж удивительного? Не брякай! — согласилась Настя, с вызовом.

— Гм... по-моему, Милица ни тогда, ни теперь не «брякала», а совершенно права. Немца-часового

резать не следовало — этим войны не выиграешь. Принимая в расчет репрессии — так и преступно по отношению к своим. Кстати: это ведь по приказу делается. Кому-то немецкие жестокости очень выгодны... А для дезертиров есть суды. И он все-таки человек, — значит, валяться на улице не должен. И другие — тоже люди, а не вороны: воздействовать на них трупом в качестве пугала — варварство.

— О варварстве вы лучше со своими немцами поговорите, с гестаповцами!

— Мои немцы и гестаповцы — не одно и то же. Со знакомыми немцами я об этом разговариваю, а с гестаповцами, немецкими или советскими, разговаривать об этом бесполезно.

— Это какие же такие «советские гестаповцы»?

— Вы не знаете?

— Я знаю только НКВД, защищающий народные интересы.

— Послушайте, — вздрогнул Заряжский и кашлянул, чтобы овладеть голосом. — Мы ведь не в кружке политграмоты, и, значит, необязательно быть попугаем. Вчера, например, ходил я за город, к оврагам у стекольного завода. Знаете это место, Милица? Там с неделю назад копать начали, — песок, что ли, понадобился. И около сотни трупов выкопали. Мужских, главным образом. И недавних: этак от трех до пяти лет тому назад зарыты. Свидетели точно устанавливают, что всё это — расстрелянные местным вашим ГПУ. Не многовато ли это для защиты народных интересов? Для вашего-то городка? А ведь таких городков тысячи! Неужто вам никогда не приходило в голову, что немецкий гестаповец, который, конечно, зверствует, по сравнению с советским — мальчишка и щенок. Он — на войне, боится, чтобы ему не перерезали глотки, и бьет врагов, чужих, а советские, как вы говорите, «защитники» — собственное мирное население.

Но настина «политустойчивость» была непоколебима, и Заряжский избегал споров, — только мор-

щился, слушая настины выговоры Милице по «комсомольской линии».

С удивлением замечал он, что у самой Милицы никогда не проскальзывало казенной затверженности в высказываниях. Комсомольская выучка не замутила в ней ничего. С простотой и естественностью удивительной она решала все сердцем и, как казалось Заряжскому, всегда верно, без каких-либо натяжек.

Изуродованное городское кладбище было «варварством», и немцы, сделавшие это, — «дикими захватчиками». Но «наши» — Эрих, Курт и Вебер — были «славные», и зондерфюрер Капс, приходивший вполпьяна, тоже был «славный», и многие другие... «Знаете: мимо немецких солдат, — ну, вот, если на скамеечке отдыхают, — всегда пройти можно, никто не заденет. А бывало, если наши сидят, особенно рабочие-сезонники, — так вся дрожись — идешь...»

Партизаны, пускавшие под откос поезда со снарядами, были «все-таки, герои». Они защищали большевизм, разумеется, но прежде всего — как патриоты. Степка же Буц, зарезавший немца, был «просто ненормальный». «Гестапо, конечно, кошмар! Подумать страшно! Но... если бы вы знали, что у нас здесь в 38-м году делалось! Сколько арестов! Как мы дрожали все...»

Заряжскому иногда думалось, что и многие вопросы, которые самого его мучили, Милица решила бы просто и «мудро», если бы стали они перед нею вплотную.

**

Они сидели в столовой. Первый раз со времени этой встречи — одни: Анна Ильинична ушла в бункер, Настя — куда-то в гости. За окном насторожился вечер, синел в ночь: дали тревогу, но не было слышно ни зениток, ни пропеллеров. Электричество погасло. Лампадка позолотила блестящий кружок на ризке иконы, а вниз сочилась скупое — только на то, что и само светлело в темноте: клеенку на столе, клавиши под открытой крышкой и ноты на рояле, белый го-

рошек милиционного платья. В углу, за роялем, щелестел сверчок.

— Сверчок — это что-то совершенно патриархальное! Последний раз я слышал сверчка, кажется, лет десять назад. Мы снимали тогда дачу под Москвой. В деревне.

Оттого, что оказались они одни, повисла вдруг в воздухе какая-то странная неловкость, и слова не шли.

— А у нас он всегда в этом углу. И знаете: когда я играю — еще громче трещит. Я думаю, сердится, что я все путаюсь...

— Попробую-ка я! — сказал Заряжский и подсел к клавишам. У Милицы широко раскрылись глаза («в первый раз признался, что играет!»), но она ничего не сказала и стала наискось от него, вытянув по крышке рояля руки в коротких рукавах.

Он заиграл негромко, чувствуя на себе пристальный взгляд и волнуясь. Припоминал самое любимое, что каждый по-своему отбирает из слышанного за жизнь и складывает в себе, как заветные письма и фотографии — в ящике письменного стола. Любимое вызывало обычно воспоминания, а сейчас они не приходили. Взволнованность же росла, и от нее ли или от отвычки играть ошибались на клавишах пальцы.

«Какие большие у нее глаза сейчас! Почти черные — должно быть, от потемок. Чудесно высвечивают руки... Полуовал у локтя. это тепло от нее душистое... даже трудно дышать. И какая сила мешает мне сейчас встать и обнять ее?»

— Вы так хорошо слушаете, Милица, — сказал он, опуская крышку, — что мне даже и играть неловко. Я ведь дилетант. В музыке — особенно.

— Ах, что вы! Вот не знала, что вы тоже и на рояле... Сколько у вас способностей!

— Никаких настоящих! В молодости пробовал многое: и на сцене был, и в режиссерах... Рисовать учился. И интересно: везде хвалили, продукция была всегда недурна, второй сорт или даже первый «Б», как на папиросах, знаете? Но никогда — высший.

И теперь я убежден, что к искусству у меня и не было никогда подлинных способностей.

— Наверно, просто не могли выбрать, решить, что сильнее любите? — спросила она любопытно (тоже о себе заговорил в первый раз).

— Выбрать? — не знаю, а вот насчет любви — это главное. Искусство надо любить. Больше всего на свете, чтобы стать в нем мастером. А я... как бы вам объяснить... «Прекрасное — это жизнь», — сказал один умник, которого вы проходили в школе. Очень хорошо сказано, по-моему, хотя, конечно, этот тезис не выносит упрощенчества. Я люблю жизнь. Уметь открывать в ней прекрасное можно — не будучи художником. Открывать его средствами искусства дано единицам. Большинство же так называемых «талантов» — посредственности. Они копируют и искажают жизнь, думая, что обогащают ее. А она в таком обогащении не нуждается, потому что много богаче и увлекательнее их творений. К чему же создавать суррогаты? Лучше учиться смотреть... Впрочем вам, верно, все это скучно!

— Нет, что вы... — она осторожно подтянула к роялю стул и села.

— Вы ведь еще и писали что-то, вы говорили? Как же — с этим?

— Не в бровь, а в глаз! Писал. Это, кажется, у меня сильнее остального. Впрочем, может быть, только кажется. Писал пьесы. До войны начал роман, — ну, да ведь там нельзя было писать так, как хотелось...

— А теперь?

— А теперь надо ждать, пока все развяжется. И к тому же теперь меня живой роман занимает больше всякого выдуманного... Такая уж природа...

— Живой роман? — руки ее светились теперь совсем близко, и душистое тепло полыхало в лицо, как прибой.

Не смог противиться — потянулся к ней жадно... Запретил сам себе и — встал. Опять потянулся и взял это тепло — руки ее — в свои...

— Ч-ч-ч-ч — пиликал сверчок в углу.

— Двенадцатый час! — сказала Анна Ильинична, высунув вдруг голову из кухни. — Завтра ведь на работу.

«Когда же это она вернулась? незаметно совсем... Не очень любезная старушка. Но прямая. Милица тоже не из лукавых, — в мать, значит».

— Это ничего, мама! Насти вот тоже нету... Поиграйте еще, — попросила она шопотом.

— Нельзя! — тоже шопотом ответил Заряжский. — Совсем попаду в немилость. Ваша матушка и без того меня не жалует.

Это была правда: Анна Ильинична как-то за ужином сравнивала Заряжского с Плинком. И — в пользу последнего. Милица поэтому ничего не возразила на замечание. Заряжский взял фуражку.

— Вы придете завтра? — шепнула она, оставаясь сидеть и закидывая кверху чуть разгоряченное лицо (проводить никогда не выходила). — Только ровно в восемь, без опозданий, не так, как сегодня. А то я...

Заряжский подождал секундочку, чтобы дослушать до конца. Но конца не последовало, и он, нагнувшись, крепко поцеловал раскрытые шопотом губы.

**

Следующий день летел, как на крыльях. А к обеде явилась Настя и хмурясь передала гончаровский «Обрыв», который Заряжский брал из пропагандной библиотеки для Милицы.

— Там записка, в книге, не выроните! — сказала она сердито и вышла без «до свиданья».

В записке была просьба после «Обрыва» достать «Анну Каренину», «если только можно: очень-очень хочется». Затем сообщалось о том, что Степку Буц, кажется, арестовали и теперь допрашивают в Гестапо. «А я то бранила его, несчастного!!!»

В конце стоял постскрипtum совсем неожиданный:

«Кстати, Алексей Филатович: Вы знаете, как я дорожу нашими отношениями. Но я бы хотела, чтобы они и дальше оставались только дружескими от-

ношениями, как прежде. Не обидьтесь: Вы знаете, что из вчерашнего я имею в виду».

В последнее время Заряжский замечал, что иногда, думая о Милице, как-то начинает двоиться: образовывалось как бы два Заряжских — постарше и помоложе. Вот, например, вчера, когда он, как свечку чисточетверговую, нес по переулкам этот первый их поцелуй, — Заряжский-старший был серьезен и озабочен, а младший — просто счастлив и возбужден без всяких раздумий. «Что дальше? — размышлял Заряжский-старший, — если даже в завтрашнем дне нет никакой уверенности? Ведь не скетч, а жизнь на двоих выдумать надо... Как?»

«Что бы ни было завтра, — возражал Заряжский-младший, — почему сегодня скрипеть и не высказываться? Война? Или почти сорок лет мешают? К неуверенности в завтрашнем дне мы и до войны привыкли. А возраст... “L'âge n'est fait que pour les cheveux” — говорят французы...»

— Недурное «кстати!» — думал Заряжский, прочитав приписку. — Из-за этого «кстати», очевидно, и записка придумана, и с книгой поспешили. И слог торопливый, беспомощный: два раза «вы знаете» в двух строчках. Переживалось, значит. По правде сказать, я предполагал что-нибудь в этом роде...»

Думал это, однако, Заряжский-старший. А младший — огорчился необыкновенно. Именно младший Заряжский стянул с кровати одеяло и выпрыгнул через окошко в сад — полежать под яблоней и все обсудить без помехи: за перегородкой Ромм с Володей играли в «шестьдесят шесть» и шумели.

Под яблоней Заряжский-старший попытался убедить младшего, что огорчаться смешно, что для такой девушки, как Милица, которую даже Кожевников определил когда-то как «тургеневскую», записка вполне естественна, и всё, в конце концов, очень славно и даже трогательно. Но младший Заряжский продолжал волноваться и, полежав с полчаса в сыроватой тени, снова влез через окно в комнату и лег на кровать.

За перегородкой было сначала тихо: Володя и Ромм выходили куда-то. Потом вернулись и опять взялись играть.

— Я тебя, Володичка, в темную! — говорил Ромм, хлопая о стол картами. — Глазочка открыть не успеешь. Как тютюк новорожденный, знаешь? — Он заскулил, изображая слепого щенка.

— Не хвалитесь. Там видно будет...

— Вот именно. Бери, бери... Девятка — не взятка. Алексей Филатович под деревом лежит. Чудак, холодно ведь!

— Бью тузом.

— Бей, бей... Что это за девица была у него, с книгой? Не знаешь?

— Это подруга той... девушки из бункера. С косами...

— Ах, вот оно что... Я ту, с косами, видел как-то. В лагере еще, в Б. Из-за проволоки.

— Я не видел. Только здесь в первый раз встретились. А потом и Алексей Филатович, через меня, неожиданно... Марьяж пиковый!

— Это нам нипочем. У тебя марьяж, а мы закроем. Видел? И больше ваших нет. Два открываю. Что ж, у них, видать, дело на-мази — у шефа с этой девушкой. Как ты думаешь?

— Не угадали. Она ему двоюродная сестра.

— Володичка, холостяком останешься! Ни с Тасей, ни с какой другой у тебя в жизни марьяжа не выйдет.

— Почему это?

— Если не поумнеешь. К двоюродным сестрам каждый вечер до полночи не ходят. Запомни.

— А я вам говорю, что они двоюродные. Сдавайте! У нее и жених есть. Мне старички рассказывали. Вы его тоже знаете: Плинк, комендант наш бывший, из лагеря. Теперь вот только его услали куда-то. Наша пропаганда. А то бы...

— Плинк? Жених? Ну, это, Володичка, разыграли тебя, по блаженности твоей... Несуразица какая! И

видишь: беру взятку и закрываю сходу. Понимаешь, что это значит?

Они поиграли еще минут пять. Ромм, выиграв в темную, как и обещал, поскулил по-щенячьи, и оба пошли в комнату девушек.

«Плинк — жених? — повторял про себя Заряжский, лежа на кровати. — Экий вздор! Милица не скрыла бы от меня этого. А главное — само сопоставление немыслимо: он и Милица! Действительно несуразица. А Володька — блаженный и сплетник к тому же, хоть и доброжелательный. Обязательно расскажу ей вечером».

Но Заряжский-младший, прослушав разговор за стенкой, расстроился вдребезги. Он даже начал утверждать, что ему в переулочек за насыпью и вовсе не хочется. Почему — не объяснял, просто, повидимому, чувствовал себя обиженным и капризничал.

Идти или не идти, решила другая записка — от Бриллинга. Он приглашал всю «Карусель» к восьми часам в пропаганду: «Будет небольшой товарищеский ужин, — писал он, — наших офицеров совместно с несколькими моими русскими пропагандистами. Вас прошу быть непременно». «Непременно» было подчеркнуто дважды. Визит к Милице состояться не мог.

12.

В офицерском казино ПК по-парадному горели железные с завитушками канделябры. Сочно подхватывали блеск лампочек крашенные под дуб стены, такие же лавки и стулья и длинный стол с бутылками и разложенной порциями по тарелкам закуской.

«Уютно устраиваются немцы, как навсегда!» — подумал Заряжский, щурясь от света. Когда вошли карусельцы, все стали усаживаться; было здесь, помимо Бриллинга, два немецких офицера, двое русских в штатском, двое — в немецкой форме с красными петлицами и одна девушка.

— Вы садитесь со мной, — сказал Бриллиг Заряжскому и потянул из-за стола тяжелый стул с неудобной спинкой. — Хочу вас познакомить со своими русскими сотрудниками. В двух словах: вот тот, на краю стола, — лейтенант Горохов. Работает пропагандистом при одной из дивизий; там ему и форму эту придумали, пока. Рядом с ним фельдфебель — это бывший учитель. Очень способный оратор, с Дона, из казаков. Два господина напротив — тоже учителя. Местные. А девушка — парашютистка. Сбросили ее к нам для диверсий. Соответствующие учреждения нашли, что она «враждебна коммунизму» и направили ко мне. Я скептичен немного, но посмотрим...

— Господа! — поднялся он. — Выпьем первый наш бокал за успех совместной работы, за успех правдивого пропагандного слова, за новую, свободную от большевизма Россию !

Крикнули «ура», выпили и стали очень обстоятельно заедать первый бокал, молча.

— Я тут им доклад только что делал, — сообщил Бриллиг. — А обмен мнениями, думаю, пойдет лучше теперь вот, за рюмкой водки...

С обменом мнениями никто, однако, не торопился. Все налили снова рюмки и ждали, поглядывая друг на друга.

Нагнувшись над столом, Бриллиг посмотрел в сторону Горохова и фельдфебеля из учителей. Оба пошептались. Затем Горохов, очень тонкий и очень юный, встал и предложил выпить за «нашу союзницу и руководительницу в борьбе с большевизмом, победоносную германскую армию».

В ответ помолчали, потом похлопали жиденько, и он, неловко выхлебнув рюмку, сел.

«Не из той оперы!» — проворчал Бриллиг и, снова наклонившись, выуживал глазами фельдфебеля. Но «оратор с Дона» повернулся к Светлане, и виден был только курносый его профиль с очень подвижными щеками и скулами.

Выступил неожиданно на другом конце стола толстый и румяный, как яблочко, немецкий лейте-

нантик из пропаганды. Любезно наклоняясь в сторону Таси, своей соседки, заговорил о русских женщинах. Он, оказывается, много слышал о них еще у себя, “in seiner Heimat”, но то, что он теперь увидел, превзошло все его ожидания. Русские женщины, оказывается, обладали не только внешними привлекательными статьями (“auffallend sanft und zärtlich”), но и чрезвычайной одаренностью. Они — и певицы, и танцорки превосходные...

“Das russische Balett...”

— Болван! — процедил сквозь зубы Бриллинг. — Воображает, что я всю эту чепуху стану повторять по-русски!

Лейтенантик похвалил еще русский хор, «Стеньку Разина» и, всё так же приятно качнув корпусом Тасе, а ручкой — Бриллингу (чтобы переводил), кончил.

— Лейтенант в восторге от русских женщин, о которых читал в книжках, и от русского искусства. Предлагает выпить за то и другое, — перевел Бриллинг не вставая, и Заряжский едва удержался, чтобы не рассмеяться, посмотрев на его свирепое лицо. Но прочие остались довольны выступлением, выпили оживленно и дальше стали наливать и чокаяться, не ожидая сигналов.

Через четверть часа румяный лейтенантик подошел к Бриллингу и стал просит уже начинать концертные номера.

Бриллинг мрачно оглядел обстановку: оратор с Дона так и не отворачивался от Светланы, рассказывая, верно, что-нибудь очень забавное, потому что у нее даже слезки на ресницах повисли от смеха. Парашютистка с круглым скуластеньким лицом и белозубой улыбкой, раскрасневшись, старалась понять, что ей рассказывал сосед-немец. Ромм, оказавшийся без дам, смешил двух учителей в штатском.

— А начинайте, все равно! — махнул рукой Бриллинг. — Напились! Теперь уж не до прений. Как это я промахнулся в самом деле. Что значит — немец!

Тогда пусть уж продолжают, а мы пойдемте-ка ко мне на минуточку. У меня к вам дело...

Они поднялись этажом выше. Бриллинг отомкнул дверь в комнату, включил свет.

— Прошу садиться. Побеседуем. Буду краток: не умею длинно и не к чему. Хочу предложить вам перейти ко мне на работу. С вашим командованием улажу все лично. В «Карусели» вам, собственно, делать нечего. Там есть же режиссер — господин Майский, кажется. А вы ученый, насколько мне известно, доцент. Здесь вы гораздо нужнее.

— Видите ли, — продолжал Бриллинг, подсаживаясь поближе, и чуть смягчил жестковатое свое лицо, заметив замешательство Заряжского. — Я предполагаю увеличить число русских пропагандистов при нашей роте. Раз в пять, в десять; может быть — в сотню раз! Собрать лучших из лучших. Создать когорту настоящих русских патриотов, пламенных противников большевизма. Понимаете: очень может быть, они станут фундаментом будущего Министерства пропаганды Свободной России, эти люди! Но сначала я хочу поработать над ними немножко. Вычистить из головы большевистскую шелуху, если осталась. Дать направление. Развязать языки, зажечь! понимаете? Тогда уже пустить их в массы. Для этого мне нужны лектора. И я вот наметил — вас.

— Но я никогда не читал на политические темы...

— Не нужно. Совершенно не требуется. О политике буду беседовать я. А вы — о культуре. О литературе, искусстве, языке... Может быть — по истории. По истории у меня, впрочем, есть кандидат, — господин Плинка. Вы ведь его знаете? Что он за человек, кстати, по-вашему?

Заряжский похвалил Плинку за интеллигентность и добросовестность.

— Вот и у меня такое же впечатление. Значит, он — по истории. А вы — по своей специальности. Конечно, — объективно, без всякой этой марксистской закваски, — и выйдет как раз то, что требуется.

Никаких нежелательных тем вам навязываться не будет, обещаю категорически... Ну — как?

Он смотрел на Заряжского выжидательно и с нетерпением, которое странно как-то не шло к суховатой его уравновешенности.

«Энтузиаст какой-то!» — подумал Заряжский. — Можно ответить через два-три дня?

— Разумеется. Подумайте. Собственно к Б. вас ведь ничто не привязывает? Я слышал — наоборот: здесь нашлась у вас родственница или знакомая. Вот и обоснуетесь. Квартирой и снабжением обеспечим...

И еще хотел: Нет ли среди ваших знакомых газетного работника, поспособнее? в Б., может быть? Пусть из пленных, мы освободим.

— В Б. есть как раз один, — сказал Заряжский, вспомнив о Духоборове. — У него в этом деле опыт. Сейчас работает в городской столовой. Счетоводом.

— Очень прошу написать ему. Срочно. Послезавтра от нас курьер в Б. Отвезет и через день — обратно. Пусть ответит немедленно, считает ли для себя подходящей эту работу. Сговорились? Наконец, еще одно дело, совсем маленькое: «Карусель» должна дважды выехать. В Сухое — это послезавтра, и в Р. — городишко тоже километров восемьдесят отсюда. Я знаю: вы избегаете гастролей. Но на этот раз попросил бы. В Сухом встретитесь с господином Плинком, приятелем. А в Р. у меня один поручик из старых эмигрантов работает, Сомов некий. Очень бы хорошо, чтобы вы тоже с ним познакомились. Может быть, и его можно использовать как лектора. Всё. Теперь пойдёмте вниз. Перепились, наверно, окончательно.

Казино гремело смехом и возгласами на всю лестницу. За столом бутылки были пусты, а лица вдохновенны. Ромм обнимал поочередно двух учителей в штатском и требовал, чтобы поцеловались друг с другом: очевидно — поспорили. Учитель с Дона, стоя на стуле, рассказывал какие-то «детские» анекдоты. В паузах кричали ему бис! и парашютистка, хохоча белозубо и жестикулируя, пыталась рас-

толковать немцу содержание. Репертуар у рассказчика казался неисчерпаемым, но Бриллинг, послушав минут с десять, объявил вдруг, что так как завтра рабочий день, — товарищеский вечер закрывается. Все, помрачнев, стали расходиться.

**

*

Наутро Ромм с Дуниным бегали по городу, ища «опохмёлки». Потом уговорили идти на большую реку освежаться.

Берег был солнечный, песок — даже горячий, по-летнему, но кусты уже в серебряных паутинках, а вода совсем осенняя, так что кости поламывало. Купались тем не менее долго, едва обед захватили...

Потом Заряжский принес из пропагандной библиотеки «Анну Каренину» для Милицы — новое берлинское издание в синей обложке, — лег, раскрыл наугад, оказался на скачках и прочитал до самых сумерек. Около восьми стал готовиться уходить, но спину начало вдруг похоложивать, и схватил озноб. Пришла малярия в расплату за купанье. Володя нанес одеял со всех постелей, словно воротами сверху придавил, — и всё-таки трясло так, что кровать поскрипывала. К девяти отпустило, но жар не унимался и принялась болеть голова.

«Вот мерзость! — думал Заряжский. — А завтра в Сухое, — значит, три дня пропушу. Нет, уж если сегодня не пошел, завтра тоже скажусь больным, не поеду!» — Он закрыл глаза, стал дышать ровно, чтобы прогнать головную боль, и так задумался о завтрашней встрече с Милицей, что и не слышал ни стука в дверь, ни — как она вошла, а только испуганный над кроватью шопот:

— Вы больны? Володя сказал мне... Я так и думала. Вчера не пришли и сегодня... Что с вами?

— Милица! Как чудесно! Ничего, пустяки, малярия. Отвернитесь на минуточку, я встану.

— Нет, нет, оставайтесь лежать, нельзя! — начала она строго, совсем — как тогда в Б., с приказывающими нотками в голосе.

— Не командуйте. На этот раз не подчинюсь. Честное слово, совсем уж выздоровел. Отворачивайтесь!

Она послушалась и стала смотреть в окно. Заряжский откинул тяжелые одеяла и зажег плошку на столе. Плошка потрещала немного, разболталась, словно ложкой, потемки, выплеснула чуточку рыжеватого света на потолок, на милицино красное платье, на краешек щеки, чуть видной из-за обруча кос, а оконное стекло из синего сделала черным.

— Вы сокровище, Милица! — сказал Заряжский, одеваясь. — Так удачно пришли, как раз, когда я горевал, что три дня вас не увижу: завтра уезжаем на сутки.

— Я ходила к подруге, она здесь, около вас живет. И потом решила, на обратном пути... — Она пристально всматривалась в заоконную тьму, словно можно было там рассмотреть что-нибудь, и краешек щеки потемнел вдруг от румянца.

— Я сейчас и пойду, — обернулась она, когда Заряжский оделся, и чуть хрустнула пальцами. — А почему вы вчера не были?

— Вчера случился банкет неожиданный. Здесь, в пропаганде. И меня вытребовали.

— Да? а я думала, что...

— Что вы думали?

— Боялась, что обиделись... за записку.

— За приписку, вы хотите сказать? Это еще обсудим по дороге. Жалко только, что...

Теперь не договорил он: всё кругом задрожало вдруг мелко-мелко от стремительного налетающего треска; коротко, с налету, рванула бомба, посыпались стекла, и ветер сорвал с площадки огонек: над крышей пробуравил самолет, и еще одна бомба лопнула по его следу, уже где-то далеко. Всё было так неожиданно, что домик оцепенел под этим нагромождением грохота, и когда, придя в себя, заматались в нем, выбегая, люди — снаружи уж опять было тихо; только с окраины выла запоздалая сирена.

В темноте бункера несколько минут слышалось только испуганно-неровное дыхание. Потом зажгли плошку. Потом Заряжский перезнакомил Милицу с карусельцами, и все ожили.

Снаружи снова загудело, заухали фляки. Но Дунин сбегал за баяном и долго играл попури из «Кармен», а потом изображал на баяне же птичий двор. Пели хором, и странно звучали под бревенчатым накатом — укрытием от советских бомб — советские песни. Подконец занимал всех Ромм.

Заряжский знал, что талант у Ромма богатейший, лихо разменный только, как это часто у нас, на пестрые мелочи и подмоченный рюмочкой. Но в таком ударе он, кажется, не бывал давно. Он рассказывал, читал из старинных чтецов-декламаторов стихи, которые в его передаче, странным образом, не звучали ни наивно, ни напыщенно. Перед самым отбоем спел он, тоже никому неизвестного, «Желтого ангела». Заряжский не любил Вертинского за манерность, но слушал сейчас, как замороженный. Ромм, собственно, не пел, а как-то особенно проникновенно, словно на личную судьбу жалуясь, выговаривал содержание. Может быть, испитое его лицо в мягких печальных складках усиливало впечатление, тем более, что и в песенке шла речь о некоем артисте, потерявшем себя:

«И когда под утро рано
Я иду бульваром сонным,
Так в испуге даже дети
Убегают от меня.
Я больной и старый клоун,
Я машу мечом картонным...»

Плошка плескалась светом и потрескивала. Все перевели дыхание, когда Дунин проигрывал паузу.

— Как хорошо! — шепнула Милица. — Очень рада, что попала сюда...

«И тогда с потухшей елки
Тихо спрыгнул ангел желтый,
Он сказал: Маэстро бедный,

Вы устали, вы больны?
 Говорят, что вы в притонах
 По ночам поете танго.»...

Когда дали отбой, Заряжский принес книгу, и они пошли по чуть белевшей под насыпью тропинке.

— Что это бомба помешала мне выговорить? Ах, знаю: жаль, что до вас так близко. Мы и обсудить ничего не успеем! — вот, что хотел я сказать.

— А пойдете к нам! — предложила вдруг Милица решительно.

— Что вы, уж почти двенадцать! Мамы боюсь. И, главное, у вас ведь тоже не очень удобно разговаривать по секрету.

— Здесь есть, у углового пожарища, скамеечка одна несгоревшая, — сказала она, подумав.

Скамеечку, мокрую от росы, нашли ощупью. Помолчали, усевшись.

— Так вот насчет этой самой приписки...

— Ах, не надо об этом, пожалуйста! Я так жалею, что написала. То есть, именно, что — в письме, надо было так объяснить, устно, — добавила она, спохватившись.

— Ну, хорошо. У меня есть и другое. Вчера слышал случайно разговор про вас. Говорили, что вы просватаны. А Плинка называли женихом. Правда это?

— Ах, Господи, какие пустяки! Кто это говорит?

— Наши слышали где-то в городе. Я знал, что вздор, но откуда идет, интересно?

— Не знаю... Впрочем, нет, я сама слышала, что сплетничают...

— Так? Ни с того, ни с сего? Странно. Мне кажется, вы мне чего-то не дорассказали про Плинка. Я не выпытываю, но...

— Ах, вы знаете, — полуобернулась она к нему на скамейке, — мне было тогда так радостно... вот когда мы встретились. И я пропустила одну вещь. В общем — незначительность, но я думала, что вам будет...

Заряжский очень любил эту ее манеру — не договаривать фразы. Ему нравилось дочитывать на лице ее остальное. Выходило как-то теплее, задушевнее.

— Ну, в чем же эта незначительность? Что еще натворил Плинка?

Она рассказала, на этот раз с подробностями, про Аристову и выдуманное Плинком во спасение жениховство.

— Гм... находчивость за чужой счет немножко. Но я его не виню. Аристов, действительно, гадина. Но, кажется, это еще не всё? продолжение следует?

Она молчала нерешительно.

— Потому что всё это сплетен еще не объясняет. Плинка, наверно, начал «форсировать» случай. Ему он не показался «незначительностью». — Заряжский полез в карман за куревом и нашел только сигареты, спичек не было.

— Очень похоже на то, что у вас позже и объяснение состоялось. С предложением руки и сердца, — продолжал он чуть насмешливо, раздосадованный тем, что не пришлось закурить. — То есть похоже на Плинку, — добавил он быстро, заметив, что Милица сейчас же уловила насмешку.

«Ведь это уже не моя тайна. Как же рассказывать?» — думала она, глядя перед собой на черную резавшую звездное небо насыпь.

— Значит, угадал? — спросил, помолчав, Заряжский. — По правде сказать подозревал и раньше. И сам по себе, и, немножко, из намеков вашей матушки. Ну, вы находите, конечно, Плинка «жалкеньким», потому вероятно не ответили сразу. Теперь он ждет. И, может быть, откровенничает с кем-нибудь. И ваши домашние разговаривают. Вот вам и сплетни.

— Откуда вы всё знаете?

— Ну, совсем нетрудно предположить... И наверно связал вас еще сроками или нелепыми обещаниями какими-нибудь в связи с ответом.

— Нет, откуда вы?.. — всплеснула она руками.

— Опять же очень на него похоже. Мы ведь больше месяца жили вместе. Один знакомый — да вы его

знаете: Духоборов — что в Новый год на рояле играл, — уверяет, что Плинк — это большой желудок, а все остальное пристроено. Но я заметил за ним еще кое-какие склонности. А главное — он из неудачников, такие же очень любят подпираться всякими гарантиями.

— Ах, он в самом деле такой жалкий! — сказала Милица и хрустнула пальцами. — Он говорил, что с тех пор, как вторая его жена умерла...

— Вторая жена? Да она у него живёхонька.

— Ах, что вы?

— И дочка, лет двенадцати, прехорошенькая. Обе в Москве. И фотографии их видел, и повествовалось о них в изобилии.

— Не может быть!

— Гм... Если он вам по-другому представил, так очевидно кому-нибудь из нас сочинил. Но не думаю, чтобы мне: моя версия еще лагерная, заслуженная. Бог с ним, впрочем. Хотя говорим мы о нем ко времени: завтра еду в Сухое, увижу. Что передать?

— Ах, пожалуйста, я напишу! — оживилась вдруг необыкновенно Милица. — Хотя как же... вы, верно, утром уже едете... Передайте, чтобы приехал как-нибудь. Что я прошу.

— Передам.

Выплыла вдруг луна, и мрак раскололся на черное и зеленовато-голубое. Глянцево заблестели обуглившиеся балки справа, а впереди — росистый откос.

— Надо идти, отбой давно дали, мама будет беспокоиться...

Они вышли на лунную, как мелом вычерченную тропинку, завернули в переулок.

— У меня еще новость, — сказал Заряжский уже у самой калитки.

— Какая?

— Вчера предложили в пропаганде перейти к ним на работу и...

— В наш город? — перебила Милица и шагнула к нему близко-близко, почти вплотную. — В наш го-

род? И вы сейчас только об этом... Вы согласились? Да?

Луна била ей в лицо; в глазах, в румянце с ямочками такое радостное светилось возбуждение, что у него в груди погорячело.

— Послезавтра обещал ответ.

— И послезавтра же к нам придете? В восемь, да?

Только вспомнив про приписку в письме, из упрямства, удержался Заряжский, чтобы не притянуть ее к себе за руки.

— А почему вы не курите? Не курили уже давно? — спросила она, взявшись за серьгу калитки.

— Спички дома забыл.

— Так пойдете к нам, прикурите.

— Уж первый час, неловко.

— Нет, пойдете. Я хочу. На минуточку ведь...

Анна Ильинична сразу заворчала навстречу Милице, а Заряжскому едва кивнула. И руки не дала: притворилась, что котелка выпустить не может.

— Я была у Шуры, а потом — у Алексея Филатовича, в бункере, с артистами. Мама, где спички? Алексей Филатович прикурить зашел.

— Спички на своем месте, в столовой.

В столовой на этот раз было ярко. И сверчок молчал. Недовольно закашляла за стенкой Настя.

— Вы и выкурите у нас. Пожалуйста. А книжку давайте, а то еще унесете с собой.

— Разве вы не читали «Анну Каренину» раньше?

— Конечно, читала. Еще в девятом классе. Только теперь очень перечитать хочется.

— А какое вам место больше всего там нравится?

— Как вам сказать... — Она поставила локти на стол, уперлась подбородком в сведенные ладони и чуть наморщила лоб. — Пожалуй — как скажут. И еще — когда Китти с Левиным за столом объясняются буквами, помните?

— Помню, это в самом деле замечательно у Толстого. — Оба помолчали.

— А как вы думаете, — снова спросил Заряжский, — могли бы вы тоже так вот... угадывать?

— Не знаю... Смотря — когда. Может быть...

— Давайте-ка сделаем опыт. — Он вырвал из записной книжки чистый листик и достал карандаш.

«Как же — с «дружескими отношениями»? Я ведь не очень согласен. Вы хотели что-то объяснить дополнительно?» — написал он одними начальными буквами. Подумал, протянул ей листок и поднялся.

Был уверен, что Милица не прочтет правильно, и откладывал мысленно толкование на следующий приход.

Но она прочла и даже головой кивнула, словно точку поставила, в знак того, что поняла.

— Потом отвечу, — шепнула она ему, провожая до двери.

13.

«Так вот в ушах и долбит и стучит это: титата, татата, тотата, титата...» — читал Володя, прислушиваясь в стуку колес. И так как он не знал стихотворения целиком, то и повторял только эти строчки с небольшими перерывами вот уж с полчаса.

Ромм раньше других вышел из терпения:

— Ты замолчишь, Володичка, когда-нибудь? Первое: перевираешь безбожно, второе — надоел. Все созерцание портишь. За три сигареты я выпишу тебе стихи на бумажку, когда приедем, а сейчас заткнись.

Как и из Б. в Старгород, поезд в Сухое не шел, а переползал, перекатами, от станции к станции; даже и не к станции, а просто к неизвестному какому-то пункту в лесу или чистом поле, где подолгу обследовали путь впереди, ища мин.

Необычного устройства вагон с дверями наружу из каждого отделения был почти пуст: немцы ехали в товарных (как утверждал Дунин, — из расчета, что партизаны, если нападут, станут в первую очередь «крыть по классным»).

Заряжский дремал в уголке: вчера, вернувшись от Милицы, чуть не до рассвета писал Духоборову, чтобы отдать Бриллингу письмо перед отъездом.

Собственно деловая часть письма — предложение Бриллинга — заняла всего полстранички. Но потом пришло в голову, что Духоборову, какой он есть, не легко будет ужиться с напористым Бриллингом и его планами «обработки масс». «Имейте в виду, — приписал Заряжский, — что здешнее руководство пропаганды хочет «патриотическую» газету, рассчитанную на самого широкого читателя. Я помню ваши отзывы о патриотизме и «массах», — обдумайте решение».

Написав это, он почувствовал вдруг, что ему вовсе не так уж безразлично, что Духоборов ответит, захочет ли в Старгород или нет. «Привязался я, что ли, к этому чудаку?» И он стал писать дальше — о Старгороде, о карусельцах, о себе, о встрече с Милицей, даже — о Насте, сравнивая ее вымуштрованную комсомольческую колючесть с «мудрой» непредвзятостью Милицы. Написалось без малого четыре странички. Наконец, не удержавшись, прибавил он и о Плинке, «подавшемся в немцы», и его матримониальных проектах. Вышло четыре страницы целиком...

Как это случается в России, железная дорога старательно избегала населенных пунктов: станция, на которой сошли, стояла в лесу, а до Сухого пришлось тащиться километров пять пешком.

Это было большое и грязное расположенное в низине село с нескладно длинной улицей посредине и двумя изогнувшимися, как пристяжки, — по бокам. В центре стояло несколько двухэтажных домов, церковь с откушенным верхом и школа на отлете. В школе и устроили «актеров». Здесь помещалось районное управление и ночлежка для приезжающих старост. Здесь же — в полуподвальном зале-столовой — должно было состояться вечером представление.

Заряжский спросил о Плинке, узнал, что тот живет на самом конце улицы, и отправился к нему. Еще много не дойдя до околицы, увидел издали

тяжеловатую, чуть прихрамывающую походку и остановился.

— А, воскресший из мертвых! — воскликнул Плинк и проявил желание обняться. Собственно по поводу их сегодняшней встречи тут, в Сухом, не выразил он никакого удивления.

— Вы что же, знали, что я приеду? — спросил Заряжский. — И вообще, что я в Старгороде?

— Как же, Бриллинг писал. Спрашивал о вас. А у вас, наверно, выпытывал обо мне. Не так ли?

— Да. Хочет вам поручить лекции по истории.

— В семинаре, из которого вырастет потом «Пропагандное министерство Новой России»? Ах, бестия! Но что же мы стоим? Где вас поместили? Я пригласил бы к себе, да у меня разгром, уборка... Лучше уж у вас поговорим.

— У нас для разговоров неуютно. Шумят. Потом я рассчитывал на несколько сигарет из вашего запаса. Мы получим завтра — отдам.

На одутловатом, сильно округлившемся лице Плинка («раздобыл он здесь основательно!») проступило замешательство.

— Да, сигареты, конечно... Тогда дойдем до меня. В крайнем случае посидим на лавочке. Так он не оставил, значит, своих планов насчет семинара, Бриллинг?

— Напротив, спешит. Я тоже получил приглашение остаться в Старгороде. Лекции читать.

— Вы согласились? — спросил Плинк с интересом необыкновенным и даже приостановился немного.

— Пока нет, но вероятно придется! — Заряжский с неудовольствием почувствовал, что Плинка занимало, очевидно, не решение, такое тяжелое и трудное для самого Заряжского, а совсем другое, побочное обстоятельство. — Не вижу причин отказываться. Что ж, читать ведь по вопросам культуры. Даже предвкушаю удовольствие от того, что не обязательно будет называть Достоевского мракобесом, Лебедева-Кумача — поэтом, а четвертую главу истории партии — откровением философии...

— Да, выходов немного. С большевиками мы окончательно расплевались, а в обход немцев, кажется, никаких путей. *Volens-nolens!* Лишь бы Бриллинг не подсовывал гнусных тем. Это, я вам доложу, bestia! — снова повторил Плинк.

Заряжский не находил Бриллинга «бестией». По его мнению, был это весьма оригинальный тип немца, вскормленного, так сказать, на русском молоке (Заряжский недавно узнал, что Бриллинг родился и вырос на Волге и только после октябрьской катастрофы уехал в Германию). Было в нем поэтому на три четверти добротного немецкого духа, а на четверть — не менее добротного — русского. Эта четвертушка тянула его к России — старой, знакомой с детства России степных приволий, несброшенных крестов и с «Бог в помощь» вместо красных плакатов по румяным деревенским околицам. Так тянутся памятью и сердцем — к матери, с которой разлучены с детства. Немецкие три четверти не знали этой матери и тяготели к родине по крови.

Сообразно этому и русская проблема решалась в голове Бриллинга чем-то вроде «второго призвания варягов».

Что эти варяги явились, собственно, без приглашения, оправдывал он задачей уничтожения большевизма, а то, что вели они себя не так, как ему хотелось бы, сердило и огорчало его искренно. Он собирался как-нибудь поправить дело, на три четверти — для пользы самих варягов же, на четверть — для пользы русских.

Они подошли к высокому крылечку последнего в сельском порядке дома, и Плинк, остановившись, снова приобрел несколько растерянный вид.

— Всё-таки не решаюсь вас — к себе. Вы позвольте, я захвачу папиросы, и мы посидим на чистом воздухе. — Он занес уже на ступеньку ногу, как вдруг из открытого окна высунулся или, точнее, вывалился обширный под цветочным сарафаном бюст и поверх — сравнительно ничтожных размеров розо-

вощекое лицо под тоже пестрым завязанным по лбу крылатым узелком платочком.

— Милости просим! — сказал бюст, и плинкова нога так и осталась висеть над ступенькой. — Заходите, заходите познакомиться...

— Хозяйка моя... Значит, неожиданно уборка завершилась. Прошу тогда...

Входя к Плинку, Заряжский ожидал встретить походную обстановку и непременно — разложенные в огородном порядке бумаги и консервные баночки. Но ошибся. В комнате, на яичного цвета полу с веревочными дорожками разметнулась во всю стену необъятная кровать с деревянными бортами, кружевным покрывалом и горкой — мал-мала меньше — подушек. На столе с вышитой петухами скатертью не лежало никаких бумаг, и только в углу, за кадкой с зеленью, грудилась на угольнике кипа газет и тетрадей. Следов генеральной уборки не замечалось: блеск был везде патриархальный, подновляемый, видно, только по двенадцатым праздникам.

«Вот так Плинк! какой уют себе «оторвал», как сказал бы Аристов. Что же он с этой кроватью делает — в ней же плавать можно!»

Женщина в сарафане встретила на пороге и кланялась тоже по-патриархальному, поджав руки под пышным бюстом.

— Аграфена Михайловна, моя хозяйка! — отрекомендовал Плинк. — А это — Алексей Филатович Заряжский, режиссер и вообще человек великих и разнообразных способностей. Страдает вот без курева. Сейчас я сигареты... — заторопился он, шаря в углу под газетами. — Куда я их только...

— Что ж, Федя, табашным-то угощать? Может, они голодны, закусят чего-нибудь? Вы садитесь, пожалуйста.

— Так ведь я еще порциона не получал, как же...

— Будто у нас, кроме порциону, и нет ничего. Яишенку зажарю. Посидим, поговорим по-семейному.

— Вы как думаете, Алексей Филатович? Не опоздаете к выступлению?

В другое время Заряжский обязательно уважил бы хозяйский намек и отказался бы от яишенки. Но сейчас уж очень интересной казалась ему ситуация.

— Нет, рано еще, — посмотрел он на часы и сел.

— Вот то-то же. Хватает время. А за порционом вы, Федя, сходили бы всё-таки. Сегодня водку дают. Оно и как раз под яишенку.

— Вот сигареты, — сказал Плинк, кладя на стол пачку и избегая смотреть на Заряжского. — Курите пока, а я в самом деле сбегаю.

Когда он ушел, Аграфена Михайловна проявила расторопность удивительную, и не успел Заряжский рассмотреть по стенам рыжие в мушиной сыпи фотографии — на столе бормотала уже в сковородке яичница, и хлеб лежал нарезанный, и приборы стояли, и сама хозяйка, подставив стул, подседа напротив остороженько.

Вблизи и с проворными, спорами своими движениями она не казалась столь массивной: так, раздалась просто плывучей полнотой женщины слишком за сорок. На лице — только у глаз, бойких, с хитроватинкой, набежали сеточкой морщинки, щеки же были, как налитые, и у скул слегка подрумянены. Что она молодилась — видно было и по наряду и по манерным при разговоре ужимочкам.

— Сидим здесь, как в норе, — начала она, вздохнув. — Свежего человека не видим. Окромя немцев — никого, а с ними не сговоришь. Федю тоже то и знай по деревням усылают. А я, хоть и старая, сорок два уже, а не люблю одна, безо всякого развлечения.

— Сорок два года — бабья-ягода! — есть пословица. Какая же это старость, Аграфена Михайловна? — слюбезничал Заряжский.

Она так и подплыла румянцем от удовольствия, снова засуетилась, побежала куда-то, принесла, прижимая к мощному своему бюсту, несколько баночек, а в руках — судочек и графинчик с рюмками.

В судочке оказался студень, в баночках — маринованные и соленые грибки, а в графинчике — настойка на лимонных корках.

«Однако, у нее было с чем идти на Плинка в атаку» — подумал Заряжский.

— Покудова Федя ходит, — снова уселась Аграфена Михайловна и подмигнула Заряжскому, — мы с вами — по рюмочке. Еще в прошлом году настаивала. Он у меня непьющий, Федя-то, шнапс меняем. А это — для гостей приберегла.

Она налила, чокнулась, выпила, сморщив нос, как положено обычаем, и потом вдруг, словно приняв какое-то решение, подплыла к гостю поближе вместе со стулом.

— Личность у вас уж больно доверительная, — пропела она. — Хотела бы один вопрос задать, да боюсь, обидитесь, что выпрашиваю.

— Нет, почему же... Знаю, так отвечу. Пожалуйста.

— Да уж знаете, надо полагать. Приятели ведь. Он о вас порядком рассказывал... Женат он, ай нет? — выговорила она, наконец, и подперла выжидательно рукой подбородок.

«Вот так так! — подумал Заряжский. — Значит, Федя и здесь свое семейное Position зашифровывает?»

— Право не знаю, Аграфена Михайловна. Мы уж с ним и не так хорошо знакомы, чтобы наверное...

— Ой, знаете! — погрозила она ему пальцем.

— Ой, нет! — засмеялся Заряжский. — Дайте лучше самого как следует.

— Да ведь говорит: холостой. А верно ли, нет ли. Тоже вот слышала, будто его снова в Старгород перебрасывают. А тут хлопчешь (она провела рукой в воздухе от необъятной кровати до покрытого стола), насчет чистоты и прочего. Опять же паек немецкий тощий. Достаешь, значит, меняешь чего. Обидно ведь...

Заряжский ничего не нашел в утешение и потянулся за сигаретой.

— Ну, коли не хотите про это ответить, еще одно спрошу: болтали, что у него там, в городе, невеста есть. Молоденькая...

— Вот насчет этого могу успокоить, Аграфена Михайловна. Сплетни. Невесты нет, то есть — нет опасности, что...

Он не договорил: ступеньки на крылечке заскрипели.

Вошел Плинка с кулками и вином в котелке. Принялись за еду, и так как хозяин, увлекшись насыщением, говорил мало, Заряжский сам взялся рассказывать — о жизни в Б., о группе и карусельцах в отдельности.

— Вы что же, пойдете на концерт-то? — спросил он, поглядев на часы. — Мне пора, я хочу немножко заранее.

— Пойдем, Федечка! — попросила Аграфена Михайловна.

— Да уж и не знаю, — ответил Плинка, потемнев лицом, что у него означало смущение. — Если и пойду, так сразу же после концерта — спать. Завтра чуть свет ехать. Так что мы сейчас с вами и распрощаемся.

— Да чем вы занимаетесь здесь в конце концов? — поинтересовался Заряжский. — Вы так и не рассказали ничего о себе.

— Чем занимаюсь? Езжу по деревням с дурачками докладами. Вот и всё.

— С какими же, например? Тема?

— «Военная мощь Германии» — специальное изобретение Бриллинга. Прямо в отчаянии, до того противно!

— Гм... Что же, как слушают?

— Ну, как у нас мужики слушают: мели, Емеля, твоя неделя! Потом спрашивают, в конце, скоро ли колхозные земли делить станут и почему молодняк угоняют в Германию...

— Я выйду проводить вас немножко, — предложил он, когда Заряжский простился с хозяйкой.

По улице ползли уже сумерки. Многоголосо, по-вечернему, перекликались петухи.

— Вы, может быть, удивитесь этому моему окружению, Алексей Филатович, — заговорил Плинк вполголоса, отходя от крылечка к дороге и оглядываясь на окно. — Я подразумеваю Аграфену Михайловну и прочее... Не придавайте значения. Всё, как вы сами понимаете, походная жизнь. Солдатчина. Я это потому, что там, у Паншиных, нивесть что подумать могут...

«Вот когда вспомнил о Паншиных! А то ведь ни слова, как воды в рот набрал!»

— Кстати: Милица вам кланяется. Хотела писать что-то, да не было времени. Просила приехать при случае.

— Да? — оживился Плинк. — Так я, может быть, даже и послезавтра... передайте, пожалуйста... Даже наверное...

— Она не говорила, чтобы так уж срочно.

— Нет, послезавтра как раз машина идет. И мне все равно к Бриллингу надо, за материалами. Тогда, верно, и с вами встретимся. А то мы и не поговорили совсем. Я ведь у них останавливаюсь, у Паншиных, когда приезжаю.

— Слыхал, — сказал сухо Заряжский.

— Дом ведь семейный, Алексей Филатович... Я полагаю, что этим не компрометирую. И Анна Ильинична всегда сама...

— Ну, хорошо. Стало быть скоро увидимся. Будьте здоровы!

**
*

В «Сухонском», как говорили местные жители, районе пришлось неожиданно задержаться: «Я вас очень прошу, — сказал Заряжскому комендант-немец после концерта, — выступить еще *in unserem Dorf Piljatino*. Тамошний староста, *sehr netter Mann*, очень просил об этом.

Деревня с этим итальянским именем (комендант и ударение делал на предпоследнем слоге) называлась по-русски Пилятиным и была в десяти километрах от

Сухого. Добирались до нее на двух душераздирающих подводах; выступали в избе, тесной, как трамвай, без сколько-нибудь годного для дыхания воздуха. На ночь netter Starosta устроил в таком клоповнике, что никто не сомкнул глаз.

В довершение всего утром выяснилось, что никакой возможности попасть из Пилятина в Старгород не было, в Сухое же опаздывали и к машинам и к поезду. Староста бегал куда-то, что-то узнавал, дотянул до обеда и потом предложил подвезти лошадьми до Смоленского шоссе: «там машин до чорта, прихватят!»

Машин на Старгород со свободными местами оказалось, однако, мало, и Заряжский с путевкой в руке долго усаживал карусельцев в разбивку, а сам попал домой только к вечеру.

Он столкнулся с Бриллигом на лестнице — тот спешил на какое-то построение за домом, — рассказал вкратце о поездке и почему задержались на день.

— Хорошо, хорошо, отлично! — кивнул Бриллиг и снова пустился вниз, через ступеньку, словно и не было ему пятидесяти. — Сегодня у нас новый фильм! — крикнул он через плечо, уже у выхода. — Скажите вашим. Если сами не пойдете, так пусть кто-нибудь получит маршбефель на завтра. В — Р.!

**

Отправив своих в кино, Заряжский, не дождав-шись восьми, пошел к Милице. Солнце садилось. В косых лучах над шоссеиной насыпью, то вспыхивая, то пропадая, толклись мошки. Несколько желтых листков катал по гудрону, словно в футбол играючи, ветерок.

За углом щелкнули под ногами клавиши деревянного настила, и Заряжский сошел в сторону: не любил, когда они подпрыгивают. Поравнявшись с воротами, шагнул было к калитке, но за ней разговаривали, и он невольно задержался на секундочку.

— Вы понимаете, Милица Аркадьевна: одиночество до того невыносимое, что иной раз не знаешь, куда себя деть, — говорил с tremolo голос Плинка.

Заряжский прошел несколько шагов, за палисадник. «Вот, досада! Как это я забыл, что он именно сегодня собирался пожаловать. Очевидно — объяснение. Не мешать же!»

Он двинулся дальше. Кривой переулочек выползал на горбатую, под горку, улочку. Уличка, холодея с каждым шагом, вывела к оврагу. Здесь было совсем зябко, сыро и, словно их со всего города сюда смели, набились сумерки. Грязно поблескивал ручей в мусорных кучах и крапиве; всхлипнув, спружинили, как трамплин, дощатые сходни.

Постояв на них минут с десять, Заряжский перешел овраг и стал взбираться тропинкой вверх по круче. Тропинка была то глинистая, то каменная, ноги скользили. Какое-то двухэтажное полуразбитое здание загородило дорогу. В затаившейся за оконными дырами тьме журчала вода. «Вход в первый разряд» — прочитал Заряжский на валявшейся в траве дощечке и понял, что здание было — баня и случайно уцелевшая труба внутри всё еще подавала воду. Он завернул за угол. Журчание усилилось. Здесь стена широкой рваной выбоиной рухнула внутрь. Из черного колючего хаоса в лицо пахнуло таким пронзительным запахом разрушения, что он вздрогнул. Как это и раньше случалось, вдруг с необыкновенной силой охватило его болезненное ощущение несчастья, обрушившегося на этот город, на него самого, на всю страну. Развалины, пустыри, пожарища на месте десятков, нет — сотен городов, поселков, деревень; миллионы разрушенных судеб, раздавленных жизней! Кошмарное преступление! И виновники...

Гм... можно было, как делали они с Духоборовым, блестяще скомбинировать ряд умозаключений, из которых выходило, что первопричина бедствия — большевизм, сам по себе — бедствие из бедствий. Но чувство ужаса, обиды, ненависти, наконец, к разрушителям разве умещалось в какие-либо логические построения? Разве не обращалось прежде всего на этих самых разрушителей, не взывало: зуб за зуб! кровь за кровь! Защищайся! Бей, а не мудруй!

Заряжскому вспомнился почему-то июньский солнечный день. Аудитория в одном из подмосковных институтов. Где-то за дверями аудитории, где-то на улицах и площадях обрушили громкоговорители страшное известие. Судорожно перепорхнуло с уст на уста слово: война. Переполох на улицах. Первые слезы. Возгласы. Вопросы...

Вместе с приятелем своим, доцентом Сабуровым, Заряжский заторопился домой, на сабуровскую квартиру, где останавливался.

— Война — это же конец режима! — говорил Сабуров горячим полушопотом. — Несомненно! Вопрос месяцев!

— Ты думаешь? Не беги так... Ты думаешь?

Они дошли до дому разгоряченные, взбудораженные до дна гаданиями о будущем, о приближающемся, может быть, воскресении.

Мать Сабурова, старая школьная учительница, необыкновенно долго открывала дверь: звенькая, пританцовывала бородка ключа по замку, никак не попадая в скважину, и оба переглянулись, поняв, что у старушки дрожали руки. Возбуждение разом ополовинилось.

— Леня! Какое несчастье! — сказала учительница, справившись с дверью, и губы у нее прыгали. Кажется, она хотела обнять сына, но не решилась и, обернувшись, пошла впереди них в комнаты старческой шаркающей походкой, маленькая, чуть сгорбленная, седая.

Отвернув лицо, Сабуров вдруг вздохнул судорожно, а Заряжский почувствовал, что на место исчезнувшего возбуждения поднялась и утвердилась комом в груди тоскливая, подавляющая тревога.

В столовой долго молчали.

— Вы что же, Леня, теперь — в Москву? — спросила старая учительница, протягивая Сабурову чай, и чашка позвякивала на блюде мелко-мелко, как давеча ключ — по замочной скважине. — Ты и Алексей Филатович?..

— Да — кивнул Сабуров и поспешно взял чашку обеими руками. — С первым же поездом.

— Какое несчастье! — повторила старушка, помолчав, когда ей показалось, что она справилась с прыгающими губами. — Этот Гитлер! Собственно-ручно повесила бы его! Неужели не отобьются наши?..

«Ведь вот тоже не мудрствовала тогда» — думал Заряжский. — «Сердцем» решала. И Сабуров, если жив, сейчас в окопах сидит. И тоже не мудрствует: лезет на пули, под танки, отбрасывает, задерживает... И другие мои... А я?»

«Всё это — слабоумие, нервные рефлексы!» — гудел в ушах злой басок Духоборова. «Довольно непоследовательностей! Что, разве мы не дрались до бесчувствия, хоть нам и не за что было драться? Голодные, безоружные! Кто виноват, что нас взяли в плен, когда мы свалились? И разве плен был спасением? Вон они, братские ямины-то, плывут! Я воевал в четырнадцатом. Попади тогда в плен — стал бы думать, как удрать. Кто виноват, что теперь я не могу, не желаю думать о побеге? Вернись мы туда, что с нами сделают? А? В лучшем случае, если не шлепнут, не запытают, — так в штрафную роту, концлагерь позиционный, в мясорубку. Пусть идиоты подышают за Сталина, за концлагери. Я против. И — долой рефлексы! Поймите: гангрену большевизма не вылечить иначе, как кровопусканием, ампутацией. Каким ножом: немецким, другим ли — все едино! А здесь, на этой стороне, люди с головой и идеей необходимы».

«Н-да... всё это головное... «Патриотизм, любовь ко благу отечества, требует рассуждения и потому не все люди имеют его» — писал, кажется, Карамзин, Но патриотизм не только рассуждение... он — в душе, в крови... Эти вот развалины, и обида... Порыв защищать — инстинкт, биология... Как расщепить этот комплекс?.. Тяжело!»

К лопаткам протёк холодок, — он вздрогнул и отошел от развалин. Вымощенная булыжником, серела рядом дорога, вела к центру города...

«Что ж я путешествую? Надо же решать: домой или...»

Решить удалось не сразу: Заряжский-старший стоял за то, чтобы подождать с полчасика и опять идти к Паншиным. Младшему же не хотелось видеть Плинка и он противился, приводя аргументы самые разнообразные и даже нелепые.

— Ну, к чему оставлять Милицу скучать с ним? — рассуждал Заряжский-старший. А завтра — в Р. ехать, четыре вечера пропадает.

— А зачем его там ночевать укладывают, если он скучный? не гостиница! — возражал Заряжский-младший. И одолел.

Оба прошли через центр, спустились к большому мосту, ругнули друг друга за то, что забыли узнать пароль, поговорили об этом с часовым и отправились восвояси.

14.

В городке Р. самое интересное было — поручик Сомов. Из местных достопримечательностей не оставалось ничего, ни даже церквушки какой-нибудь по-стариннее, хотя Р. не бомбили и по происхождению считался он еще древнее Старгорода. Горстка деревянных домишек среди леса — так он выглядел.

Поручик Сомов попал в Р. — в качестве переводчика при немецкой комендатуре — из Сербии, зигзагом через немецкий плен. Оба, и он и Заряжский, как-то сразу пришли друг другу и разговорились. Был Сомов эмигрантом из «полупоколения», т. е. родину оставил еще ребенком. Учился в Париже, потом где-то в Англии, по профессии был инженером, а для души «политиком без портфеля», как он выразился. Маленький, подвижной, он сильно жестикулировал, разговаривая, и чуть подергивался. Горячее какое-то сидело в нем напряжение, отражаясь в

умных, беспокойных глазах, — особенно когда спрашивал о чем-нибудь.

Знакомство состоялось за обедом. А вечером, когда Заряжский после концерта уже собирался спать, Сомов постучал в дверь общежития и пригласил к коменданту города.

— Майор. Доктор юридических наук. Хочет угостить нас ужином. Кажется, я спровоцировал приглашение. Простите, если вам это не улыбается, но я очень хотел бы, чтобы вы познакомились с этим экземпляром арийца.

«Экземпляр арийца» оказался плотным брюнетом за сорок, выхоленным до пухлости, с брезгливенькой улыбочкой на тонких губах и такой же брезгливенькой вежливостью.

Ужинали втроем. Подали рыбу и «картофель-салат». Уголком глаз майор следил с любопытством, как справляется Заряжский с вилками. Потом принесли коньяк.

Здесь Заряжский должен был рассказывать о московском университете и русских ученых, о которых доктор юридических наук имел такое же представление, какое сам Заряжский — об ученых Малайского архипелага, если таковые существуют.

С каждой рюмкой майор, однако, делался проще, и брезгливость его потонула, наконец, под хмельком. Он устроился в кресле поудобнее и, закинув ногу за ногу, начал — о войне и «русской проблеме», — повидимому «гвозде» вечера.

— Вы, русские, — вот и господин Сомов, например, — говорил майор благожелательным баритончиком, — считаете нас завоевателями. Но мы не завоеватели, нет. Мы выступаем, по отношению к вам, как соседи-друзья. Мы заявляем... — майор повыпрямился на кресле, очевидно — чтобы подчеркнуть торжественность декларации, — мы заявляем: вас, русских, терзает большевизм; у вас нет порядка и нет гм... должного опыта и гм... гм... врожденных качеств для налаживания своей государственности. Вы все-таки не достигли еще высокого уровня

европейской культуры. Техника у вас хромает, распоряжаться колоссальным своим богатством вы еще не научились. Мы вам поможем...

Майор перекачнул корпус вперед и протянул над столом холеные кисти. — Мы освободим вас от большевиков, — загнул он один палец с плосковатым шлифованным ногтем, — дадим порядок (загнул второй), научим государственности, приобщим к своей вековой культуре, к европейской науке, научим хозяйничать. Мы... — здесь майор туповато моргнул и остановился, потому что пальцев нехватило. — Мы поделимся с вами техникой, — продолжал он, подняв и поставив снова на стол коньячную рюмку в счет шестого пальца. — А взамен... Взамен поделитесь и вы с нами излишками громадного вашего пространства. У вас оно в избытке. Мы — задыхаемся в тесноте...

У Сомова все сильнее и сильнее дергался вверх и на сторону подбородок. Заряжский слушал спокойно: майор излагал в конце концов только один из знакомых уже вариантов с «варягами», ничего нового.

— Я полагаю, что эти мои мысли должны быть взяты как Grundsatz нашей пропаганды среди русского населения. Я всё изложил в обстоятельной заметке. Попрошу вас захватить ее завтра с собою для вашего шефа, лейтенанта Бриллинга.

Заряжский потушил сигарету и осторожно заметил, что немецкая пропаганда должна считаться с ростом патриотических настроений среди русских и что потому такой Grundsatz...

— Очень, очень хорош! — перебил майор убежденно. — Вы только попробуйте — уверен, что это встретит отличный отклик в массах.

Сомов кашлянул и совсем уже отчаянно дернул шей. Майор встал.

— Где вас устроили на ночлег? — спросил он Заряжского. — Как? в общежитии? Es geht nicht. Вы же офицер. Господин Сомов, проводите вашего

земляка в комнату Шульце. Она ведь свободна. *Gute Nacht, meine Herren!*

— Шульце — это здешний писарь. Теперь в отпуску. А рядом свободно другое помещение, специально для гостей. Но, конечно, предложить его русскому офицеру было бы слишком много чести... — сердито говорил поручик, ведя Заряжского по коридору. — Скажите, вы хотели бы — еще коньяку? Или лучше: расположены ли поговорить еще немного? Вот она, ваша комната. Я зашел бы к вам на часок с бутылкой, если вы не очень спешите спать?

— Конечно, конечно, приходите, жду! — сказал Заряжский, понимая, что Сомову хочется продолжить начатую за ужином тему. Сам он не очень охотно говорил о политике, не потому, что нечего было обсуждать, а потому, что — не с кем. Сомов же был собеседник свежий.

— Ну, как вам понравился доктор юридических наук? — спросил он сразу же, едва притворил за собой дверь. — Не правда ли, редкий образец политического слабоумия? Типичный представитель нации!

— Нации мыслителей и поэтов? Вы строги, однако.

— Мыслители и поэты — это, может быть, в самых верхушках. А *Durchschnitt* у них набит идиотизмами, как щука фаршем. Идиотизмом военщины, идиотизмом самовлюбленности, девственного незнания соседей и так далее. С тех пор, как попали под ефрейтора, и мозгами маршируют по команде.

Он сел, отщелкнул на перочинном ножичке штопор и стал вытягивать пробку.

— Коньяк у меня французский, должен быть лучше того, за ужином. Попробуем-ка...

— И ведь что бесит! — потянул он на сторону подбородком, ставя выпитую рюмку. — Не наглость, не то, что он нас собирается учить «государственности» — нас, которые за два столетия вымахнули до Владивостока и полсотни народов объединили в империю. — А то, что он, видите ли, уже делит добычу. Победа представляется ему — в кармане.

— А вы сомневаетесь? — спросил Заряжский.

— Сомневаюсь ли я? — подскочил Сомов, и рюмочки на столе задрожали. — Простите, я не сомневаюсь, — я убежден, что немцы будут разбиты. Влух и прах. До полного истребления.

— У меня этой уверенности нет. За последние дни взяты Майкоп и Краснодар. На востоке им, во всяком случае, не угрожает пока поражение, и...

— Они могли бы уничтожить большевизм, — перебил Сомов, не слушая, и так взорвал это «бы», что губы побелели. — Могли бы! Если бы не были кретинами. Для этого им нужно было держаться за русских людей, а не объявлять их унтерменшами, опираться на пленных, а не укладывать их в братские могилы, — на молодежь, которую они усылают в Германию, на мужиков, которых они грабят. Дальше: объявить независимость освобожденной России, отказ от каких бы то ни было территориальных притязаний, создать правительство...

— Ого-го! — Этого они, разумеется, не сделают.

— И потерпят крах. Бесповоротный. Что из того, что они там Краснодар взяли — вы говорите. Пусть возьмут десять Краснодаров. Всю Волгу. Пусть выйдут к Уралу. — Ничто не поможет. Дизлокация получится чудовищная. Они будут болтаться в ней со своими комендатурками, как... щепка в проруби. А главное — вызовут ненависть всенародную, и бабы станут поддевать их на вилы, как когда-то французов.

— Ну, вилами эта война вряд ли решится.

— Решат союзники. Погодите, американцы только еще расправляют крылышки. А потом эти крылышки загудят над Берлином. Не так, как теперь, а эскадрами. Немецкой гадюке перебьют хребет, а пасть на востоке потеряет зубы.

Он заговорил о военно-техническом потенциале Америки, о возможных десантах, об отношении союзников к России и большевизму. Заряжский изумлялся эрудиции и осведомленности этого скромного переводчика в немецкой форме без погон, с такой богатой и стремительной душой русского.

— Наша обязанность, — стучал Сомов по столу костяшками суховатых пальцев, — растолковать немцам, как они должны себя вести здесь, у нас. И не просить, понимаете, — требовать от них свободы нашей организации...

Бутылка с коньяком кланялась горлышком и пустила, отмеряя время, как песочные часы. В соседней комнате пробило два.

— Почему это преждевременно? — почти кричал Сомов, часом позже, уже охрипнув, и так подергивался, словно напрочь хотел выдернуть шею из воротника. — Медлить — грубейшая ошибка! Знаю, знаю эти разговоры: всё равно, мол, Россию не удастся поработить, немцев же вытурить легче, чем большевиков. А я вам говорю, — вскочил он, отлягнув в сторону стул, — что если им сейчас делать уступки, так они нам на шею сядут. Их скинут, конечно, но мы окажемся изменниками... Да нет же, я не про то, что вы или кто другой собираетесь с ними работать. Я сам с ними спутался. Не в этом дело, другого выхода у нас нет. Но они нам нужны вовсе не для того, чтобы их руками добить большевизм, как это думаете вы и ваши знакомые, о которых рассказывали. Они должны нам помочь объединиться, организовать. Да, да! Мы завоюем себе этих партизан, эту молодежь! Она вовсе не комсомольскими билетами вдохновляется, а патриотизмом и романтикой, без которой задохлась до войны. Мы развернем работу партии... Мы завоюем массы. Пораженчество без масс органически противно человеческой природе... Как матерубийство...

Он вдруг ощерился болезненно, потянул в себя воздух и сел, прихватив рукой бок.

— Что с вами?

— Пить нельзя... Сердце. Сейчас пройдет...

Лампочка над столом мигнула оранжево, и свет из нее утек — выключили динамо.

— Теперь можно бы окошко...

Заряжский нащупал и свернул в трубку картонную штору — в комнату втекли звезды, настоящий

на хвое и лиственной пади воздух и плотная, как скафандр, тишина... За стенкой зашлись хрипом часы. Выбили три...

— Конфликт будущего, — снова начал Сомов, глухо и с трудом выцеживая слова, и, должно быть от этого или от темноты, звучали в них какие-то мистические бемоли, — конфликт будущего, самого недалекого будущего, заметьте, — не Сталин-Гитлер... Гитлер, в конце концов, только побочный продукт, случайность... Мир придет к страшному кризису, к столкновению двух систем: коммунизма и демократии... Мы, как ничейные по своей беспризорности, окажемся между двух звезд... Понимаете? Между пятиконечной белой и пятиконечной же красной. Именно сейчас, здесь, должны мы готовить свою будущую позицию...

— Но немцы ни за что не пойдут на ваши требования, — сказал тоже почему-то шопотом Заряжский, с сожалением отворачиваясь от живительного окна. — Это утопично...

— Ну, и будут тут, на развороченных полях, землю копать! — стукнул поручик по столу, должно быть ребром ладони, опрокинув рюмку. — Рабочим скотом, арестантами! Я вам докажу...

Они разошлись, когда уже светало. Утром, после завтрака, невыспавшийся, бледный Сомов провожал Заряжского до грузовичка, отправлявшегося в Старгород за горючим и продовольствием. Кузов был забит пустыми ящиками и бензиновыми бачками. Вместе с шофером сели какой-то немецкий солдат и сильно раскрашенная женщина из местных. Заряжскому с карусельцами предложили устраиваться наверху.

— Вот пакет для Бриллинга с умственными испражнениями нашего майора, — сказал Сомов. — Забирайтесь на верхатурку. Типично для арийцев: немецкий ефрейтор со своей б..... едут в кабинке, а русский офицер и ученый — на ящиках. Ничего, будут расплачиваться и за это. Счастливого пути!

В кузове трясло бессовестно, но Заряжский все-таки подремал всю дорогу, а приехав — досыпал дома, захватив и обеденный перерыв. Разбудил его солдат из пропаганды с требованием явиться к Бриллингу. «Лейтенант сердится, что вы не зашли сразу, как приехали», — сообщил солдат дорогой доверительно.

«Гм... что ж, я у него на службе не состою» — подумал Заряжский и насторожился. Потом вспомнил, что сегодня придется, наверное, отвечать о согласии или несогласии оставаться лектором. Решение было обдуманно, и все-таки стало не по себе.

Бриллинг встретил, однако, хоть и суховаато, но без замечаний и молча вскрыл ножичком конверт майора.

— Вот еще один дилетант из наших немецких политиков! — сказал он, пробежав глазами содержимое. — Вы познакомились, конечно, с ними обоими? Я подразумеваю майора и господина Сомова? Оба специалисты по коньяку, кажется?..

— Коньяк у них неплохой, — улыбнулся Заряжский.

— Да уж добропорядочней этого, — бросил Бриллинг на стол сочинение коменданта из Р. — Ну, а от Сомова какое у вас впечатление? Может он что-нибудь читать на нашем семинаре? Впрочем, надо будет вызвать сюда самого. Плинк тоже переводится из Сухого. Станный господин! То не желал уезжать отсюда, то как будто теперь недоволен, что отрываю. Между прочим: вы тоже не дали ответа на мое предложение, — добавил он и посмотрел на Заряжского подозрительно. — А ведь переписка насчет вас предстоит основательная.

— Я все обдумывал, до сегодня. И — согласен.

— Вот и превосходно! — повеселел Бриллинг и звучно хлопнул себя по ляжке в знак удовлетворенности. — Поработаем вместе! Вам подходит ваша теперешняя комната? Тогда после отъезда группы я думаю поселить в домик еще Плинка и Сомова, вообще — преподавателей. Да: вам от вашего знако-

мого из Б. — ответ. Сегодня привез курьер. И еще какое-то письмо.

Он порылся в ящике и вытащил два конверта: самодельный, пятнисто заклеенный — от Духоборова, и другой, из вощенной бумаги, с незнакомым почерком.

В конверте с незнакомым почерком лежало то самое письмо, которого с таким натерпением ждал когда-то Заряжский и потом не мог выручить со стола зондерфюрера Берга. Было два листочка: один, побольше, от Вансовича, с поздравлениями и лагерными новостями, другой — от Милицы, — совсем короткая записочка, но трогательная необыкновенно.

Духоборов отвечал на четырех страницах:

«Разумеется, руками и ногами ухвачусь за редакторскую работу, — писал он. — Меня от здешней капусты и белорусского языка давно уже рвет в буквальном и переносном смысле. Можете выбратья — обяжете навсегда».

Дальше шли жалобы на материальные нехватки и еще несколько занимательных, но не очень цензурных строчек насчет Вали. Затем — о мировоззрениях:

«Откуда Вы взяли, что я против народности и патриотизма? «Масса» — это быдло, самое понятие — спекулятивное в советской терминологии, как и «коллектив». «Народ» же — отвлеченность, которая включает в себя и нас с Вами. Народность, популярность газеты не значит же, что надо равняться на бараньи инстинкты. Есть инстинкты и хорошие, как я понимаю. Патриотизм — в том числе. Ничего не имею против него, если идет из нутра. Даже против самого квасного. А Россию бранили и те, кто любил ее «до печёнок». Вспомните хоть Блока. (Кстати; знаете ли вы, что Блок в 1909 году, побывав в Германии, написал родным: «О если бы немцы взяли Россию под свою опеку!»). Браню ее и я, но ведь не отрекаюсь же...»

На последней странице Духоборов отзывался на «комсомольскую проблему».

«Я всегда утверждал и утверждаю, что наша молодежь — расчудесная. На многих комсомольское, как сажа на трубочисте: попарится в бане и сойдет.

Как Вы вашу знакомую разыскали, в бункере, — прямо просится в поэму. Может быть, и напишу. И символ вверну даже: вся Россия — бункер, а вот души испакостить четверть века не могут, как ни стараются».

Как и в письме Заряжского, в заключение шла приписка о Плинке:

«Никак не представляю себе Плинка сватающимся. Обязательно спрошу, если встречу, чем он перед этим завтракал...»

Постучал Майский и попросил посмотреть скетч, который составил, по его словам, сам и подготовил с Роммом и Ниной в качестве исполнителей.

— Вы обратите внимание, Алексей Филатович, — говорил он восторженно, — у Нины определенно сценический талант. Основательный! И вообще — как она у нас развернулась за последнее время!

— Да, да, очень... — отвечал Заряжский, поглядывая на часы: было уже четверть восьмого...

**

— Я знаю, вы позавчера проходили мимо вечером! — шепнула Милица, перебирая ноты. — И не зашли. Это — потому что Федор Федорович у нас был? Да?

Анна Ильинична за столом нахмурилась:

— Нечего шептаться при всех, не маленькая! И не трещи пальцами: скверная привычка, и руки будут трястись, словно кур воровала.

Она была не в духе; поджав губы, выбирала чернушки из какой-то крупы.

— Долго он сидел у вас, Плинк? — спросил Заряжский.

— Ночевать оставался. Человек одинокий, куда же ему...

— Ну, это положим! Мог к нам прийти или — в общежитие. По делам приезжал, не в гости...

— Небось надоели казармы. Дома, да еще тут. Безуютность солдатская... — Она сгребла в горсть чернушки и сыпала в пепельницу. — Вы заходили к нему в Сухом? Ну, как устроился?

— Недурно; в своем вкусе. Он разве не рассказывал?

— Жаловался на одиночество. А так — говорил мало. Вдвоем всё больше секретничали, без меня... И чем она его так расстроила, не знаю. Не говорят ведь теперь матерям-то. — Анна Ильинична покосилась на Милицу и еще сильнее поджала губы. — Уехал, как водой его облили. Смотреть жалко.

— Ничего, утешится, — сказал Заряжский, и она, рассердившись окончательно, собрала крупу в горланчик и ушла в кухню.

Зато заулыбались обе девушки. Настя настроена была в этот вечер благодуще, чем обычно: не нахохлилась, как всегда, при входе Заряжского, и книжку отложила в сторону. В поощрение он играл целый час на рояле попури из советских песен, и у нее совсем по-мирному улеглись брови.

— Плинка тоже сюда переводят. Для курсов, — сказал Заряжский и стал рассказывать о планах Брилинга.

— Значит, оба теперь завербовались к немцам?

— Оба, Настенька.

— Очень хорошо. Вот вас обоих потом и...

— Повесят! — договорил Заряжский жалобным голосом.

Она взглянула на него исподлобья и вдруг рассмеялась так звонко и весело, что изменилось все лицо и из суховатого, «учителки» стало беззаботным, девичьим.

Заряжский ни разу еще не видел ее такой и невольно подумал, что смех этот, верно, и есть — подлинная Настя, а все остальное — искусственное, наносное, как насупленные брови.

Но Настя тотчас же сама рассердилась на себя за веселость. Покраснела, нахохлилась и, взяв книжку, ушла в спальню.

Милица бросила ноты: — Не стану играть. Что думала — не нашла, а другого ничего не хочется!

Она тоже казалась Заряжскому не совсем такою, как прежде, чуточку возбужденнее; может быть, радостнее, — он не мог разобрать.

— Возьмите «Анну Каренину», я прочла, — сказала она, подсаживаясь к столу. — И теперь что-нибудь другое, по вашему выбору. Пожалуйста.

Заряжский раскрыл книгу. За обложкой лежал листочек из блокнота с давешним его вопросом, одними буквами.

— А ответ-то за вами! — напомнил он, кладя листочек на стол. В кухне загремело: Анна Ильинична уставляла по полкам вымытую посуду.

— Мне тоже пора, наверно. Тревоги сегодня не предвидится.

— Может, будет еще... — сказала она одними губами.

Но за окном стояла тишина. А через минут пятнадцать Анна Ильинична показалась из кухни с каким-то одеялом через руку наперевес. Заряжский поднялся.

Милица потянула со спинки стула вязаный белый платок с бахромкой и накинула на плечи.

— Ты это куда?

— Провожу Алексея Филатовича немножко...

— Так — до завтра? — спросил Заряжский девушку, придерживая плечом полуоткрытую калитку. — Если я вам не надоел, конечно...

Она помедлила секундочку, кутаясь в платок. Затем, чуть пораспахнув калитку, обняла его теплыми руками за шею, прижалась... Что-то шепнула и исчезла раньше, чем он успел передохнуть. Калитка

толкнулась в плечо, словно выпроваживая, скрипнула и закрылась, звякнув серьгой.

Чудесный этой точкой день, однако, не кончился.

Заряжский всего несколько шагов сделал по деревянному настилу — и тишину расщепила сирена. Неощутимо-отчетливо затормошился в переулочке сонный, прильнувший было к окнам и к палисадникам покой. Несколько секунд назад казалось понятным уходить, а теперь...

«Что за бессмыслица сидеть, может быть, всю ночь по разным бункерам в пяти минутах ходьбы друг от друга!» — подумал Заряжский и остановился в нерешительности. И такая же настороженность и нерешительность почудилась ему в темноте дворика, за воротами. И будто шаги... Он прислушался. Чуть звякнуло кольцо калитки.

— Алексей Филатович! — позвала Милица в темноту, и грудной ее полушопот от смущения, должно быть, звучал почти сердито. — Ну, куда же вы, если тревога?.. Ведь и выходить в это время не разрешается..

Он вернулся.

**

Было светло, как днем. Самолеты скапнули во мглу свечки, и они, под невидимыми парашютиками, плавилась зловеще над шоссе и дальше — над железнодорожными путями. Серебряно поблескивали на грядках цветы табака.

Скамеечку переставили так, чтобы смотреть в сторону пропеллеров. Они рокотали, взмывали над освещенным мраком, обрывались бомбами, уходили в звездную темноту на горизонте, разворачивались там и наплывали опять.

Неистово ухали в ноющий их стрекот зенитки; оранжевым кусачим дождем брызгали пулеметы; по черным небесным обочинам метались молочные лезвия прожекторов. Где-то за вокзалом взлизнулось зарево.

Теплое прижималось к Заряжскому плечо Милицы. И руки ее, тоже теплые, держал он в своих.

«Как условная вещь — страх! Совсем бессильная, если есть ему противоядие!»

Когда пропеллеры уходили и грохот примолкал, потрескивали отовсюду одиночные выстрелы: кто-то целил по парашютикам, старался сбить: три свечки, одна за другой, подраненные, сплыли, дрожа, вниз и погасли. Стало чернее, и табак на грядках потух.

Снова загудело и заухало. Взвизгнув, рванула воздух бомба. Два прожектора, сомкнувшись, выхватили из-под облачка самолет, словно платье с него содрали, — повели, высеребрив, по-над городом, подставляя зениткам.

Он плыл, ослепленный и всё же упорный в своей беспомощности, не спеша, чуть подрагивая крыльями. Красными искорками провожали его разрывы. Шел он прямо на насыпь.

«Если сейчас бросит — как раз сюда!» — подумал Заряжский, высчитывая кривую. Запрокинув лицо, Милица тоже следила за самолетом темными, немигающими глазами.

«А страха все-таки нет. Мгновенье не оборвать, а продлить хочется... И если страшно, то как раз — за продление, за будущее...» Их будущее! Будущее двух маленьких-маленьких судеб... В этом вот грохоте, решающем судьбы великие...

— Вы не боитесь, Милица?

Не опуская лица, она покачала головой и придвинулась к нему теснее.

Самолет пролетел. Прожекторы стаей кинулись ловить новый.

Налет, самый крупный за эти полмесяца, затянулся далеко за полночь. Небо уже посерело, когда в отяжелевшем от влаги предутреннем воздухе поплыл отбой. Осенняя брызнула по дворику роса. Стало совсем зябко, но двигаться не хотелось.

За воротами шелестнули шаги: Анна Ильинична возвращалась из бункера. Скрипнула калиткой. Постояла на пороге секундочку, взглядываясь в потемки. Потом прошла за их спинами, ничего не сказав. Но дверь притворила в сердцах, со стуком.

Тогда они поднялись и все так же, плечо к плечу, вышли тихонько на улицу.

Небо на востоке плавилось в сероватую синь. Правее, за огородами, между лиловыми ребрами крыш и деревьев, вырезжила уже голубая рассветная отмель. Белая, дрожащая потухала над нею звезда.

На глазах вытаивая из мрака, убегала к востоку шоссейная насыпь. За срезом ее дымилось что-то в нескольких местах.

«Сегодня» кончилось. В чуть внятном запахе гари и блеклых листьев, в сизых дымках пожарищ вставало неизвестное завтра.

Часть третья

ДНЕВНИК ВОЛОДИ ЗАБОТИНА

1 января 1945 г. Лагерь в Е., Германия.

Новый Год!! Целых два месяца отворачивался от своей тетрадки, а сегодня вдруг потянуло писать, писать, писать...

Хочется продумать эти прошедшие 366 дней. Сколько же горя оставили они в сердцах людей! Сколько слез!..

Мне лично принесли они много тяжелого. Полгода назад на улицах пылающего Минска я простился с Т. и, наверно, потерял ее навсегда. Как раз, когда мы почувствовали, что так дороги друг другу. Навсегда... Слово-то какое! А день спустя осталась позади наша граница — я потерял Родину, родных — всё, чем дорожил больше жизни...

За окном — черепичные крыши. Чешуйчатые, мокрые... Словно красные рыбины, вытащенные из воды. Над ними ползает грязный дым. Склизко, скользко...

В это время ровно год тому назад мы жили в К., под Борисовым. После обеда переспали как следует, потому что от новогодней встречи шумело в голове, а с сумерками пошли компанией кататься с горы на санках. А снегу-то! за валенки черпали. А простор-то! Помню, выбрались за околицу, и я оглянулся на нашу деревушку. Как уютно задремывала она в сугробах, под нахлобученными горбатыми крышами. Всё бело... только низкие простенки чернеют и щурятся окнами, как кот на лежанке. А небо чуть

фисташковое, и прямо, как по линейке вычерчены, висят над трубами кисейные дымки — знак мороза! Всё это прошлое... Грустно.

Но нельзя быть неблагодарным. Кое-что доброе было и в минувшем году. Господь хранил меня от смерти и несчастий; Он помог мне за это время «найти самого себя», созреть духовно, избавиться от «мальчишеского». Вот уж теперь А. И. Ромм не назвал бы меня «блаженным». Оформилось (или почти оформилось) мое общее политическое мировоззрение. Я понял, что не время теперь мечтать об артистической карьере (я и псевдоним свой — Ленский — оставил и взял фамилию матери — Заботин). И стихи высиживать не время. Моя задача: все силы, все способности и, если надо, жизнь отдать моему народу, моему отечеству и великому делу их освобождения.

Теперь я не одинок. Нас много, молодых патриотов, горящих идеями освободительной борьбы! За этот год окончательно сложились и окрепли силы, которые обеспечат успех нашего дела...

«Обеспечат успех»... — вышло по-газетному. Нет, это не из передовицы, не пустые слова. Нет, для меня не пустые!..

С молитвой Всевышнему, с верой, любовью и надеждой, под священным Андреевским флагом входим мы в Новый год. Помогите нам, Боже, и да будет воля Твоя...

**
*

Свою сознательную жизнь (с тех пор, как начал вести дневник) я делю на звенья. Первое звено — это еще Москва, девятый класс, два моих участия в «Бронепоезде» (да, да — на той сцене, где царил Станиславский, где выступали Качалов и Тарасова! Подумать только! Какими мальчишескими надеждами я тогда захлебывался!). Потом — начало войны и мобилизация всех нас, старшеклассников, на окопы, — конец звена. Звено второе — самое страшное — плен. Третье — самое долгое и значительное: работа в «Ка-

русели», Тася и дальше вплоть до выезда в Германию.

Четвертое я переживаю сейчас. Переход от одного звена к другому всегда связывался с каким-нибудь решающим событием. Удержится ли в Новом году теперешнее звено моей жизни? Сменится другим? Каким?

Об этом я думал и об этом молился, когда за окном башенные часы с вековой хрипотцой начали отбивать двенадцать, и все замолчали...

Потом началось веселье. От католического рождества осталось немножко рому для встречи... Подвинтились. Получилось даже что-то вроде художественной самодеятельности. Юрка К., напузырив щеки, играл на гребенке так ловко, что если закрыть глаза, не отличишь от скрипки (вот бы его к Вахтангову, на «Турандот»). Я тоже выступал со стихотворением «Новый год», в котором мне особенно нравятся последние восемь строк:

«Быть может, вправду нам случится
Услышать, как пробьет отбой,
Знакомый кров, родные лица
Увидеть вновь перед собой.
В родных глазах печаль ненастья,
Тоску разлуки потушить,
И смыть навек слезами счастья
Боль пережитого с души»...

Это стихотворение я слышал еще прошлой зимой от А. Ф. Заряжского или от Милицы (где оба теперь?). Но вчера я сказал, что это — моё, и сейчас злюсь на себя. Как много еще во мне недостатков и пороков! Еще вот — замкнутость: уже полтора месяца, как я каким-то фуксом залетел сюда из Восточной Пруссии, а всё ни с кем не сдружился как следует.

**
*

Утром немцы устроили новогодний митинг, а потом — парад национальностей лагеря: русские, латы-

ши, эстонцы, голландцы и венгры. Прошли под музыку церемониальным маршем. Получилось очень торжественно, но всё это напомнило мне почему-то Москву, и стало немножко грустно. Потом был очень хороший обед. Потом писал дневник и играл в «66».

Вторник, 2.1.45 г.

Погода — как у нас в октябре: ветрено, липкая сырость. Целый день работали в команде: рыли в горе бомбоубежище. Господи, сколько у них здесь камня! Искр сыплется больше, чем земли... Очень устал, т. к. нужно все время — киркой и ломом. Думаю, что простудился, потому что потного несколько раз прохватывало сквозняком до костей...

После обеда пошел в отпуск в город, был в кино, смотрел фильм “Die Frau meiner Träume”. Краски хороши, но в Марике Рокк есть что-то чересчур развязное. Наверно, это — модно для западной женщины, но я такого не люблю...

3 января 45 г.

День начался воздушной тревогой. В 7 утра налетело с десятков штурмовиков, но ничего не сбрасывали: покружились, поурчали, надымили и ушли. Вставши, почувствовал колотье в боку. Пересилил себя и пошел со всеми копать бункер. К немецкому нашему врачу идти бесполезно: он даже и не осматривает, а прямо заносит в кранкенбух “gesund” и передает после по начальству для взыскания за симуляцию. К этому свинству мы уже давно привыкли, что ж: мы для многих из них всё еще «унтерменши»...

Вспоминаю случай в прошлом году. Ехал из Восточной Пруссии с одной девушкой-остовкой. Немцы вывезли ее из-под Ленинграда, а родные, все до одного, умерли с голоду. Славная такая была девушка, очень робкая. Прижалась в уголок и рассказывала мне про блокаду. Шопотом, чтобы не раздражать немцев русской речью. И слезки часто-часто бежали по щекам, падали на сумочку, лакированную, из кле-

енки, в трещинках... И какое сердце не тронулось бы, глядя, если даже и непонятно, что говорит! Но немка напротив, в купе, с хлородонтовой — для своих! — улыбкой, всё кривилась на нас, ёрзала, А потом, как кондуктор пришел: «Не желаю сидеть в одном отделении с русской! Пусть уберут ее вон!» — кричала пронзительно...

По-моему, такие обиды гораздо горше, чем даже побои (если за дело) и никогда не забываются...

Всё еще нет ответа на наше заявление о приеме в РОА. Там, в подчинении русского нашего руководства, жизнь должна измениться. Приобрести смысл!..

Суббота, 6.1.1945 г.

Православный сочельник. Украшали зал и ёлку. Я делал из цветной бумаги маленькие фонарики — гармошкой. В горящих этих фонариках — что-то есть мистическое, волшебное. Гляжу — не нагляжусь, не знаю, почему...

Прибежал Юрка и сообщил радостную новость: в середине месяца нашу группу переведут в Берлин, в штаб Вооруженных Сил КОНР (Комитет Освобождения Народов России). Ура!!

**
*

Уточняю: известие о нашем переводе привез фельдфебель С. — Разговаривал лично с генералом Власовым, Трухиным и другими. Приходил к нам. Очень хорошо говорит! Как он представляет себе великую развязку? Это будет встреча двух единокровных Армий: советской, принудительной, и нашей — Освободительной. Судьбоносная встреча — и штыки повернутся единым фронтом против угнетателей нашей родины.

Утопия? Реальность?

**
*

Рождество Христово! И мороз, и снежку напорошило, так что и на Россию чуть похоже. В девять

утра все должны были ехать в Ф., в русскую церковь, но нас с Юрой вызвал унтер-офицер и приказал собираться с ним в Карлсбад, за какой-то литературой. Мы сначала озлились, тем более, что наш праздник и воскресенье вдобавок, а потом подумали, что оно и не плохо съездить: по крайней мере мировой курорт поглядим; другой раз, может, — и не случится.

Ехали часа три, потому что перед самым городом держали поезд из-за тревоги. Карлсбад сейчас — лазаретный город, весь искрещен крестами: и в профиль, и по фасадам, и сверху, по крышам — огромными. Блестящие отели глядят слепо, на улицах пусто, метет позёмка.

Шли бульваром и вспоминали, в каком это романе описывается Карлсбад. Мне кажется — у Тургенева, в «Дыме». Юрка спорил.

Выяснилось, что литературу можно получить только в обед, и еще — что в Карлсбаде есть прекрасная православная церковь. Пошли туда. Унтер-офицер увязался с нами (недоверие, что ли?).

Больше десяти лет не бывал в настоящей церкви (все в полуразрушенных или самодельных). Эта — очень уютная и богата внутри. Захватили только кончик службы и поразились: как много в Карлсбаде русских! Всё, должно быть, старые эмигранты. С одним, каким-то дрожащим старичком, познакомились, и он показывал нам разные иконы и, между прочим, одну, которую подарил церкви последний русский император, Николай II. Старичок, узнав, что я московский, задрожал еще сильнее и принялся расспрашивать про советское житье-бытьё... Унтер-офицер вдруг забеспокоился и велел уходить. Мы запротестовали, но он даже крикнул по-командному. Шли назад, и я вспомнил Заряжского, который говорил как-то: «В какую бы форму немцы нас ни одели, как бы ни называли, — всё равно мы для них пленные и прав у нас мало. Самообольщаться не следует».

Да, это верно!..

По возвращении нашел для себя письмо от Бориса Гавриловича Богаевского. Он все еще в Вост.

Пруссии, в Мазурах, где и А. Ф. Заряжский и многие другие знакомые еще по Старгороду. Очень обрадовался, но письмо тревожное. Привожу выдержку:

«Сидим в лесных землянках с удобствами и голыми бабами на стенках. Спим, играем в карты и ждем с часу на час прорыва с севера или южнее, на Алленштайн. Удержать никто не надеется»...

Иными словами, Богаевский уверен, что выйдет мешок, т. е. — гибель для него и всех наших...

**
*

Вечером в зале наша группа устраивала концерт. Во втором отделении хотел выступить и я со стихами Блока «Рождённые в года глухие», но концерт прервала тревога.

В потемках, в убежище, где мы вчера работали, вдруг одолела тоска. Вспомнил окопы, которые копали под Можайском... Было это в конце июля, а всего недели три перед тем Кирочка К., моя первая мальчишеская любовь, держала экзамен в МХАТ, и я подыгрывал ей в сцене Снегурочки с Мизгирем. Вот у кого был настоящий артистический талант! Ее приняли чуть ли не одну из сотни девушек, участвовавших в конкурсе. На другой день мы праздновали ее успех и заодно окончание экзаменов. Собрались вчетвером у нас, в нашем булыжном переулочке — тишайшем из всех приарбатских. Потом — полезли на крышу по пожарной лестнице. В мансарде нашего дома жил когда-то знаменитый Ш. и построил себе ателье: стеклянная пирамида выступала над крышей, и вокруг было плоско, удобно ходить и сесть. Роспили бутылку наливки. Кирочка, держась за дымоходную трубу, читала стихи Ахматовой...

Как сейчас стоит у меня перед глазами этот уголок заведеревшей Москвы, видный с нашей верхоурки. С одной стороны — милая наша «Успенье на Могильцах», куда водили меня еще ребенком. Оранжевая в вечернем освещении, а днем бледнозеленая. Про эту церковь ходил анекдот: немец перевел название так: "Schnurrbart Singen an den Gräbchen". По-

том из нее сделали склад. Под другим бортом крыши лежал наш дворик, весь в зелени, настоящий московский, поленовский...

Да! А немного спустя я отправился навстречу... плену!

Кирочке сразу же после зачисления в состав трупы пообещали роль Натальи Николаевны в постановке «Пушкин». Теперь она, верно, выступает вместе с Тарасовой. А я?..

До самого отбоя читал, чтобы отвлечься от мыслей, немецкий криминальный роман.

**

После обеда были свободны! Выиграл у Юрки пари «на что попросишь» и попросил свой портрет. Позировал часа два. У него хорошо получаются портреты угольным карандашом, но своим я не очень остался доволен. Спору нет, похоже, и даже веснушки изобразил, которые у меня и зимой сидят, не по сезону; но шея тонка, лицо слишком узкое, и какое-то в нем не то задорное, не то восторженное выражение. «Дон Кихот в ранней молодости», — сказал В., мой сосед по комнате. Верно!..

14 января 45 г. Лагерь Е.

Вот и 14-ое прошло, а про отъезд в Берлин ничего не слышно. Жизнь течет однообразно... Тревоги...

Только вчера ответил Б. Г. Богаевскому. Еще раз просил узнать: неужели никто там ничего не слышал о судьбе наших девушек из «Карусели»? Ведь если Тася с Ниной остались тогда в Минске — это для обеих наверняка шахты, т. е. позор и медленная гибель. Не простят, что выступали также и для немцев и получали немецкий паек.

А если их вывезли, то, может, они где-нибудь в лагере сейчас. В каком? Может, недалеко от меня. И не знать, где!..

16 января.

Всё еще никаких известий о переезде.

Снился сон: будто я в Берлине или еще в каком-то немецком городе, где по окраинам — остовские лагеря. Жара, как в крематории.

Я едва держусь на ногах от усталости, но все хожу от одного лагеря к другому. Ищу Тасю. За проволокой много женщин, я им кричу, они подбегают к загородке, но немцы-часовые стреляют в них и гонят прочь. И вдруг я вижу, что не они, женщины, а я сам за проволокой, заперт кругом. Бросаюсь в ворота, часовой загораживает дорогу, и я замечаю, что это не немец, а советский, с малиновыми петлицами и красной звездой на шапке... Пытаюсь выбежать, но он бьет меня сразмаху прикладом по голове. — Хр-руп!..

18 января.

После обеда ходил в отпуск. Зашел в музей. Вот старина-то!.. Пристроился к какой-то экскурсии и осматривали комнату, где убили Валленштейна. Со стыдом подумал о том, что еще не читал Шиллера. Кроме, правда, «Орлеанской девы» в переводе Жуковского.

«Ах, почто за меч воинственный
Я свой посох отдала
И тобою, друг таинственный,
Очарована была?» —

— Этот весь монолог Жанны д'Арк почему-то запомнился. Трогательный!

Смотрел еще средневековые орудия пыток: бабабан с гвоздями, клещи, чтобы рвать тело и т. д. Между прочим, и железный футляр, в который замыкали неверных жен за измену. Вспомнил «Петра 1-го». Там изображается такая казнь: женщину за убийство мужа зарыли в землю по горло. Иностранцы, окружавшие Петра, ужасаются варварству. Чего же им-то ужасаться? Может быть, вот теперь большевики обогнали Европу в мастерстве пытать, а в прош-

лом на Западе техника по этой части была много богаче нашей, если судить по здешней кунсткамере...

**
*

Советское наступление в Восточной Пруссии началось и разворачивается стремительно. Из сводок выходит, что немцев отрезают к северо-востоку, так, чтобы замкнуть приблизительно у Кенигсберга. — То, чего боялся Бор. Гавр. Богаевский! Письма моего он, значит, не получит... Неужели не удастся нашим пробиться через окружение? Неужели захватят?

**
*

Сижу один в комнате; плохо светит лампа, спиралька — красная, без блеску совсем (что-то повредилось в электро-установках в последнюю бомбежку). Все ушли в кино. Целый вечер не находил себе места. Сводка сегодня еще отчаяннее: 4-ой армии, где находятся наши, очевидный капут... Представляю себе Ф. Ф. Плинка, как он отмечает по карте занятые красными пункты, и руки у него дрожат.

Почему-то кажется, что с этим вторжением советских войск в Германию мы окончательно отрезаны от родины... Пробовал писать стихи, но не получилось. В школе у меня были всегда пятерки за сочинения. И стихи хвалили, но, наверно, нет у меня настоящих поэтических способностей, а уметь подбирать рифмы еще не значит быть поэтом. Тоска. Много курю. Перечитал тетрадку, в которую выписываю все особенно понравившиеся стихотворения, — и расстроился еще больше. Так и встает перед глазами всё оставленное, потерянное. Москва, мама, Тася, другие близкие... Один совсем...

Дорогие мои, любимые!
Где вы? Что с вами? Живы вы?
Тихо плавится на стихи мои
Свет лимонный из синевы...

Ах, давно уже стало не новью,
 Что на жизни и цен-то нет!
 Оторвали от сердца с кровью
 Самое драгоценное...

Ах, как тяжело!

21 января.

Ура! Ура!! Ура!!!

Приказано сматываться. Едем в Берлин! Это пишу на станции, где ждем поезда. В ожидании немного прошелся по городу и имел интересную встречу. В больших воротах (забыл, как называются) немецинвалид продавал жестяные бляшки с гербом города, как «анденкен» и чтобы набивать на чемоданы. Купил две, а когда прятал в карман, ко мне подошла очень хорошенькая девушка: бронзовые кудри, глаза — зеленоватые в пушистых ресницах.

— Вы ведь русский? — спросила по-немецки.

— Русский.

— Как же вы можете идти вместе с гитлеровцами? Против своих же? Ведь они же поработители, эти немцы! Самые страшные враги всех славян! — Девушка говорила очень возбужденно, но почти шопотом, оглядываясь. Для меня ее атака была так неожиданна, что я, кажется, очень смутился и не нашел сразу ответа. Эх, досадно как!.. Сказал, что мы боремся с большевизмом, а не со своим народом. Но сказал невнятно, бормотнул, а потом в воротах стало много прохожих, — девушка презрительно тряхнула кудрями и отошла прочь. Должно быть, это была чешка...

Велят брать вещи. Скоро поезд.

22 января. На новом месте.

Поехали на Пильзен. Там надо было делать пересадку, но когда пришел поезд, не попали в него: был набит, как наш московский трамвай «В» вокзальной линии. Пришлось ехать зигзагами и переса-

живаться еще три раза. Последний раз — в Лейпциге, где потрафило сесть в воинский состав на Берлин.

Оно очень разбито, это «сердце» Германии! В 43-м году некоторые из наших (из Старгорода) ездили сюда в экскурсию и потом много рассказывали... Сравнивали здешний стиль с ленинградским. Где он сейчас, этот стиль? От целых кварталов остался один лишь чертеж — жирные штрихи улиц в пыльных развалинах. Жаль. Потом вспомнятся наши Смоленск и Минск, как разрушали их немцы, вполне бессмысленно, перед отходом — и жалость пропадает.

Берлинское метро. Какая же серость после нашего московского! Блеклые стены. Много рекламы, тоже блеклой. Грязно, темно. Единственное понравилось: можно курить. Берлинцы спешат, спешат, спешат. Тревоги здесь постоянно, и каждый торопится использовать временное затишье.

Станция Далемдорф. Отсюда мы — строим, со знаменем...

Четырехэтажное здание — бывший химический институт. Сейчас здесь располагается штаб и разные учреждения РОА. У подъезда встретили генералов Трухина и Малышкина.

Устраиваемся на новом месте. «Жить стало лучше, жить стало веселей»...

28 января.

Называемся теперь курсантами отдельной учебной роты Штаба В. С. Н. Р. Сегодня состоялось открытие наших курсов. Было много офицеров. Пригласили ансамбль песни и пляски РОА, который еще более поднял настроение.

Как же она действует, музыка! Слушаешь — и бодрость, и вера появляются. Родина будет нашей. Родина будет свободна!

Интересно: оформление курсов совпало с объявлением генерала Власова главнокомандующим вооруженными силами О. Н. Р.

Командиром у нас — подпоручик К.
Тревога! Надо бежать в убежище...

**

Налета не было, и отбой дали через полчаса.

В подвале все — под впечатлением концерта. К. спросил меня, хочется ли мне тоже выступить. Я сказал, что не имею никакого желания. И опять вышла неправда, хотя много раз обещал себе избегать лжи даже в пустяках: на самом деле, когда я слушал песни, я вспомнил о «Карусели» и жалел эту свою профессию. Все-таки мы за два года (в Старгороде, а потом — под Борисовом) выступали 78 раз. Правда, я, главным образом, — с декламацией и в хоре; в пьесах — только Нелькиным (в «Свадьбе Кречинского», ужасно глупая роль!). Незнамова же мне Майский не дал сыграть, за что я долго на него обижался. По-моему, он ошибался, посчитав, что мое сценическое амплуа «простак». Почему же в чтении мне лучше других удаются как раз драматические вещи? И как раз к ним у меня тяготение...

С завтрашнего дня начинаются регулярные занятия на наших курсах...

30 января.

Понемногу втягиваемся в учебу. Занимаемся по 8-10 часов: боевая подготовка, тактика, уставы и прочее. Сегодня ездил в город, на Фридрихштрассе, поглазеть, но глазеть не на что. Берлин искрошен, Берлина больше нет. Вечерами шумно, поэтому мало пишу.

Вот уже два раза видел нашего главкома — правда, только проходящего мимо. Первый раз даже взволновался и чуть не забыл стать «смирно». Большие очки, лицо нельзя сказать, чтобы красивое, особенно — губы и нос, но волевое, и сразу видно, что это — человек руководства, за которым можно идти, не оглядываясь. Какая-то уверенность во всей его фигуре и движениях. Еще мне нравится, что он один

из всех не носит немецкой формы. В этом — глубокий смысл, это подчеркивает его роль русского вождя.

5 февраля.

Ужасная бомбардировка! С тысячу американских самолетов налетело. Всё тряслось кругом. Сидели в убежище без конца. Казалось, камня на камне от города не останется. Разрушений (оперный театр, дворец и т. д.) очень много. Ну как могут выдерживать этот кошмар немцы!

Комитет О. Н. Р. эвакуируется, несколько наших ребят поехали охранять. Питание очень неважное. Всё вместе давит.

9 февраля.

События на фронте угрожающие: советские войска уже у Франкфурта на Одере. Познанский и ратиборский гарнизоны ликвидированы. Беженцы с востока тянутся через Берлин и выглядят только почище, но так же печально, как когда-то русские бездомные в оккупированных немцами областях. Выходит: «зуб за зуб». На улицах громоздят баррикады, немцы организуют отряды самообороны города. Следующая ступень за всем этим — паника.

В Москве началась «конференция трех» (Сталин-Черчилль-Рузвельт). Кажется, близится конец. Страшное время!

Поговаривают, будто мы тоже эвакуируемся на юг Германии или в Триест. Что будет?

11 февраля.

Тревоги почти каждый час, так что совсем мало приходится заниматься. Вчера, по поручению подпоручика К., ездил в Дабендорф, в пропагандную школу, с письмом насчет присылки лектора для нас. Неожиданно встретил Г., с которым познакомился еще в Борисове. Он говорил, что школу тоже собираются эвакуировать. Порядок и у них нарушен. Настроение тревожное и бесшабашное.

Возвращался в сумерки. Закат потухал дымно-лиловый — от пожаров, должно быть. Пахло гарью и почему-то весной. Всё шоссе, под немецкими толстыми рябинами, от лагеря до станции — в прогуливающих. Группки, а чаще парочки, под руку и в обнимку под деревьями (курсанты с девушками-остовками). Смех, шопот, чмокание...

Грустно и радостно: всюду жизнь! Не убить ее ни страхом, ни бомбами!

Когда подходил к вокзалу, сзади пели:

«Я Сибири, Сибири не боюсь,
Сибирь ведь тоже русская земля...»

Показательная для настроения песня!

**

Сегодня воскресенье. После обеда наша рота принимала присягу, а потом все пошли в кино. Я остался под предлогом, что болит голова, и пожалел об этом. Чувствую себя одиноким, отрезанным от всего мира. Прочел в сводке германского командования о группе полковника Сахарова (в ней есть кое-кто из нашей роты), которая отличилась в боях. Взяли пленных, и те будто сказали, что еще раньше бы сдались, если бы знали, кто их противники. Правда это? Вспомнился разговор с девушкой из Е. Все-таки ведь «брат на брата». И теперь для меня не тайна, что немцы никакие не «освободители», что наш союз с ними — только тактический ход для обеих «высоких договаривающихся сторон»... Как все сложно! Ясно только, что как ни обернись дело — гражданская война неизбежна на нашей многострадальной родине. Кровь будет заливать ее еще долго. Трудно во всем этом разобраться, можно только верить.

«Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,

Из преступлений, исступлений
 Возникнет праведная Русь.
 Я за нее одну молюсь
 И верю замыслам извечным.
 Ее куют ударом мечным,
 Она мостится на костях,
 Она, святыня в ярых битвах,
 На жгучих строится мощах,
 В безумных плавится молитвах».

Понедельник, 12 февраля 1945 г.

Тяжелые сутки. Ночь не спал, потому что был в наряде; сейчас пропущу лекцию подпоручика В., отдохну и пойду на топографию. Потом — опять стоять в карауле.

Утром пришло печальное письмо. От Алексея Филатовича Заряжского. Из какого-то лазарета. Он, оказывается, заболел еще в декабре в Восточной Пруссии туберкулезом легких, и теперь у него горловая чахотка, голос пропал. Из Восточной Пруссии вывезли его в начале января, и с тех пор он ничего не знает о Милице, которая осталась там вместе с Ф. Ф. Плинком, Богаевским и другими и, значит, сейчас — в руках большевиков, если не удалось пробиться... Спрашивает, не слышал ли я о ней. Письмо отчаянное...

«Прощайте, Володя. Больше не поговорим с Вами о театре и музах. Со мною, видимо, всё. Вы ведь московский мой адрес знаете? — На случай, если приведет Вас Бог вернуться... Прощайте.»

Что ж, от горловой чахотки не выздоравливают! Жутко... Бедная Милица! Сейчас же послал ему ответ, но даже и не верится: неужели могут еще доходить письма, ведь с каждым часом — всё страшней положение.

Тот же день, 18 ч. 30 м.

Суматоха. Получили приказ сматываться. В ночь или утром выезжаем со всем штабом В. С. Н. Р. куда-

то на юг. Говорят — в южную Баварию. Маршпаек на 2 дня уже выдали.

14 февраля.

Едем. Нет, вру: стоим на запасных путях Берлина. До сих пор не дают паровоза. Наш состав: шесть классных вагонов, 12 товарных и еще платформы с машинами. В пассажирских расположились офицеры и семьи штабных, прочие — в теплушках. Всего едут в эшелоне: 229 офицеров, 6 генералов, 300 солдат и остальные гражданские, общим числом — 1027 человек.

Берлин провожал нас дождем и снегом. Закончили погрузку к 10 часам и ждали целый день. С вечера начались тревоги, было очень неприятно: тьма, прожекторы мотаются по небу. Несколько раз принимались бухать фляки. Осколки цокают по рельсам и крышам вагонов. Стало вдруг ужасно недоставать убежища... Но обошлось.

Проснулись на том же месте. Сейчас уже больше 9-и. Засуетились... Наверно, подают паровоз!

Теперь едем. Ползком, почти на каждой станции задерживаемся часами: тревоги. Умяли уже весь паек на два дня. Странное ощущение: дорога как будто бодрит, а на самом деле — всё удаляемся и удаляемся от родины, от цели. Куда? Что ждет?

17 февраля, Нюрнберг.

В дороге уже третьи сутки. Очень интересный город — Нюрнберг. Почти все здания исторические, построенные много сотен лет назад. Если бы прибивать дощечки с обозначением, что это — музейная ценность, то в дощечках был бы весь город. Поразбомбили его на-совесть. Старые стены чуть напоминают китайгородскую, только та была из белого камня (Москва белокаменная), а эти — из коричневого.

Здесь мы остановились на полдня и, во избежание бомб, разместились за городом, в лесочке. Любопыт-

но: выехали из зимнего Берлина, по пути — белел снег, а приехали в весну. Солнце. Небо пронзительной голубизны... Теплынь. Над головой шелохнулась и хрупнула ветка. Посмотрел — белка... Еще линючая, неопределенного цвета. Бросила шишку...

Голодно! Вчерашний паек (500 г. хлеба, 50 гр. маргарину и 100 гр. колбасы) съел разом. Немецкий Красный крест, спасибо, кормит супом... Какие всё-таки немцы замечательные организаторы!..

«После обеда кроем дальше, на Ульм!» — сказал, проходя, Юрка и улегся рядом, подложив руки под голову. Помолчал немного, потом вздохнул тяжко.

— Ты чего?..

18 февраля, Ульм.

«Я помню ульмское сраженье,
Там кто-то ногу мне отбил,
Хоть велики были мученья,
Но я терпел: я русским был.
Я русским был!..»

Это очень жалостная старинная песенка, которую любила петь моя мама. Начал было ее напевать, разглядывая город в горах (они здесь до километра высотой), и вдруг глаза затекли слезами. Замечаю, что последнее время вообще не могу многих песен слышать — тех, которые вызывают воспоминания. Но хватит об этом. Да, вот и здесь, в Ульме, не в первый раз ступает нога русского солдата. Только теперь этот солдат — изгнанник, «враг народа»...

Умылись у паровоза, позавтракали и поехали дальше. Часа через три добрались до Мюсингена. Здесь расположена 1-ая дивизия РОА.

21 февраля. Лагерь Хойберг.

Потерял свой кисет — единственную (не считая фотокарточки) память о Тасе. Прошлой весной в Борисове нам с Дуниным удалось выхлопотать для своих «карусельных» девушек отрезы на платья. Тасе до-

стался красный с мелкими цветочками; она сшила из него сарафан и выгадала кусочек — для меня...

Потерял! Сейчас, когда пишу, расстроен этим чрезвычайно. Наивность? Ребячество? Пусть говорит это тот, кто не чувствовал себя никогда таким бездомным, как теперь мы.

Нога у меня забинтована: растяжение жил, сам не знаю, как подвернулась.

Всему причиной мытарства перед тем, как добрались до здешнего лагеря. В Мюсингене помещения для нас не оказалось. Двинулись в Эхинген (городок тысяч в 10 жителей), но не выгружались и там. Поехали к юго-западу, остановились, не помню, на какой станции, на Дунае (кстати: почему его называют голубым? Вода в нем зеленоватого цвета!) После утомительной разгрузки эшелона топали 10 километров сюда. С рюкзаками, по солнцу, в гору.

Я очень тяжело переношу марши. Не могу привыкнуть, чтобы не пить в походе, как советуют. Пил и обливался потом. Никакого внимания не обращал на окрестности, а они тут весьма красивы. Правда, такой красоты природа всегда кажется мне немного декорацией, как на сцене...

За одним поворотом прямо в лоб налетело несколько английских истребителей. Мы махнули за обочины, легли в траву. В глазах темнело от усталости. «Та-та-та»... — простреляли пулеметы, и несколько пулек торкнулись в землю совсем около моей головы, но мне было всё равно.

Вот после этой остановки я и обнаружил пропажу кисета. Прошел чуть назад, потом догонял и свихнул ногу в спешке. 22 несчастья!

**

Это очень большой лагерь, целый городок. Лежит на плоскогорье, вокруг холмы со сквозными коричневыми лесочками. Прежде здесь стояла, видимо, немецкая кавалерийская часть. Теперь люди также и в конюшнях. По утрам — зарядка, отбой в 10 часов. Занятия (теоретические и строевые) начались сразу

же. Как и в Берлине, мешают тревоги, их было несколько в первый же день. Ежедневно 2-3 часа самоподготовки, и это мне облегчает писание дневника.

23 февраля.

На родине — день Красной армии. По радио — «ура», и совсем не казенное. У нас — занятия. Сегодня был боевой устав пехоты и строй. Нога моя почти поправилась. Включился в физкультурную команду: выбрал волейбол и сегодня тренировался до потемок. Сейчас пишу, а когда закрываю глаза — вижу, как пружинит сетка, отбрасывая неудачный мяч.

25 февраля, воскресенье.

Две тревоги и один легко раненный осколком в ногу наш связист. Вечером — концерт ансамбля РОА. Один из певцов исполнял «Однозвучно звенит колокольчик». Не слишком-то превосходно, но мне вдруг представилась Тася, и как получалось у нее это:

«И замолк мой ямщик, а дорога
Предо мной далека-далека...»

Я помню, как пунцовели у нее щеки, а глаза («вишенки» — говорил Заряжский) делались еще темнее и — вот не могу найти слов — будто они вместе с песней всю мою, ее, нашу разлуку-тоску выговаривали. Право, так... На «Колокольчике» в зрительном зале всегда хлюпали...

Вот она в памяти, как на ладони, — вся история нашего знакомства... И как оно странно протекало! Еще в Старгороде, — даже в К., под Борисовым, мы были так далеки друг от друга. Я тогда предполагал, что ей нравится Дунин, и сам по себе и своей мастерской игрой на баяне. Переживал это болезненно, даже скрывал с трудом, и Ромм, бывало, всё подшучивал. А потом пришел этот незабываемый день 15-го июля и целая цепочка случайностей. Почему-то Марфушка, молодая галка, которая жила у меня в комнате, не

хотела ничего есть, заскучала, и я решил отнести ее в лес. Почему-то Дунин и Нина оказались заняты, и мы пошли вдвоем с Тасей за плотину. Уже вечерело. Я никогда не забуду, как красиво было в лесу и на реке в тот вечер. Особая, значительная какая-то разлита была красота. Что ж, это была моя последняя встреча или лучше сказать прощанье с природой родины!.. Через два дня началась эвакуация.

Мы прошли запруду с тихими рыбьими всплесками и кругами на воде, потом маленькое кладбище в кустарнике и крапиве с гнездом аиста на макушке голого вяза. Дальше начинался сосновый лесок и сползал крутым бережком к реке. Пахло какими-то медовыми цветами и немного — рыбой. И какая же была тишина!.. Вдали, в речной извилине, плыли на лодке. Она чуть виднелась, потому что уже притуманивало, и потом скрылась за камышами, а удары весел со скрипом уключин всё долетали до нас по воде. Молча, не сговариваясь, мы оба старались как можно дольше различить их, прислушиваясь...

Марфушка вдруг насторожилась, завертела головой по сторонам, каркнула и перелетела с моего рукава на тасино плечо.

— Ай! Сними, Володя!

На ней был красный сарафанчик в цветочках. Одна марфушкина лапка попала на сборчатую кромку, а другая пришлось на живое место. Я даже сморщился, помню: так больно было видеть, как вкогтилась она в золотистую кожицу плеча. Неловко сдернул лапку с материи — и оттянулся на секундочку круглый вырез, и сверкнула в глубине крутая развилка ее грудок... Так сверкнула, что потерялся вдруг, и пальцы запрыгали, другую лапку и не ухватил никак...

— Отцепляй, не бойся! — сказала она тихо и скинула вверх и в сторону зарумянившуюся щеку...

На шее осталась узенькая розовая царапинка, когда я, наконец, разжал коготки. Потом... я даже и сейчас не могу себе объяснить, почему мне вдруг именно в тот вечер (не раньше когда-нибудь) удалось

так легко высказать всё, что собирался давно... Ни за что не мог бы теперь припомнить тогдашних своих слов. А ее несколько слов помню все до единого, как молитву, — слов, которые так давно хотел, но не мечтал когда-нибудь услышать.

Впрочем, всё это совсем не походило на «объяснения», которые изображаются в романах. Мы и говорили мало. Долго гуляли тесно-тесно друг к дружке. Смотрели, как одевается сумерками река. Я нашел по скату три крупных земляничины. На обратном пути нарвал у плотины кучу водяных лилий. Тася захотела сама рвать — и утопила одну ногу выше колена.

Пришлось разуваться. Задник разбух мгновенно и не захотел слезать. Я потянул за каблук, обхватив рукой узкую щиколотку. Потом вытер похолодавшую ножку носовым платком и поцеловал — для самого неожиданно. Она вытянула ее тихонько из моих рук и поднялась, запунцовевшая, а мне было разом и необычно хорошо и неловко, и я, отвернув от нее лицо, долго вытирал платком мокрую туфельку.

Дальше пошли лучшие из пережитых мною когда-нибудь дней. Почему суждено было им окантаться такими непродолжительными! И страшными: чего стоила одна бомбардировка в Борисове, когда нас едва-едва не покрыло «ковром» около вокзала. Но — несмотря ни на что! Мы оба старались как можно дольше быть вместе, как можно ближе, и в машинах, в пути, и в убежищах. И так — до расставанья в Минске...

**

Оказываю успехи в спорте. Мяч подаю уже совсем чисто, никто не смеется. Не мешало бы быть чуть повыше, чтобы «гасить». Слышал, что человек растет до 25 лет, значит у меня еще три года роста впереди! Во второй половине дня по расписанию — штыковой бой, но за обедом кормили тухлой кони-

ной, и всех начало тошнить. Штыковой бой заменили изучением дегтяревского пулемета.

**
*

4 марта 1945 г.

Размокропогодилось окончательно. Снег и метель. Всё это, конечно, делают горы: мешают тепловому воздуху со Средиземноморья, а северные тучи цепляются за них, как войлок за грабли. И вот метет. Сразу стало темно и скучно. Занимались по теории.

Видал сон, из которого следует, что на днях должен испытать какое-то «удивление». Посмотрим.

**
*

Снег! В лагерь прибыло несколько тысяч русских военнопленных. Вид истощенный, обтрепанные... Их будут обмундировывать и проводить переподготовку. Пополнение! Не поздно ли? По этому случаю — разговоры: как нелепа была политика немцев в России! Какая тупость во вред самим же себе! Нашу РОА надо бы — сразу же. И правительство... Ну, да чего уже теперь!..

Перевели нас в новую комнату, более тесную. Спим подвое на койках.

7 марта 1945 г.

Встреча неожиданная! Новость потрясающая! После изучения трех различных систем пистолетов объявлена была лекция по литературе, и явился... Федор Федорович Плинк! Он в форме поручика, и я его сперва даже и не узнал. Еще бы: предполагал погибшим, у советчиков, словом — вычеркивал возможность такой встречи полностью. Убедившись, что это он, чуть не бросился обнимать. Кажется, он тоже был растроган. Потом начал лекцию, но я никак не мог сосредоточиться на том, о чем он говорит: кипел от нетерпения расспросить, как удалось ему спастись, и про остальных. Следующее занятие было поручика Л. о приемах джиу-джитсу, и я, нарушив дисциплину, отошел с Ф. Ф. в тихое место под деревьями.

За новость, принесенную им, я готов бы заплатить самым тяжким дисциплинарным взысканием: Тася в Германии!!!

Спасена от самого страшного! Их с Ниной вывезли из Минска вскоре после нас. Нина прислала Фед. Фед-чу письмо. Ей удалось устроиться в какое-то офицерское казино, а Тасю направили в остовский лагерь под Берлином. Подумать только, что мы были целых три недели, может быть, совсем рядом друг от друга! Подумать только!

Ну, всё равно! Теперь Ф. Ф. дал мне нинин адрес (фельдпост), и я уже написал ей, прося сообщить всё, что знает про Тасю. Какая тяжесть свалилась с сердца! Как радостно на душе, и как захотелось жить и не поддаваться никаким мрачным настроениям!

Мой дисциплинарный проступок остался незамеченным: сразу после начала физкультурного занятия налетело 12 ястребков. Закружились, запетляли, как сумасшедшие, и стали бросать бомбы на станцию Тиргартен. Мы с Ф. Ф. залезли в укрытие, он всё попрежнему теряется при бомбежке и неловко так торопится, чуть прихрамывая. В укрытии Ф. Ф. рассказал про свои злоключения. Их всех действительно почти что взяли в мешок: осталось узкое горлышко недалеко от побережья, западнее Кенигсберга, по которому им удалось, уже под обстрелом, утечь от смертельной опасности. Бензину у них нехватило, и каждый спасался в одиночку, не зная ничего о других.

Про Заряжского Ф. Ф. в курсе, но, конечно, не предполагал, что болезнь так серьёзна. С Милицей они расстались в каком-то местечке, километров 100 от моря. Там Милицу и еще трех девушек посадили по кабинкам в машины и повезли к Пилау для эвакуации на кораблях... Он надеется, что им тоже удалось спастись...

10 марта.

Всё еще под впечатлением чудесной новости. Полон надежд. Вот пусть теперь уверяют меня, что сно-

видения — пустяки. Я знал, что случится что-то неожиданное. Предчувствовал!

Теперь всё зависит от ответа Нины. Досадно, даже высчитать нельзя, когда он может получиться! Где находится её часть? Может, тоже отрезана? Тогда и почтовая связь прервана! Писем теперь приходит с каждым днем всё меньше и меньше...

Вечерами встречаемся с Ф. Ф. Положение на фронтах критическое. Английские войска заняли Кёльн, дошли уже до Майнца. Советы захватили балтийское побережье до Штеттина. Армии Жукова и Рокоссовского соединились. Бреславль и Познань взяты...

Ф. Ф. настроен очень пессимистически, и это действует на меня. Сегодня были с ним на концерте, который прервала тревога. «Знаете, Володя, — сказал он мне в укрытии, — слушал вот музыку, и пришел мне в голову Ромм. Помните, он пел какую-то песенку Вертинского... Там такие были слова:

«Я больной и старый клоун,
Я машу мечом картонным»... и т. д.

Когда я смотрю на все эти наши занятия, игру в солдатики «особого назначения», — всё это представляется мне клоунадой с картонными мечами... Особенно, когда читаю сводки или вот сижу в щели... Это, может быть, и малодушие, но ясно одно: мы должны быть готовыми ко всему. Самому страшному!»

Клоунада? — нет, конечно, нет! А в остальном он прав...

15 марта.

Интересный здесь климат: всего три дня назад был снег, метелица, а сегодня земля уже просохла. Солнце, теплынь, и одуванчики желтые как ни в чем не бывало... Занимались тактикой. Мешали английские штурмовики: проносились на бреющем полете, так что приходилось залезать в кусты.

«Вы не должны очень уж надеяться на скорый ответ от Нины. Может и совсем не прийти», — сказал сегодня Ф. Ф. и испортил мне на целый день настроение. Ведь как действуют на людей чужие мнения! Знаю, что он это только предполагает, а всё-таки удручаюсь. Уж очень мрачно смотрит на всё Ф. Ф., ходит, как в воду опущенный. Видимо, тревожится предстоящим.

К нам приезжал генерал Трухин. Со следующей недели начнутся зачеты по пройденному за это время. Начинаю готовиться, читаю записки, пособия.

Вечером состоялось в офицерском казино богослужение. Прикладывались к мощам св. Пантелеймона.

26 марта.

Пошел в лес. Спугнул двух диких коз. Ах, как стрельнули! Появились уже цветы, похожие на наши подснежники, но белые (анемоны?). Всё оживает, и уже летают бабочки-капустницы. В лесу одолели воспоминания. Письма от Нины нет...

Сижу на опушке под небольшим дубком. День такой ясный, что видны далекие (до 80 км.) Швейцарские Альпы со снеговыми макушками. Божья коровка поползла по дневнику... Прямо под перо... Радость?

Всё это время сдавал зачеты. Средняя моя оценка — «хорошо», по топографии — отлично. Вчера была лекция подпоручика Х. о советской поэзии. И это меня подтолкнуло снова попробовать рифмовать. Получились уже две строфы. Конечно, центр моих мыслей, вдохновения — Т. Буду продолжать...

27 марта.

После обеда играл в волейбол. Потом разговаривали с Ф. Ф. о литературе. В частности — о том, почему так бесцветны произведения многих советских писателей.

— Все они «наступают на горло собственной песне», Володя, — сказал Ф. Ф. — Помните Маяков-

ского? Партийный заказ! Творчество — на службу пропаганде. Откуда художественное несовершенство? Не от бездарности, разумеется, а — от невозможности совместить творческий порыв с умолчанием и ложью, которые обязательны. «Когда человек отдается лжи, его оставляют ум и талант», — писал Белинский...

— Ну, а вот как раз Маяковский... как вы на него смотрите?

— Что ж, Маяковский теперь уже — труп. «Русская поэзия двумя трупами началась и двумя трупами кончилась». Это я прочел где-то у Эренбурга. Очень метко! Есенин и Маяковский. Оба совсем разные, но есть и сходство: оба были искренни. Один — в воспевании уходящего, другой — надвигающегося. Кажется, с их смертью искренность — основа всякой поэзии — иссякла. И поэзия с нею. Очень вероятно, что Маяковский пустил себе пулю в лоб именно потому, что перестал верить...

— Вы думаете?

— Убежден. «Там за горами гóря — солнечный край непочатый!» — это он провозглашал от души. А затем оказалось, что «горы гóря» растут, как на дрожжах, а «солнечный край непочатый» и не думает приблизиться. Завоеванная свобода обернулась мифом, и «факелы революции» превратились в пропагандную бутафорию. Вот человек и не вынес.

— Это «лучший-то, талантливейший поэт советской эпохи»? Так ведь его Сталин определил...

— Талантливейший, бесспорно. Но... тем хуже для эпохи!

Выписываю разговор дословно: нарочно переспрашивал вечером у Ф. Ф-ча некоторые формулировки, чтобы сохранить для себя... Потом прочел ему написанные вчера стихи (5 строф). Он похвалил, но сказал, что в стихах разбирается плохо. Предложил показать их подпоручику Х., который не только знает теоретически, но и сам поэт. Я отдал.

29 марта.

Пишу контрабандой, т. е. после отбоя. Спать не хочется. Стоят чудесные голубые ночи, и небо здесь

много богаче звездами, чем у нас, всё в золоте. Холмы вдали, черные и синие... А воздух! Походил немного, подышал и — нет, разве тут уснешь!.. Сегодня сдавал последний зачет, а потом пришел Ф. Ф. и вернул мне мои стихи. Подпоручик Х. сказал, что они сентиментальны, что рифмы и образы «прабабушкины», но что в них «что-то есть»...

Снова выходил на воздух. Ах, какая ночь! Но почему человек именно в такие вот ночи чувствует себя особенно одиноким?

А самолюбие скребется, как мышь: неужто так уж они бесцветны, мои стихи? Последние две строфы:

Вихрь оборвал любовь, как песенку, как скрипку,
В развалинах надежды погребя,
Но в сердце я с собой унес твою улыбку,
Одну, любимая, Тебя...

И если каждому особой чередою
Особая звезда сияет с высоты,
— Ты будешь для меня всегда моей звездой,
Одна, любимая, единственная, Ты.

**
*

30 марта.

Сегодня видел очень интересное... Занимались тактической подготовкой. Мы с К. изображали часового с подчаском в сторожевом охранении. Лежали за бугорком в колючем каком-то кустарнике и высматривали воображаемого противника. И вдруг загрохотало где-то громом, хотя на небе ни тучки не было, раздался ужасный свист и треск раздираемого воздуха. Большой снаряд (ракета?) взвился ввысь почти по вертикали и исчез из глаз с необыкновенной скоростью, оставляя за собой черный хвост дыма. Это был выстрел Фау-2. Какая же сила! Сколько смертей понес с собою этот снаряд?..

Ф. Ф. считает, что до конца Германии остались считанные дни. Карта у него вся испещрена красными пометками (это — движение советских войск) и си-

ними (англо-американцев). Действительно, что же осталось еще у немцев?

8 апреля 1945 г.

Вчера после обеда объявили, что идем со всем штабом на Мюнхен. Стали собирать вещи. В 10 часов приказ: отставить. Не спали всю ночь, до сих пор — как на угольях. События развиваются. Англо-американцы вышли уже к Магдебургу.

13 апреля.

Умер президент США Рузвельт.

15 апреля.

Второй раз в жизни присутствовал при публичном расстреле. Первый — в дулаге. Там немцы расстреливали пленного, торговавшего человеческим мясом, и другого за какое-то воровство. Здесь это был военный инженер 2-го ранга Д. Он, как доказано свидетельскими показаниями, издевался над людьми в лагерях военнопленных. Отвлеченно рассуждая, не следует щадить такого негодяя, но зрелище все-таки отвратительно. Момент, когда ожидаешь залпа, ужасен. И как они падают — будто под землю уходят! У меня вдруг начало болет все тело. Я не знаю, неужели сейчас нужно это убийство напоказ, хотя бы и по приговору, когда и без того льется кровь! Ф. Ф. полностью со мною согласен и был бледен, как мел. «И без таких зрелищ на душе кошки скребут, самих так же вот скоро в расход выведут», — сказал он.

Все начинают ощущать страх за ближайшее будущее...

26 апреля. В походе.

Дневка в лесу. До обеда спали, как убитые, после ночного марша. Поевши, снова все улеглись, а я решил записать...

Приказ на выступление из Хойберга получили 17. 4. Построились в длинную колонну. Наша рота

в голове. Потом три роты офицерского резерва, рота охраны, разные отделы штаба, АХО, штабной обоз и в хвосте взвод жандармерии. Связные на велосипедах и мотоциклах, несколько машин для генералов и полковников. Вот уже больше недели топаем...

В обед к нашему костру подсел поручик Жилин, приковылял Ф. Ф. со своей мисочкой. Небо расчистилось, брызнуло солнце. От костра тянет хвойным дымком, и так хорошо на мху, под соснами... Не хочется думать, что к вечеру — снова шагать в неизвестность. За едой разговорились.

Жилин был короткое время в Вост. Пруссии, при нашей части. По гражданской специальности он снабженец. Маленький, белобрысый, щеки подбрюзгли и веки тоже припухлые, без ресниц. Мы с ним на мазурских озерах рыбачили: поводки закидывали с лягушками в качестве живцов. Сегодня вспомнили это и — как немцы на нас пялились: «штренг ферботен» у них.

— Чудной народ, — сказал Жилин и облизал ложку, так что на щеках жирные остались разводы, — что ферботен — то свято. В лесах козули прыгают... У нас бы при карточной-то системе, живо бы их на шашлык переделали, а здесь никому в башку не придет. Да что! — У них даже собаки ферботен соблюдают. Наша какая-нибудь Жучка в любую щель в загородке пролезет и за икру, стерва, тебя норовит. А ихняя, если ворота настезь, — обежит, будто не замечает, и опять брешет за забором. Ей Богу, не вру...

Посмеялись все. Кроме Ф. Ф. Он только вздохнул: «Юмор висельников. Завидная у вас, Жилин, способность ржать»...

Пойду искать вазелину для ноги: сбил совсем.

5 мая 1945 г.

Поход окончен. Оказался чрезвычайно тяжелым. Погода очень часто портилась, от дождя всё намокало (всё несли на себе). Обе пятки растер в кровь, и до

сих пор ходить больно, особенно начинать, когда разойдешься — уже легче. Ф. Ф. шел только первое время, а потом постоянно подсаживался на повозки. Вид у него очень плохой. Спали днем, в лесу, и было иногда крепко холодно и сыро. Ночью же двигались. У многих открывалась куриная слепота, и отставали. Из наших отстало около 30 человек, теперь есть сведения, что они попали на Зальцбург, к генералу Т.

Записываю маршрут, по которому мы двигались: Менген, Замгау, Хоффенбах, Обергюнсбург, Лейден, Бибург (Бавария). В среднем делали по 30-35-ти километров за ночь. Из Фюрстенфельдбрука проехали поездом через Мюнхен. Сюда, по слухам, заглядывали будто бы уже американские танковые авангарды!

Под Мюнхеном (Фрейманн) наши осадили остовский лагерь; освободили, между прочим, около полусотни остопок. Охрана не пикнула. Своя рука — владыка! Жилин привел какую-то мурластенкую... Обнимал и тискал, уверял, что землячка. Бегал хлопотал пристроить к нам в обоз — ничего не вышло.

Эпизод с лагерем знаменателен: немецкая административная машина разваливается.

Из Мюнхена прокатили через Браунау, Вильс и остановились в 15 километрах от австрийского города Линц. Потом снова пешком через Линц, Фрейштадт и перешли чешскую границу. Всего протопали 550 км.! Я говорил себе: все эти лишения, всё, что переносим, — всё во имя нашей родины, во имя великой цели, которую мы поставили перед собою. Но — ах, как трудно себе самому верить... «Конец приближается, бесславный конец, Володя», — говорит Ф. Ф., и голос у него дрожит.

**

Слушаем радио. Слушаем — где и когда только можно!

**

События потрясающие. Гитлер и Геббельс погибли. Правитель Германии — адмирал Денитц. Он отдал приказ о продолжении войны. Убили Муссо-

лини при попытке бегства в Швейцарию. Его повесили вместе с его возлюбленной вниз головой и надругались над их телами. Про смерть Гитлера слухи разнообразны. Кое-кто уверяет, что смерть эта — утка, что он улетел в заранее подготовленное где-то безопасное убежище.

6 мая 1945 г. Местечко Каплиц, Богемия.

Первый день Пасхи! Мама, Тася, Христос Воскресе, родные мои! Здесь сказать этого некому...

Война окончена. Фельдмаршал Кейтель подписал в Берлине безоговорочную капитуляцию Германии. Чехи в Праге восстали. Бьют немцев из-за каждого угла. На рукавах красные повязки, как было у нас в революцию. Немцы в свою очередь свирепствуют с населением. Генерал Власов во главе 1-ой дивизии РОА подошел к Праге и в согласии с чехами разоружает немцев. Что будет?

**
*

Все очень поражены известием о тактическом маневре генерала Власова. У большинства отношение к немцам резко отрицательное, каждый помнит пережитые от них унижения, их презрение к русским «унтерменшам» и прочее. Всё это теперь отражается в настроениях. Но все-таки отход от них в такой момент... Как это назвать?

— У Фили пили да Филю ж и били! — выкопал откуда-то Жилин пословицу. — А в общем — поделом!

Много споров... Иные доказывают, что здесь «высокая целесообразность», другие просто покрикивают, чтобы «не обсуждали действия начальства»... Ну, покрикивать проще всего. Ф. Ф. находит, что это — жест отчаяния и «последний штрих бесславного конца»...

19 мая.

Чешское население торжествует. Всюду флаги по домам, чешские национальные и белые.

По радио кричат «ура»! Ликует весь мир, все... Только мы одни, потерянные, беспомощные, на пороге гибели... Родина! Она празднует тоже. Она празднует, несмотря на Сталина... а мы?.. Как это случилось, что мы остались отверженными? Как это случилось, что большевикам удалось заставить армию драться? Ведь не хотела же она этого? От вопросов пухнет голова...

**
*

Один из наших мотоциклистов видел километров 20 западнее от нас американские танки. С севера катятся на нас танки советские, оккупирующие Чехословакию. С севера надвигается гибель...

**
*

Нечем дышать! От солнца всё раскаляется, и вот даже к вечеру не остынет никак. Сажу на скамеечке перед домиком чеха Ч., у которого на квартире. Подавлен совсем, совсем. Даже подняться нет силы...

Только что отошел Ф. Ф. с картой. «Мы между ду х з в е з д, Володя, — сказал он. — Пятиконечная белая — с одной стороны, пятиконечная красная — с другой. Красная несет смерть, а белая»...

Он очень славный, Ф. Ф., и я его давно уже любил. Но в эти ужасные дни, которые мы переживаем, он действует на меня плохо... Сейчас всё убивался, что свои вещи выкинул, что надо бы гражданский костюм, переодеться и утекать на запад...

**
*

Говорят, сегодня будем выступать. Куда?

**
*

Разговаривал с одним фельдфебелем из нашего арtpолка, который откатывался под напором красных. При их приближении в полку возникла смута: нашились типы, предложившие «переходить к своим». Дошло до взаимных арестов и рукопашной...

Фельдфебель был в арьергарде и столкнулся с разведгруппой советчиков. Рассказывает: человек пять красноармейцев с сержантом. Все очень молоденькие и пьяным-распьяно. Начали сперва приглашать «до дому», а потом махнули рукой и посоветовали по душам: «катитесь, откуда пришли. Спасайте шкуры, пока не поздно!»

9 мая.

Одно из решений нашей судьбы свершилось: мы у американцев. А дальше — всё в тумане...

**
**

Эту ночь спал в парке, под деревом. Умывался с лодки в пруду со звездами. Всё это — в маленьком занятом американцами городке Круммау, куда пришли вчера к вечеру. Но опишу подробнее наш поход сюда — последний поход РОА.

Памятный навсегда день. Изнуряющее уже с утра солнце, совсем не майское. И никакого ветерка. Солдаты, отыскав тенек, отдыхали после перехода в полтысячи километров.

До обеда мы с К. сидели за околицей — два деревца и между ними поленница дров, прохладно! По дороге — чехи, многие с мешками: говорят, разбили какой-то продуктовый поезд. Шныряли и наши охотники «прихватить, что без хозяина». Это всегда бывает, когда время бедственное, неизвестность: кто в отчаянии, а кто действует по правилу «хоть день, да мой, а завтра, может быть, помирать». Но в общем у всех наших на лицах растерянность. Американские истребители летали низко-низко. Не стреляли, но мы, по привычке, прикладываемся к земле. Несутся машины, мотоциклы чешских повстанцев с национальными флажками. Невдалеке, на перекрестке, военный грузовик задел крестьянский воз с соломой, опрокинул. Кричат, машут руками, пыль золотой столбушкой...

Поднялись и пошли в деревню попытать новостей.

У штабного домика сидел на камешке ген. Айсберг и еще кто-то. Нам встретился около дверей П., сказал находу, что беспокоятся очень о Трухине, который с ген. Боярским поехал к Власову и неизвестно, удалось ли ему пробиться до Праги.

Только успели свернуть покурить — подъехала машина полковника Х., немецкого представителя при штабе РОА. Через минуту снова набежал Н., в смятении: советские танки движутся в нашем направлении всего в 80 км. отсюда.

Суматоха. Полковник Нерянин принял командование. Через минут сорок собрались, построились. Впереди наша рота, затем офицерский резерв, сводный батальон и обоз. Шли в полном боевом. И солнце пекло, пекло... Во рту стало сухо до боли. Шли не по шоссе, а проселками. Молча. Всякий думал про себя тяжелые свои думы. Разбитые орудия, брошенные винтовки, зарядные ящики, панцерфаусты... Всё в пыли, горячее, как утюг. Так нагleden был развал германского военного могущества. Вот лежит оно по дорогам, раздавленное, раздробленное впрах. А ведь на нем, на этом, немецком могуществе, строился значительный кусок нашего пути. Была это ошибка? Чья? Что же теперь? — думали мы все и едва ноги переставляли. Пройдя 16 километров, добрались до Круммау. Груды сданного оружия на площади. Первые американские солдаты. Смотрят одни — любопытно, другие — равнодушно. Останавливаются и глазают на нас местные жители.

Когда уселись под деревьями, подошли два американца. Вызвали С., который знал по-английски. Оказывается, они хотели купить у кого-нибудь лейку. С. спросил, что будут делать с нами? — вопрос, который жег все сердца. Они покачали головами: не знаем, мол...

Майский вечер перешел в ночь. Тихую, теплую. Круммау — в долине, в горах, как в корзинке. Над корзинкой — звезды. Необыкновенно много их. Сыплются в пруд. Устал, но спать не мог. Ходил по берегу, садился на мокрую, в росе, траву и думал, думал...

Неужели это — конец РОА? Такой бесславный конец нашего дела? Что значит эта сдача наша американцам? Плен? Но тогда мы — вещь и бесправны, пленного можно передать, как имущество, как трофей, в руки мастеров заплечного дела... Неужели еще именно это в заключение всего пережитого?

Вот что еще давит, помимо неизвестности: ведь катастрофа эта — конец и всем личным надеждам: хаос, разруха, почта не действует... Связаться с Ниной, узнать о Т. — всё это рухнуло. Всё!..

Зовут купаться, кататься на лодке... Если посмотреть вокруг, то будто ничего и не случилось. Пруд блестит на солнце... Плеск. Хохот.

Неужели всё-таки это — плен?

14 мая.

Перебрались в соседнюю деревню, недалеко от города. Неизвестность продолжается. Американцы относятся с каким-то снисходительным безразличием. Кто-то разговаривал о нашей судьбе, — отвечено: о выдаче нас большевикам не может быть речи.

21 мая. Сельское кладбище.

Вот уже четвертый раз прихожу сюда, когда хочется побыть одному. Деревьев нет, но у стены растут кусты (что-то вроде нашей бузины), пахнут медом, гудят шмелями.

Кладбище аккуратненькое, распланированное по линейке. Дорожки гравием посыпаны. Цветы. Как непохоже на наши! Пришла мысль: может быть, нигде не сказывается так отчетливо различие между душевными складами народов, как вот в их кладбищах... Здесь порядок, заботливость, красивость и — никакого не вызывает настроения. У нас — запущенность, заброшенность, всё ветхое, вкривь, вкось — и за душу хватает! Или это так кажется, потому что своё, родное? Вспомнил московское Ваганьково. Там похоронен папа. Там могила Сергея Есенина... с березкой...

Тяжело и беспокойно на душе. Что день грядущий нам готовит?

Говорят, американцы не рассматривают нас как пленных, даже — не как интернированных, а временно задержанных для выяснения нашего будущего, которое решится в высших правительственных инстанциях. Командир местных частей, американский полковник Х., выяснял нашу политическую платформу. Слухи, или лучше «утки», летают стаями; будто нас распределят по гражданским работам, отправят в тыл. Кто говорит — перевезут во Францию, кто — в Италию, кто — к Франко. П. рассказывал вчера, что в других подразделениях опрашивали, согласны ли мы вступить в американскую армию.

— Всё вздор, Володя, — сказал Ф. Ф., — всё — иллюзии. А не иллюзии — то, что в 10 километрах от нас советские войска, американские союзники!

**
*

Ходил по аллейке. Разглядывал памятники. Могилки все одинаково ухожены. Нет, здесь классовые различия не так выступают, как у нас, в «самой демократической»... Последнюю весну, в Москве, я всё ездил 17-м номером в Новодевичий монастырь. Там — могила маминых родителей, и мне поэтому удалось достать пропуск.

Тамошнее старое кладбище «спланировали», а новое сделали закрытым: для знатных. Выставили охрану: без охраны «обожаемым» партийным отцам, видать, и в могилах беспокойно! Вдоль внутренней стены — комгрядки: Фурманов, Валерий Брюсов, Фрунзе, которого, говорят, приказали зарезать на операционном столе. Чудесна могила Алилуевой, сталинской жены: колонна, вверху высечено лицо с нежным профилем; у подножья — ступеньки с брошенной розой, выточенной из мрамора; громадный квадрат зеленого газона вокруг. Тоже и над этой могилой веет зловещая тайна. Жуткое кладбище!

У противоположной стены — артистические и литературные мостки. Здесь всё заброшеннее. Кропот-

кинский камень оброс бурьяном, скрябинская плита замшела и почти в землю вросла. Сюда с уничтоженных кладбищ переселили несколько знаменитых трупов (*Displaced Persons* советской культуры!): Чехова, например. Его перенесли со старого участка, у монастырской церкви. Однажды встретил у его памятника, с тремя копьцами на крыше, Ольгу Леонардовну. Приносила цветы. Поздоровался и даже осмелился заговорить. Сказал, что уж очень мало тени вокруг.

— Да, — ответила она, — на прежнем месте было уютнее.

Еще из Данилова монастыря перевезли Гоголя. Папа был там при разгроме кладбища и уверяет, что Гоголь прибыл на новоселье без головы — ее потеряли при переселении!

На гоголевском черном базальтовом надгробии — стих из пророка Иеремии: «Горьким смехом моим посмеюся».

Каждый раз, проходя мимо стражи у ворот, я думал, что слова эти надо бы прибить над входом. Жуткое кладбище!

**

Еще — о встрече некоторых наших с красными под Прагой. Если советчики были в меньшинстве — сейчас же начинались уговоры и обещания (полное прощение, отпуск домой и т. д.). При этом солдатам РОА говорилось:

— Вы же власовцы? Значит, не с немцами вместе были, а сами по себе. Ничего вам не сделают!

А тем, кто служил в немецких частях:

— Вы же не добровольцы. Не РОА. Немцы вас принудили. Чего же вам бояться?

Какова диалектика!

Советчики захватили в пути нашего завхоза, поручика А., и увели... Говорят — убивают сразу, на месте, но, по-моему, вряд ли: сперва допросят. Отдельные группы советских солдат (разведка, наверно) заходят в район наших двух деревень. Говорят, буд-

то передеваются в американскую форму, вламываются в дома, требуют выпить-закусить и — девочек. Американцы усилили посты... Кстати, какая огромная разница в дисциплинарных уставах европейских армий и американской: американский полевой садится на краю дороги, откладывает винтовку на сторону и разговаривает с проходящими. Но пост есть пост — говорят, им приказано стрелять при приближении советчиков.

24 мая.

Началось! Сидел сегодня в трусах за кладбищенской стеной и латал свое белье, которое прохудилось окончательно, и вдруг увидел несколько непривычных машин, въезжающих в деревню. Потом прибежал Ю. впопыхах:

— Володька, советчики!

Быстро оделся. Отправились смотреть. Действительно: три или четыре пары советских офицерских погон с конвоем, приблизительно в отделение. Когда мы подошли, их уже со всех сторон окружили наши. Раздались выкрики: чего вам нужно? Зачем пожаловали?

Один из них с мясистым лицом, похожим на вымя, держал речь. Ах, как сразу вспомнилось старое, советское, позабытое. Ложь, ложь, ложь... Он чуть опускал веки на глаза, когда говорил, и — монотонность, и слова заученные, фальшивые... «Теперь — на родину, она ждет вас!» и прочее. Все кругом хмурились враждебно... Потом советчики говорили с генералом Меандровым и с американским командованием.

Ф. Ф. стоял рядом со мной, бледный. «Вот оно, началось, Володя! Первая ласточка!»

26 мая 1945 г.

Э т о п л е н ! Новое, страшное звено моей жизни!

Перегнали нас по-пешему километров на 40 к юго-западу. Остановились под местечком Фридберг, в поле, у опушки леса. Здесь американцы (уже дру-

гая часть) обнесли нас колючей проволокой и поставили охрану. Питания никакого не получаем, поедаем то, что имелось еще из запасов. Соорудили себе из веток шалаши. Небо видно, и если пойдет дождь — будет протекать всюду. Плен...

**
*

Ночь. Горят костры, и я пробую писать при неверном этом, прыгающем свете. У Горького кто-то из героев (Коновалов?) любит костер. Меня костер тоже всегда волнует, а сейчас и не знаю, как назвать это чувство... Больше, чем тоска... Вспомнилась Тася, и как она пела про «костер в тумане». Но нет, даже и воспоминаний нет, а — тревога. Ф. Ф., увернувшись в палатку, лежит по другую сторону костра. Кажется, не спит тоже. Вот зашевелился, поднимается...

Ф. Ф. полагает, что советчики, когда беседовали с американцами, выдали нас за «СС», и поэтому так резко изменилось обращение с нами... Слухи, слухи, слухи... Говорят, что нас повезут куда-то на Мюнхен. Не могу писать, темно.

15 июня. Лагерь Ганакер подле Л.

Больше двух недель живем в новом лагере. Это — огромное скошенное поле (был хлеб), полкилометра в квадрате. Поле оцепили колючкой. По углам пулеметы, как это было в Б., в немецком дулаге, только вышек нет.

Сначала стряпали шалаши. Теперь получили палатки, американские, военные...

Вот что дают на день из питания: ложку яичного порошку, ложку сухого молока, 10 грамм печенья и 15 гр. сахару. Канареечный рацион! После пакетов, которые нам выдавали на старом месте, это — меньше голодной нормы. Может быть, именно поэтому такое отчаяние у всех. По ночам постоянно убегают. Слухи о выдаче всё настойчивее...

**
*

Отправился бродить по лагерю в поисках, кто бы обменял мне 10 сигарет на хлеб или сухари, и вдруг столкнулся лицом к лицу с Бор. Гавр. Богаевским. Вот неожиданность! Он тоже поручик... Загорелый, белозубый, совсем молодец для своих сорока!

Сели в тень за палаткой, и Бор. Гавр. долго рассказывал нам, как удалось ему выбраться из мешка в Вост. Пруссии. Самое страшное в его рассказе — несчастье с Милицей. Машина, на которой она ехала, когда вырывались к Пилау, к кораблям, налетела полной скоростью на дерево у шоссе. Шофер успел выскочить, а Милица разбилась. Богаевский ехал в следующей машине и помогал вытаскивать ее из-под обломков. Он говорит, что было размозжено лицо и что он видел на асфальте в крови маленький белый зубик. На этой же машине ее доставили в Г., в лазарет, который уже лихорадочно эвакуировался. Дальше он ничего не знает...

Продолжаем держаться втроем — три москвича. Впрочем, Ф. Ф. — москвич не природный, Богаевский родился в Истре (б. Новый Иерусалим), под Москвой, где два лета жил и я. Богаевский — очень добродушный и хороший человек и спокойнее обоих нас. Это ценное качество теперь. Паника продолжается...

Милица — и белый зубик в лужице крови! Не могу совместить, ни представить...

20 июня.

Три дня работал: приводил в порядок лагерь. Даже клумбы разбили и прочую декорацию. Все приняло менее цыганский вид, и, кажется, это нравится американцам. Вчера был помощник командира корпуса и похвалил. Вообще отношение стало лучше: 3 раза в день горячая пища. Разрешили ходить на речку купаться.

Вечерами многие ходят воровать картошку. Часовые пропускают, сквозь пальцы смотрят. Говорят, даже попеняли раз возвращающимся: чего, мол, вы обратно, чудак! Драпали бы прочь...

Генерал Меандров направил командиру лагеря, полковнику Вильямсу Б., обстоятельную докладную записку с объяснением нашего политического лица и существа нашего движения. Полковник обещал переслать это генералу Эйзенхауэру. Ген. Меандров связался также со старой русской эмиграцией: вел. княгиней Елизаветой и В. А. Маклаковым.

**

Говорят, американцы называют нас «белыми». Это хорошо!

Советские агенты продолжают запись на добровольное возвращение на родину. Идет очень туго.

21 июня.

Жара невыносимая. Сижу на берегу Изара после купанья и стирки и, покауда сохнет на кустиках белье, пишу. Недалеко полощутся наши. Визжат, хохочут... Ах, русская душа!

До обеда была горячка: чистили лагерь. Сказали, что едет командующий армией генерал Платтен. Навели блеск, но командующий не приехал. После обеда был спор на самую острую для нас тему: неужели союзники пойдут на дружбу с большевиками? Бор. Гавр. и я утверждали, что этого быть не может.

— Какие у вас основания? — сердился Ф. Ф.

Наши основания — гуманность и демократичность англо-американцев, которые не могут же всерьез объединиться с коммунистами.

Кроме того:

1. Снова подтвердилось, что нас не рассматривают как военнопленных; даже (это точно!) отправят на-днях на сельскохозяйственные работы в ближайшие деревни без всякой охраны!

2. Есть сведения о судьбе генерала Власова. Ему удалось избежать советского плена и некоторое время он был в Лондоне. (Моск. радио: «бандит Власов обитает лондонские пороги»). Теперь будто бы он — в Комитете с ген. Деникиным и будто передавал нам

привет и сказал, что «через 1-2 месяца будем действовать дальше».

Ф. Ф. возражал с раздражением и приводил другие доводы: союзники идут явно на большие уступки большевикам, рискуя быть жестоко обманутыми. Недавно кончился вопрос о польском правительстве и кончился компромиссом, выгодным Сталину. Маршал Жуков получил английский «Большой крест боевого ордена» и всё — на банкетах с союзными генералами. Ф. Ф. уверен, что те из лагерных ораторов, которые призывают «ждать» и обещают всякие благополучия для нас, «или слабоумные или советские агенты». По его мнению, лучше бежать. Как?..

**

Приходил купаться Бор. Гавр. Он уже составил рабочую бригаду, с которой едет за старшего на полевые работы. Поговорили о возможностях побега.

— Вздор! — говорит он: спрятаться трудно, выдадут... — Еще, по его мнению, побеги очень портят отношения с американцами и выглядят подозрительно: значит, совесть не чиста, если бежишь. А совесть у нас чистая — боролись за святое дело.

Потом вспомнили Истру. Бор. Гавр. очень хорошо рассказывал про то время, когда в тамошнем монастыре были еще монахи, и как всё тогда выглядело. После революции начался разгром. Скит патриарха Никона в Гефсиманском парке запаковали. Там на стене Лермонтов собственноручно написал стихотворение, и его замазали похабными надписями. В Силоамскую купель ходили стирать белье. Я не застал этого: при мне скит был уже музеем и монастырь (постройка Растрелли) тоже, хотя, как Б. Г. говорит, все сокровища давно вынули.

Досидели до заката. Вода посерела, а небо стало лилово-розовым, как сирень. И всё-таки природа здесь пустее нашей, хотя и живописнее, и богаче!

Вспомнили опять пруды под монастырем, и особенно один, недалеко от больницы, в которой работал

когда-то Чехов. Там разводили карасей, золотых и серебряных. Я бегал контрабандой удить...

Бор. Гавр. расчувствовался, стал рассказывать, как в юности, когда еще учился в школе, устраивали они там пикники. Вёснами, до полночи...

«А соловьи щелкали, Володя! Мечта! Лягушки подгукивали»...

Странно: здесь я ни разу не слышал соловья. Нет их, или война распугала?

25 июня.

Голодаем! На день выдают 150 гр. хлеба, 5 гр. сыру и 10 — масла. Когда сидишь долго и потом поднимешься — кружится голова от истощения. Ф. в отчаянии. Говорит, что не сможет второй раз в жизни перенести голод, который испытали мы уже в немецком плену. Говорит, что ничего не боится так, как голода. Я спросил: а большевиков? — и он, кажется, обиделся. Сознаю, что вопрос был глупый. Выменял часы на 1 кило хлеба и несколько пачек сигарет.

Очередная утка: всех скоро распустят «на гражданку».

29 июня 1945 г.

Сегодня годовщина нашего расставанья с Тасей и отъезда с родины. Оба события слились в памяти в одно. Вот ведь... и проститься как следует нам не удалось: немцы отступали на-рысях. А как много важного надо было сказать при прощании. Правда, зато накануне весь вечер и половину ночи провели мы вместе. Было ясно, звездно. Советчики волнами слали самолеты. Над городом, чуть в гору, висели лампы. Все прятались за кирпичным зданием, где расположилась часть, на пустыре, в тесных неглубоких траншеях. Нам попался отдельный отрожек, совсем мелкий, вполроста, глинистый, склизкий от недавнего дождя...

Падали всё больше зажигалки, небольшие, но визгливые, и мы, заслышав их, жались на дно, тесно-

тесно друг к другу, рука в руке, и я ловил лицом тасино теплое беспокойное дыхание... Заревела фугаска. Тася рывком сжала мою руку. Я вытянул ноги по грунту, притянул ее к себе на колени...

Фугаска грохнула метрах в ста. И, как всегда после того, наступила необычайная тишина.

— Тебе неловко, Володя?

Господи, неловко! Я замирал от страха, что она сейчас вот-вот отожметя от меня, встанет... Такого не испытывал никогда еще: эта чудесная ее тяжесть на твоих коленях, и все в тебе кипит... Боялся пошевелиться и чуть дышал. Но она не двигалась.

За нашей спиной, в грязном бассейне-прудишке (для уток) гукнула лягушка. Бомбы и — лягушка! Какая дисгармония противоестественная!

Что-то крепко щелкнуло по моей пилотке. — Небольшой колючий осколочек. Тася вздрогнула.

— Не бойся, это — от зенитного снаряда. Легонький...

— Дай мне!

Я осторожно опустил осколок в карман. Она зашевелилась, села поудобнее, стала искать, вытащила, отобрала.

— На память! Скоро мы расстанемся, я знаю. — И сунула ладошку в мой рукав. Какие у нее пальцы! Маленькие и мягкие-мягкие... Только кончики чуть зашершавлены. От картошки.

Как она чувствовала! — На другой же день, едва успел «до свиданья» выговорить, — бегом приказали в машину. И так нелепо вышло, тоскливо: отъехали чуть к углу, к перекрестку и застряли — пробка! Со всех сторон приткнулись моторы, ревут. Треск, крики!..

Протискался к заднему борту. Тася стоит, прислонившись к щелястой калитке, у домика, куда я ее устроил. Смотрит в мою сторону, подойти не может: тоже и сзади нас целая лавина на колесах накатилась. Встретились глазами. Так и стоят они передо мной, ее глаза, черные, поблескивающие слезкой. Самые милые, самые удивительные глаза, единствен-

ные из тысячи других... Подумать только! Я оставлял ее в этом костре, может быть — на расправу советчикам, одну, беспомощную...

Проклятая пробка рассасывалась больше часу. Потом брызнул дождь, частый, крупный, настоящий ливень. Тася вошла во двор. Калитка скрипнула... Нет, не мог слышать, как скрипнула, — это, верно, в груди у меня скрипнуло... На всю жизнь...

16 июля.

Забросил дневник надолго. Причины разные, а главное — настроение такое, что избегаю уединяться; когда один — приходит страшная тревога... По ночам — тяжелые сны и еще более тяжелые предчувствия.

Вчера здесь служил священник К. Очень хорошо служил. Рядом со мной стоял Жилин и держал себя, как мальчишка: то и дело посмотрит на меня и подмигнет.

— Вы что подмигивали? — спрашиваю, когда вышли.

— Так... Я ведь дуром заскочил. Долгогривых не одобряю. Неверующий. А ты?

Мне почему-то стало неприятно и неловко разговаривать с ним. В самом деле он ничего не чувствовал во время богослужения? Или только прикидывается? Потом вспомнил, что еще лет семь назад, подростком, я тоже был совершенно равнодушен к религии. Даже в «Юном безбожнике» состоял...

— Нет, я верующий!

Бор. Гавр. уехал со своей командой.

Передают, будто вопрос наш решен: мы все будем рассматриваться, как американские «хиви». Будто бы американский комендант экстра просил подождать с побегами.

18 июля 1945 г.

Вчера в 5 часов вечера в Потсдаме, в Сансуси, открылась «конференция трех»: Сталин, Трумэн и Черчилль.

10 августа.

Ничего нового. Страшно треплют нервы советчики. Зачастили. Произносят доклады и чуть ли не ордена обещают тем, кто вернется.

До какого предела может изолгаться человек! В результате всех их стараний записалось на возвращение приблизительно 100 человек (это около 3% от общего числа).

**

Краснощекий лейтенантик (из советских гастролеров-уговаривающих) шепнул кому-то: «Хотите-не хотите, всех в ближайшие дни вывезут в принудительном порядке. Заявляйте, что сами желаете — меньше дадут».

Все взволнованы. Почему-то одновременно с этим заявлением американцы произвели в лагере обыск, искали оружие. Итог: несколько пистолетов. Вот думается: будь у меня оружие — никогда бы не отдал и уж постарался бы спрятать получше, чтобы не нашли. Особенно — если бы маленький, офицерский браунинг! С такой штукой легче дышится. Знаешь: живым не возьмут!

**

Заболел ангиной, горло распухло так, что с трудом могу говорить. Остался один: наша рота уехала на сельскохозяйственные работы. Много ходил, ду- мал, читал вслух любимые стихи...

24 августа.

Переехали в СС-казармы в город Регенсбург. Всё еще нездоров. Глотаю отвратительные таблетки...

Новая встреча: Петр Петрович Сомов.

Он всё такой же, как был в Старгороде. Очень живой, горячий и славный, только еще больше стал дергаться подбородком. Чувствую, что он будет очень дорог для меня. Он говорит немного по-английски, и его всё время тормозат. Мы устроились вместе: наша тройка и еще поручик Жилин. Заняли две двухэтаж-

ных кровати рядом. Получилась каюта четырехместная, как на пароходе. Спим пока на голых досках.

Вчера вечером заполнили анкеты с вопросом, кто где желал бы жить и в качестве кого работать. Хороший знак?

В бараке шумно: крик, споры, мат так и висит в воздухе. Только в нашем «каре» спокойно. Я так назвал четверку наших мест по термину из игры в покер. Научил нас Ф. Ф. Я никогда не думал, что это такая увлекательная игра. «66» перед ней — что «пьяницы». Петр Петрович Сомов, как я и предполагал, оказался душой нашей маленькой компании. Для меня особенно. Он наметил 1 час в день — беседы по политике и философии. Ф. Ф. вызвался читать краткий курс русской истории. Получается маленький университет. Я твердо решил использовать время для пополнения своего образования. Пусть неизвестно, что будет, но нельзя поддаваться апатии.

У нас организован теперь сбор помощи с воли, от знакомых и вообще земляков — это немного поддерживает в части питания.

К некоторым из наших являются знакомые, вызывают на свиданье у ворот...

2 сентября.

Сегодня в Токийской бухте, на борту линкора «Миссури», подписана капитуляция Японии... 2-ая мировая война окончилась.

**
*

Снова стали приезжать советские офицеры с пропагандой и записью. В связи с этим — волнения. Многие начинают следить друг за другом, искать в соседях «прокоммунистические настроения». Противно!

Кое-кто из старых эмигрантов перешел в югославский лагерь (Юрка-портретист в том числе). П. П. тоже из Югославии, но пока остается, что меня чрезвычайно радует. Он дал мне замечательную книгу: В. Шубарта «Европа и душа Востока» на немецком

языке. Я читаю ее, и потом мы беседуем по прочитанному.

**
*

Слава Богу, стали очень хорошо кормить: ежедневно пол-литра какао и настоящий кофе!

П. П-чу очень не нравится Жилин. Он в самом деле пустой, хотя и добродушный, и любит хвастать. Хвалится тем, что весь почти 44-ый год разъезжал из одной части в другую, беря под разными вымышленными предлогами назначения: в Брюссель, в Париж и т. д. «Галопом по Европам! Зато, ребята, всё посмотрел!» — говорит он, а П. П. хмурится.

20 сентября. Лагерь Регенсбург.

Идет частый серый дождь. Собственно, уже осень. А лета я не видел — так оно пронеслось. Лето за проволокой! Последние два дня почти не мог себя заставить сосредоточиться на чтении. Просматривал фотографии и долго не хотелось прятать в бумажник единственное фото Таси. Что с ней?..

Вечерами продолжаем в покер. У Жилина непонятным каким-то образом оказался набор булавок разного размера с цветными стеклянными головками. На них и играем. Назначили: за маленькую булавку — 10 пфеннигов, побольше — 20, а самые крупные называются генералами и стоят 1 марку. Каждый выбрал свой цвет; накалывает булавки перед собой, стараясь составить понаряднее узор. Мои — голубые.

Наблюдаю, как сказывается при игре характер: Ф. Ф. всегда спокоен и почти никогда не блефует, а ставит наверняка; если много — значит у него по крайней мере фуль. П. П. играет азартно, но не узнаешь, что у него. У Жилина при хорошей комбинации потеет бисеринками лоб... А как у меня? Мне кажется, на моем лице все карты отражаются... Надо воспитывать в себе волю.

15 октября.

Никаких изменений в нашей запроволочной жизни. К слухам начинаем привыкать. Первым их приносит Жилин и вышептывает, дыша в лицо табаком, за что называет его П. П. «информбюро».

Говорят, что кое-кто из уехавших на Родину по вербовке бежали обратно из концлагерей, устроенных еще до нашей границы. Будто бы большинству дали по 10 лет.

21 октября. Лагерь Регенсбург.

Кончил книгу Шубарта (выпустил несколько глав). Решил по совету П. П. записать кратко важнейшие положения.

Ш. считает, что мировая история объясняется сменой господствующих эонических (эон — эпоха) прототипов. Таких прототипов он намечает четыре:

1. Гармонический человек чувствует свою внутреннюю гармоническую связь с миром. Он созерцателен, покоен, не ищет бури. Таковы — древние греки, а позже — христиане в средние века, в период готики.

2. Героический человек не знает гармонии в мире и в самом себе. Он стремится организовать мир по-своему, подчинить себе. Он всегда в действии, никогда — у цели. Это — древний Рим завоевателей и европейские (неславянские) народы сегодняшнего дня.

3. Аскетический человек — отшельник, отвертывающийся от мира. Ш. называет, как пример, индусов.

4. Мессианский человек — стремится к созданию на земле высшего, божественного порядка, хочет восстановить утраченную гармонию. Таковы славянские народы и прежде всего — русские.

По мнению Ш., готическая эпоха сменилась эпохой прометеевской, господством героического человека, отказавшегося от Бога, обратившегося полностью к земному. Эта эпоха приходит теперь к концу,

и мы живем в полное пустоты и страха время. На смену идет эпоха мессианского, иоаннического человека, возвещающего возврат к Богу, вообще — примирение, гармонию. Будущее принадлежит славянству, носителю этих иоаннических черт, а Запад должен слиться с грядущим с Востока «новым».

Проблема Востока и Запада — это проблема души. Восток, сохранив основы гармонического духа, должен одухотворить Запад, который их утратил.

«Европа есть царство предметности, Россия — царство души», — пишет Шубарт. «Россия — единственная страна, которая может освободить Европу».

Кажется, это главный вывод из его книги. Есть в ней, по-моему, и неувязки: Ш. находит, что «коммунизм противоречит женственной природе русской сущности», а вместе с тем у него как бы выходит, что коммунизм укрепился в России, благодаря некоторым благоприятным особенностям, свойственным русскому народу...

**
*

Снова заполняли анкеты, предназначенные для американского главного штаба. В лагере был один американский офицер, немного лопотавший по-русски. Очень успокаивал, сказал, что хочет выяснить, как можно нас использовать, а в основном вопрос о нас решен благополучно. Дай-то Бог! Когда он уже уходил, кто-то спросил: как, по его мнению, будут развиваться дальнейшие отношения между США и СССР?

— Что же, — развел руками американец, — мы же в союзе с Иосифом Сталиным и вашим народом. Попробуем и дальше сотрудничать...

— Дуралей! — дернулся П. П. — Когда же убедятся, твердолобые, что русский народ и Иосиф Сталин понятия антагонистические! «Попробуем сотрудничать»... Попробуйте!

1 ноября.

Дождь непрерывно. В бараках холод. Питание худшилось. Все унылые и злые. Брань, ссоры...

У Жилина нашлась какая-то «Зинка», — «машинисточка из Донбасса» — говорит он. Вызвала его сегодня на свиданье. Покуда собирался, приводил себя в порядок, рассказывал нам, как она выглядит без платья, какие у нее икры, бедра, какие упругие... и прочие подробности. П. П. задержался и, когда Жилин ушел, обругал его хамом. Не знаю, почему мне вздумалось заступиться, и я сказал, что Жилин, несмотря на его недостатки, все-таки неплохой человек и наш, т. е. — идейно против большевизма.

«Не будьте наивны, Володя! — рассердился П. П. — Учитесь разбираться в людях. У таких, как Жилин, никогда не было никаких идей. А в наших рядах очутились они случайно, потому что «взманили почести и знатность», немецкий мундир... К сожалению, их довольно много: прислушайтесь и приглядитесь кругом».

Кажется, что общая нервозность и тяжелые условия занесли в нашу каюту бациллы вражды. Ф. Ф. вдруг начал возражать очень резко, и у него (как всегда, если сердится) сделалось неприятное лицо:

«Вы в первую военную зиму в лагере военнопленных не были? — напал он на П. П-ча. — В бараке, на морозе, во вшах тифозных, неделями без пищи не сидели? Тогда не «почести и знатность» волновали, а хлебная корка. Чтобы не свалиться, чтобы не раздели заживо и в штабель не выкинули... И когда стали предлагать погибающим людям записываться в добровольцы — это означало для них жизнь, а не мундир. Гороховый суп и тепло, а не «почести и знатность»... Надо самому пережить всё на собственной шкуре, чтобы иметь потом право в кого-нибудь из несчастных людей бросать камень»...



Слухи: в Швейцарии будто бы организованся комитет: Власов, Керенский и Митрополит Анастасий.

7 ноября.

Да здр-р-ра!... да здр-р-рас-с!! Ур-р-ра! Родному... любимому!.. Раз з десяток ловили утром Москву и — ничего, кроме славословия. Демонстрация. 28-ая годовщина Октябрьской революции!

Ур-р-ра... мудрому!..

В антрактах между попытками услышать что-нибудь менее подлое, П. П-ч громил двух «коммуноидов». Записать всю его диалектику невозможно. Отмечу только два пункта споров.

Капитан Ф. превозносил советские промышленные достижения (кстати: почему он не торопится насладиться ими вблизи? Или, может, записался уже потихоньку на репатриацию, а теперь выполняет «задание»?).

— Достижения! Достижения! — подергивал вверх подбородком П. П-ч. — Все эти ваши цифры, диаграммы — демагогия, блёф! В основу кладется возмутительнейшая предпосылка, для дураков: будто без советской власти страна так и застыла бы на уровне 1913-го года. Ведь тридцать лет почти! Чудеса можно было сделать за это время! А что сделали вы? Чёрт мне в том, что построили пару автомобильных заводов! Кстати — плохо построили: в войну пришлось у американцев грузовики занимать. Зато — во что превратили деревню? Кормилицу, источник богатства? Опять-таки в эту войну американцы консервы должны были слать, чтобы русский солдат не умер с голоду. В Россию — консервы! Позор-р!

Достижения! Грыжевые потуги, рабский труд. — И страна голодная, разутая. Самый низкий в Европе жизненный стандарт...

Достижения! А я вам говорю, что если бы большевики не украли у народа февральскую победу — Россия цвела бы сейчас, как ни одно государство мира! Да, да! Мы бы мировой пожар народными денежками не растапливали, коминтерновских протитутков, захребетников по всему свету на свой счет не содержали бы. Да знаете ли вы, что на одни

только награбленные по церквам да дворцам ценности можно было каждому мужику каменный дом построить? Ему нужен дом, он в землянках живет... Достижения!

Другой «коммуноид», поручик М., выдвинул в качестве достижения «уничтожение эксплуатации человека человеком»! Приводил цитаты с профессорским видом и вообще старался показать, что с Марксом — «на дружеской ноге».

— Вы думаете, вы — марксист? — уничтожал его П. П. — Вы просто попугай, извините. Не сердитесь: как старший замечая. Вы с Марксом знакомы по лубочному изданию ВКП(б) и по плакатам: пузатый буржуй в цилиндре и кулак в сапогах бутылками — эксплуататоры.

А на самом деле у Маркса эксплуатация определяется прибавочной стоимостью, т. е. тем, какую часть дохода хозяин кладет в карман себе, а какую уделяет рабочему. И наплевать мне, кто именно мой хозяин: Форд или красный директор с партбилетом! Я знаю крепко: ни на одной плантации мира не изматывают людей так, как на плантации с плевелами коммунизма. Изощренно. За гроши, за ничто...

— Но работают люди не на хозяина...

— На мировую революцию! — Единственный шанс, который имеется у захватчиков, чтобы спасти свою шкуру... Знаем мы всё это! «Свободный труд», «массовый энтузиазм», «соцсоревнование»... Всё — защитные клички, которыми прикрывается самое наглое человекоизнурение, живодерня. Клички гипнотизируют, конечно. Дураков. Черное и в самом деле начинает казаться белым. Но если вы интересуетесь марксизмом — рекомендую почитать Энгельса, первоучителя. У него в одной из книжек сказано: «Если мы половую щетку назовем млекопитающим — от этого у нее молочные железы не вырастут»...

**
*

К вечеру поймали концерт. Вот тут уже споров не возникло. Как пели!!

14 ноября.

Сегодня годовщина Пражского манифеста! П. П. делал по этому поводу доклад, небольшой, но очень интересный. Он говорил о том, что идеи манифеста неизбежно воплотятся в жизнь, т. к. за них — весь наш народ и в них его будущее. Говорил, что наше ужасное положение — между двух звезд — только отражение такой же трагедии всего нашего народа; что бороться надо до конца и не падать духом...

Да, бороться, бороться, бороться с захватчиками, поработителями! За родину свободную, богатую, счастливую! Как жаль, что до сих пор так мало принес пользы великому делу! А теперь, может быть, уж конец, гибель... Но все равно: не ныть! Смело смотреть в лицо завтрашнему дню, чем бы ни угрожал!

«О, в этом испытаньи строгом,
В последней роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И — оправдайся перед Богом!»

(Тютчев)

**

П. П. продиктовал несколько этических правил, которым необходимо следовать в порядке самовоспитания:

1. Никогда не лгать.
2. Ценить свое слово и исполнять данные обещания.
3. Быть настойчивым в достижении поставленной цели.
4. Быть скромным, скромность — одна из черт благородства.
5. Не завидовать никому.
6. Не видеть в других только плохое, учиться находить и хорошее.
7. Не льстить и не унижаться.
8. Не быть вульгарным.

15 ноября.

Только что пришел Жилин и сообщил, что в город явились советские войска (1 батальон), якобы — для вылавливания дезертиров. Что это?

**

Еще один подозрительный номер: в соседнем блоке спрашивали, кто считает себя советским подданным и кто нет.

— Там все поотреклись, — сказал Жилин. — Говорят, их будут отделять, таких...

— Тогда и мне переселяться придется, — заметил П. П. — У меня паспорт нансеновский.

— Чего там! Надо всем объявляться бесподданными, пускай тоже опрашивают!

Народ заволновался. Решили писать коллективное заявление, что не признают себя советскими. Как обычно, нашлись такие, которые усмотрели в этом «измену родине», принялись агитировать. Атмосфера раскалилась.

— Без ослов нигде не обходится, Володя. Успокойтесь! — сказал П. П., когда я стал возмущаться.

В самом деле: от своего народа я ведь не отказываюсь, а — от советского подданства...

«Читайте,
Завидуйте —
Я гражданин
Советского Союза!»

— писал Маяковский.

Нет, у меня этой гордости нет! Даже напротив...

**

В связи с общей тревогой по поводу советского батальона и опроса Ф. Ф. нервничает весь день, даже не старается скрыть. Мы уже сели за покер, и мне пришли четыре короля, а он всё прислушивался к соседским разговорам, вытягивал шею и забывал брать свои карты. П. П. довольно прозрачно заметил

что-то насчет отсутствия мужества, без которого не только что освободительного подвига не совершишь, но и себя потеряешь. И тут произошла «вспышка». Ф. Ф. побледнел, и у него сразу задрожали щеки и руки... Передаю его слова почти точно, потому что говорил он интересно и, по-моему, во многом прав.

«На какое мужество вы намекаете? — почти закричал он, бросив карты на стол. — Вы, прожившие двадцать пять лет на вольном воздухе? Мужество «вообще» — это абстракция. Существует мужество гражданина, революционера, мужество патриота, солдата... И все эти мужества у меня сожрало за эти годы НКВД. Как и у тысяч других русских людей... Да, я сознаюсь, я, вероятно, не способен на подвиг. Какого именно подвига вы от меня хотите? Для каждого подвига нужно внутреннее его оправдание, цель... Я не думаю, чтобы родился трусом, я в Белой армии трусом не бывал. А вот когда приехал в эту войну на фронт, в окопы, так до последнего дня не мог подавить в себе страха. Я знал, понимаете? — знал, что мне некого защищать, не за что гибнуть. Мысль умереть за Сталина, за сохранение проклятого режима убивала всякий намек на отвагу, всякое желание подвига. Дальше: раненый, в плену, я мог бы с достоинством издохнуть от голода, не унижаясь, не прося помощи у немцев, которые — я видел по их лицам — презирают меня, грязного, шелудивого... Тоже было бы мужество, подвиг, по-вашему? А я пошел и заявил, что отец мой немец, хотя это была неправда. А я солгал, сподличал, не только потому, что хотел жить, но и потому, что не видел никакого подвига в том, чтобы безропотно присоединиться к трупам на свалке...

Теперь какой очередной подвиг вы имеете в виду? Подвиг освободительной борьбы? Я был готов на него, когда надел эту вот форму, хотя я и не могу честно, положив руку на сердце, сказать, что верил в успех дела и не терзался противоречиями. Но я был готов... А теперь... Ведь через час, может быть, или завтра, или через неделю посадят тебя в

телячий фургон и повезут в застенок. Какой подвиг в том, что я при этом стану гордо закидывать голову? Кому это импонирует? Миру? Палачам? Поэтические времена гильотины миновали. Даже на виселице можно еще умереть гордой человеческой смертью, а тут... Вы бывали когда-нибудь в лапах НКВД? Нет? А я бывал дважды»...

Он задохся, помолчал, а потом продолжал как-то глухо, и теперь голос дрожал у него:

«Смерть... Ну, пусть, если я заслуживаю смерти, присудят меня здесь к расстрелу, к четвертованию. Клянусь вам, я не впаду в отчаяние. Буду знать: у меня хватит времени прочесть молитву, мне дадут возможность и письмо написать домой, жене и дочке... Да, у меня в Москве жена и дочка. — Написать им, как их любил, как тосковал без них, как умер... где умер... Найдется из немцев добрая душа, сохранит письмо и при случае... — ведь будет когда-нибудь такой случай, не может не быть!.. — проникнет это письмо к моим, и узнают... И, как знать, может быть и могилку навестят. Ну, лет эдак через десять, пятнадцать... у немцев могилки сохраняются...

А там... разве это смерть? Человеческая смерть? Разве вас там просто лишат жизни? Там истерзают ваше тело, измозжат волю, наплюют в душу, заставят оболгать себя, предать и продать друзей, родных, самых близких, кровных своих... Превратят тебя в слякоть кровоточащую, слезоточивую, дрожащую, безвольную... и тогда пожертвуют тебе в затылок пулю и ночью закопают в какой-нибудь подлой яме, как закапывают падаль. И пропал след Федора Федоровича Плинка, волею Божией — человека, волею Сталина — клопа, которым интересуются только до того, пока не раздавят...

17 ноября. Суббота.

Плохо спал ночь. Ф. Ф. во сне плакал. Мне же, когда задремывал, снилось всё что-то безобразное. Между прочим — крысы необыкновенных размеров, суеящиеся, хрюкающие, вспотевшие от бешенства.

Интересно, что П. П., как и я, верит в сны. Мы с ним беседовали уже несколько раз на эту тему, но сегодня он два часа читал мне лекцию об «астральном» мире. Очень интересно и глубоко.

**

Выяснилось, что наши генералы находятся в Ландсхуте. Тоже ждут решения судьбы.

20 ноября.

Пишу лежа на койке. Большинство спит. П. П. внизу курит, и лениво взбухает к потолку синеватый дым. Тоска. Или... я даже теперь и разобраться не могу, что это за чувство: тревога ли, одиночество... Три года назад в это время мы приехали в К., под Борисовым, и стали готовить рождественскую программу для местного театра. Я читал тогда «Стрелочника», а Тася пела «Землянку», это вот:

«Мы с тобой далеко-далеко,
Между нами поля и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти четыре шага...»

И пела она эту вещь (я не запомнил хорошо слова) так, будто знала, что такой станет скоро наша с нею действительность.

Любимая! Нас с тобой разделяет и расстояние и неизвестность... Помнишь ли ты меня? Услышим ли мы когда-нибудь друг о друге? Бог один знает это. Что бы ни случилось со мной, я всегда буду молить Его сохранить тебя от смерти и ужасов. Живи, будь счастлива, родная моя!..

«Догорают мечты бесполезные,
Вот и жизни пора догореть,
Не теперь, в наше время железное,
О несбывшемся счастье жалеть».

Скоро исполнится мне 22 года. Неужели в 22 года «жизни пора догореть»? Жить-то и не успел со-

всем. Жить хочется! Выписал эти стихи из своей тетрадки (плохи они?). Стихи — мой «пунктик», как сказал однажды Ф. Ф. По его словам, я нашпигован стихотворными кусочками, как жаркое салом. Правда, я много читал и много знаю стихов. Ф. Ф. замечал еще в дружеской самокритике, что у меня склонность к сентиментальности, иногда даже кажусь другим смешным. Но не в этом дело: стихи удивительно передают настроение: найдешь подходящие строчки, прочитаешь вслух или запишешь — и кажется, все выразил, высказался, и будто легче на душе... А сентиментальность... — Я стараюсь ее изживать. Как будто есть некоторые успехи.

Последние два дня усилились слухи, что из этого лагеря нас отправят в другое место. Все в тревоге: вдруг это место — по направлению на восток? Советчики в городе.

В нашей каюте — как в ракушке: снаружи — прибой, волнение, а у нас тихо, как правило. Только иногда захлестывает: приносят, например, немецкие или английские газеты, просят перевести, а потом загорается обсуждение...

Понятно, что все нервничают, но споры и брань опротивели. Сегодня вот громили двух монархистов, утверждающих, что спасение России — в самодержавии. Я не согласен, но почему затыкать другим рты? Откуда нетерпимость такая? Следы советской выучки?

**
*

Тревога улеглась. Разузнали, в какой лагерь собираются нас перевозить. Это где-то в нескольких часах езды отсюда. Еще внесло успокоение, что выдали по 5 пачек табаку. Все дымят.

25 ноября 1945 г.

Лагерь Платтлинг.

На новом месте. Приехали позавчера. Гигантская площадь, обведенная колючкой. Разделено на десять загонов (блоков). В каждом — бараки, холодные и

необыкновенно грязные. Некоторые не достроены до конца... Окна кое-где без стекол, забиты, тьма.

Вышки, вышки, вышки... В первую же ночь учинили стрельбу трассирующими пулями. Знай мол: отсюда не уйдешь!!

Городишко Платтлинг, подле которого находится наш лагерь, лежит при впадении Изара (опять Изар!) в Дунай. Летом здесь, должно быть, красиво, но сейчас серо, и вообще — не до пейзажей. Говорят, Платтлинг подвержен наводнениям. Пять лет назад случилось одно грандиозное: подняло Изар, хлынуло в канализацию, потом прорвало дамбу и затопило весь город. На лодках людей спасали.

— Вот если бы наш лагерь смыло... С охраной вместе! — сказал Жилин. — И выплыли бы мы в Божий свет, на волюшку...

Значительно хуже с питанием. Беспокоят частыми проверками (подозрительно!). Мы опять, как и прежде, устроились в том же составе в «каюте». Чистили, убирали, сделали столик между кроватями. Стало чуть уютнее.

15 декабря.

Все по-старому. Параши без конца (парашами называются здесь слухи. — Очень метко, по-моему: распространяются также стремительно, как запахи, и так же, обычно, неприятны). Утром: достоверно вывезут в СССР. Вечером: американский комендант торжественно обещал, что этого не будет. Так — все время. Возобновили с П. П. беседы. Вернулся с командой (довольно поредевшей) Бор. Гавр. Богаевский. Мы предложили Жилину поменяться с ним местами, но Ж. обиделся очень. «Уж привык к вам, друзья, что ж вы меня вышвырнуть хотите!» — Нам стало его жалко.

**
*

Вечер. Ф. Ф., как «падший ангел» (выражение П. П.), сидит на койке, обхватив лысину обеими руками, локти — в колени.

— Может быть — в покер, Федор Федорович?

— Да, давайте... У кого карты? Вот если бы мозги можно было тоже на время под подушку прятать, чтоб избавляться от мыслей... Вы не знаете Майкова, Володя, «Три смерти?» Незаслуженно забытые стихи. Сейчас вспомнил вот это вот:

«Жизнь хороша, когда мы в мире
— Необходимое звено,
Со всем живущим заодно,
Когда не лишний я на пире,
Когда, идя с народом в храм,
Я с ним молюсь одним богам»...

Да! Вот я и думаю: одним ли богам со своим народом мы молимся? Не разным ли?

— Гм... --- сказал П. П., садясь за столик. — Сдаю.

— Минуточку.. Там дальше тоже про нас. Только я позабыл уже, перевру, наверно:

«Но если жизнь, с тобою розно...»

— Нет, не помню, вылетело...

«Когда указывает пальцем,
Тебя завидя далеко...
О, жить отверженным скитальцем,
Друзья, поверьте, не легко...
К тебе иду, Сократ, к тебе»...

«А не спятит он у нас, как ты полагаешь?» — шепнул мне Жилин, расставляя свои булавки.

20 декабря.

Сегодня день моего рождения. Минуло 22, а по документам — 20 (это еще со времени, когда был в немецком плену и «ловчился» освободиться по несовершеннолетию). Получил подарки: от Ф. Ф. пачку сигарет и «Алые паруса» А. Грина (кто-то ему принес), а П. П. подарил несколько маленьких книжек

стихотворений (А. Ахматова, М. Волошин и др.) и электрический фонарик. Несмотря на это, целый день был плохо настроен. Вспомнил тех, кто должен (если жив) сегодня думать обо мне и кого я наверно потерял навеки. Потом немного развлекся, играя в покер.

**
*

Лагерь Платтлинг.

Рождество по новому стилю.

Было богослужение. Церковный хор под управлением Б. Яковлева. Пели хорошо, все расчувствовались, особенно на «Херувимской» Чайковского.

Слушая, я думал о том, что истинно верующие не боятся судьбы, а верят в милость Божию и в то, что Он ведет нас. Решил в дальнейшем не поддаваться чувству страха, стараться помириться с мыслью о том, что смерть ведь рано или поздно неизбежна...

П. П., словно угадав мои мысли, привел вдруг следующую цитату из Шекспира («Юлий Цезарь»):

«Из всех чудес, которые случалось
Мне видеть, мне одно чуднее всех:
Что люди так боятся смерти, зная,
Что смерть как неизбежный наш конец
Придет сама, когда пора ей будет».

Омрачает эту мысль другая: смерть у советчиков, как ее описал недавно Ф. Ф. Но надо преодолеть и этот страх...

28 декабря.

Прочитал «Алые паруса». Замечательно, по-моему. В Москве у меня была «Дорога никуда» Грина. Но «Паруса» лучше. Сказал об этом П. П-чу, а Жилин усмехнулся, обгрыз мясо на колбасной шкурке и утер рот рукавом:

— Паруса сто лет как отставлены. Теперь теплотходы! И в любовь люди по-другому играют. Чудак этот Грин ваш...

— Не чудак, а художник! — задергался П. П. — Художник, понимаете? Да — где вам! Привыкли «без парусов» в своей Совдепии... Я рад, что у Володи не вытравлена тяга к романтике. И вообще — у молодежи нашей. Бедные, как живут! Нужда, страх... мысль и творчество — от сих пор до сих. Серость во всем. Мир одногранен, мечту — по боку, соси пропагандную портянку. Чудовищно! Однообразие убивает. Заманчиво, целительно — только новое, неизведанное...

«Счастлив, кто падает вниз головой,
Мир для него, хоть на миг, но иной!» —

— писал Ходасевич. Гипербола, но...

— Пусть он и бросается с крыши, ваш Ходасевич. — А мы уж на ногах постоим...

— Потому что вы — колбасники, Жилин. Вы — за коллективное потребление калорий и политграммы. По плану... Оно и хорошо: я уверен, что советчину погубит ею же выращенная почти астрономическая пошлость. Пошлость — это и есть однообразие, результат плоскоступия мозга, — однообразие, возведенное в принцип жизни...

Записал разговор почти дословно. Интересно! Потом П. П. много говорил еще о символизме и о мистическом. В самом деле: как бедны люди, для которых существует одно материальное, лишь то, что можно пощупать!

31 декабря.

Только что пришел из соседнего блока. Слушал московское радио. По-нашему в 10 часов куранты на Спасской башне стали отбивать полночь — и сердце так и покатилося. Москва живо встала перед глазами. Зимняя, ночная: Красная площадь... морозец... снег хрустывает под подошвами. Василий Блаженный в прожекторах с Исторического музея — розовый с фиолетовым. С ГУМ'а снопы света — на Кремль, и стена — серебряная. Кружевом вдоль нее — лапки елок. Москва! Башня в зубчатом ожерелье, и еще колено, и еще, поуже и почернее, на синем с золотом

небе... И даже эти безвкусные бомбоньерки вместо орлов не в силах испортить целое. Москва!!

Хорошо у Есенина:

«Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая, дремотная Азия
Опочила на куполах...

И дальше:

Низкий дом мой без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох,
На московских изогнутых улицах
Умереть не судил мне Бог...

Переделал последнюю строчку. Неужели — так? Неужели никогда не увижу тебя, моя Москва? Родных, маму?

Зовут встречать Новый год. Старому, страшному, 1945-ому, осталось только 50 минут жизни.

1 января 1946 г.
Лагерь Платтлинг.

Новый год! Вот я вчера назвал старый «страшным», а что принесет Новый? Не окажется ли еще страшнее? Но на всё это воля Всевышнего. Он всё решает. Видит всё, слышит всё...

Встреча вышла довольно оживленная и сытная по нашим обстоятельствам. Ходили к Бор. Гавр-чу в соседний блок. У него там было весело. Между прочим один молоденький подпоручик с красивым тонким лицом каким-то образом соорудил себе женское платье и на голову — тюрбан, подгримировался и кокетничал, изображая даму. За ним ухаживали, говорили комплименты. Поручик К. увивался и пел:

«В одиночку мы не любим ночью спать,
Тянем бабу мы с собою на полати,
Чтобы было, на кого...»

и дальше совсем неприлично. — Это так он перевел немецкий шлагер из фильма “Die Frau meiner Träume”,

который я когда-то, год назад, смотрел в Егере. Сразу вспомнилось, как я мечтал тогда о вступлении в РОА, о деятельности. И вот такой бесславный конец этой мечты, этой деятельности...

В 12 загрохотали американские пулеметы с вышек, приветствуя Новый год. Но стоят эти пулеметы не для новогодних салютов, а угрожая смертью — нам!!

Затем Бор. Гавр. рассказывал воспоминания из своей московской жизни: о том, как его заставляли быть осведомителем НКВД и смотреть за одним его другом и как он в конце концов отплевался от чекистов, прикинувшись дурачком на манер бравого солдата Швейка. Еще — один случай во время демонстрации. Он пел в самодеятельном хоре, и вот они со своею колонной проходят по Пречистенке. Запевалой у них — некий Андрюшка, наборщик по профессии. Парень приглуповатый, но бас протодьяконский. Начальник колонны и говорит:

— Андрюшенька, сейчас мимо райсовета проходить будем. Там с балкона приветствуют... Подбери песенку!

— Ладно, — отвечает Андрюшка. — И затягивает народную бурлацкую, которую любил петь Шаляпин: «Ты взойди, взойди, солнце красное». А когда дошли до приветствующих (д. № 14), выходило петь как раз четвертый куплет. Андрюшка и гроыхнул было, не подумавши:

«Мы не сами-то идем-идем,
Нас нужда ведет,
Нужда го-о-орькая»...

— И ведь как гроыхнул! — рассказывает Бор. Гавр., — на весь квартал! Только смотрит: мы его не поддерживаем. Так, пискнул, квакнул кто-то, да и примолкли все.

До Кропоткинских ворот не дошли — откуда ни возьмись, заходит в эту нашу музыкальную паузу человек какой-то в плащике, берет Андрюшку за

локоть и кивает: отойдемте, мол, гражданин, в сторонку.

— Ну?

— Ну, только мы его с тех пор и видели...

8 января. Платтлинг.

Прошло наше Рождество. Такого нерадостного Рождества я не переживал еще. Т. е. по внешней обстановке Рождество 41-го года, в немецком плену, было много тяжелее: голод, вши, тиф... Я тогда, помню, еле держался на ногах. Теперь у каждого нашлось, чем отметить праздник, а в душе кошки скребут. Страх неизвестности, ожидание изо дня в день решения судьбы. И так уже — семь месяцев! Изо дня в день! Нет, в 41-ом году было легче! Кругом подлость. Вот пример: с воли привезли для нас рождественские подарки от добровольных жертвователей-земляков. Тонны три. Жилин получил выделенное для нашего барака. Гляжу — вечером прячет под подушки коробку консервов и две пачки сигарет. Заметил, что смотрю, подмигнул:

— За работу, брат. И не хотел хватать — сами к рукам прилипли. Что ж, другие тырят ящиками. Без совести. Не зевай!..

А на утро обнаружилось, что «специальная комиссия», распределявшая подарки по баракам, проворовалась...

10 января.

Ходил гулять вдоль проволоки. Взад-вперед. Думал, пока в голове не зарябило. Возвращаюсь домой — у подъезда джип. В помещении — тревога. Спрашиваю: что такое? — Семерым нашим офицерам приказано садиться в машину. Куда?.. Ф. Ф. второпях объяснил мне, что перед машиной являлся советский офицер и требовал списки нашего блока и анкетные данные. Полковник П. отказал ему в этом, но всё вместе взятое (советчик и джип) произвело смятение.

Семеро наших противятся ехать. Шум. Крики. Побежали к американскому коменданту лагеря...

Пришел его помощник и заверил, что офицеров вызывают в американский генеральный штаб. Объяснил, что (как мы и предполагали) советчики явились без ведома и разрешения американских властей. «Если еще раз так явятся, — сказал он, — можете выгнать их в шею». Все закричали «ура»!..

11 января.

Гнусное освещение. Достаточное, чтобы не стлбиваться на ходу лбами, но — не для того, чтобы читать или писать. Этот вечный полумрак по вечерам угнетает. П. П. хотел провести в наше каре лампочку — не разрешили.

Пишу всё-таки... Жилин лежит на смежной верхотурке животом вниз. Уставился куда-то из-под припущих своих век и подвывает негромко:

«Расскажи, расскажи, бродяга,
Чей ты родом, откуда ты?
— Ах, да я не зна-а-ю,
Ах, да я не помню»...

Этак подвывает он (всегда одно и то же), если нападет на него раздумчивость. Иногда и среди разговора затянет вдруг ни к селу ни к городу...

Ну и настроение! Как тяжело оказаться «между», за бортом жизни! Жертвой «самых подлых в истории политических провокаторов», — как называет Ф. Ф. большевиков. Неужели мы — преступники? А с у д ь и к т о ?

Это ведь вот и обидно: «коллаборантами» нас, идейных борцов против коммунизма, обзывают не только советчики, мастера на ярлыки, но и так называемая демократическая печать. Даже немецкая (и немцы туда же!).

По поводу «ярлыков» вспоминаю А. Ф. Заряжского. «В слове, — говорил он, — есть таинственная, заклинаящая сила. Возьмем хотя бы ворожей, «заго-

варивающих» кровь... Слово может очаровывать, слово может пугать. «Буки» боятся дети; слов с непонятным значением боялась купчиха из пьесы Островского... Эти свойства слова используют отчасти жулики рекламы: придумывают звонкое название для какого-нибудь патентованного средства, и обывателю вдруг кажется, что именно в этом вот звучании — его спасение от несварения желудка.

Жулики пропаганды особенно ловко пользуются заклинаящей силой слова для изготовления ярлыков. «Саботажник», «вредитель», «враг народа» и сотни других — всё это слова без полноценного содержания, но с впечатляющей окраской, нужной пропагандистам»...

«Коллаборанты», «коллаборантство»!

Должно быть, от горькой обиды все спорят о том, что собственно это значит? Каждый горячо отбрасывает от себя обвинение. Сегодня по этому поводу разгорелись прения и у нас в каюте.

К троем из нашей четверки ходят знакомые, вызывают на свидание. К каждому, кроме меня!..

12 января.

Кажется, дискуссию нечаянно заварил я, вспомнив снова девушку-чешку из Егера, которая упрекала меня за то, что я, русский, иду с немцами. Стали уточнять, что заставило нас надеть немецкую форму.

«Я — сказал Ф. Ф. (передаю приблизительно), — считал и считаю пораженчество законной формой борьбы с ненавистным народу правительством. Союз с Гитлером при всех условиях был меньшим злом, чем оказание поддержки Сталину.

— Правильно! — перебил Жилин. — Гитлер, скажем, чорт, а большевизм — тысяча чертей!

«Даже если взять самое худшее: захватническая политика немцев привела бы к временному ограничению национальной независимости. Я не верю в возможность поработить Россию, но — допустим. И всё-таки это было бы лучше ига Сталина, потому

что немецкое засилье было бы внешним, охватывало бы политику, экономику... А большевизм означает рабство универсальное, убивающее душу, рабство гибельное, как гангрена»...

П. П. возражал резко и очень подергивался. Он говорил, что верить в победу немцев в этой войне было по меньшей мере наивно, а мириться с их планами порабощения России даже и преступно. Тактический союз с Гитлером, по его мнению, оправдывался как средство, чтобы на оккупированной немцами территории пробудить и объединить национальные антибольшевистские силы. С помощью немцев и не смотря на немцев. Трагедия — в том, что удалось это сделать лишь частично и слишком поздно. Если бы РОА сложилось раньше, союзники, разбив немцев, стояли бы перед фактом начала национальной революции и уж, конечно, не стали бы поддерживать сталинский режим...

Я тоже высказал свое мнение о коллаборантстве: кажется, в некоторых случаях было оно неизбежно и даже благотельно.

В самом деле: на такой громадной площади, с миллионами населения, особенно — деревенского, как можно было во время оккупации обойтись без посредничества отдельных русских? Возьмем хотя бы переводчиков. Ведь где нехватало переводчиков — там и били, и грабили без удержу. Немцы с нашими не стеснялись, не то, что, скажем, с голландцами, бельгийцами и прочими, на Западе... К тому же большевики намеренно провоцировали конфликты... И переводчики спасали людей... Конечно, всюду пролезло много гадов, это верно, но были и честные. И если бы эти честные отказались от посредничества — что получилось бы? Немцы с голоду и от беспорядка не погибли бы, а наше население?.. Что большевики теперь таких «коллаборантов» вешают — это понятно: большевикам чем больше при немцах было безобразий, тем выгоднее, ну а по человечеству никакого преступления эти люди не совершали, даже наоборот»...

Диспут оборвал Жилин, принесший сведения об увезенных американцами наших офицерах: их доставили напрямик в штаб. Сведения сегодня подтвердились.

13 января.

Необыкновенно радостное событие! Утром прибежал Жилин и сообщил, что меня вызывают на свидание. «Девушка!» — сказал он и прищелкнул языком. Я не могу описать состояния, в котором бежал до ворот. Бежал как в бреду! Самые невероятные мелькали надежды...

Это была Нина! Всё такая же, как в Минске: свеженькая и с веснушками чаще моих, рыжеватенькая, как подсолнушек.

— Ты знаешь что-нибудь о Тасе? — спросила она одним выдохом, сналету, и как водой холодной облила. Я-то на нее надеялся...

Нина о Тасе ничего не знает. Рассталась с ней 1 августа 1944 г., под Берлином, в Дабендорфе. Потом уехала работать в казино при одной летной части, а Т. собиралась устраиваться в прислуги. Конечно, тоже эвакуировалась! Конечно — если не случилось несчастья при постоянных берлинских бомбёжках... Чтобы она захотела бы с советчиками... нет, нет! исключено полностью! Значит — где-нибудь здесь; может быть, поблизости. Здесь!! Господи, благодарю Тебя за новую надежду!

Мы с Ниной говорили больше часу, пока она не затормошилась — на поезд. Вечером у нее работа — тоже в казино, только в американском. Живет в Мюнхене и встретила еще трех или четырех наших общих знакомых, в том числе и Дунина, который очень хорошо устроился при одном немецком варьете.

Нина обещала навещать каждое воскресенье.

Вечером пересматривал свои фотографии. Пробовал писать стихи...

Какая великая вещь — надежда!

15 января.

Уехал в другой лагерь П. П. Сомов. Кажется, он там будет уже не на положении пленного, а работать у американцев, т. к. умеет немного говорить по-английски. Его отъезд — большой удар для меня. Кончились не только беседы, но я потерял советника и наставника в жизненных вопросах. Ф. Ф. я очень уважаю, но это — совсем другое. И, главное, он сам так потерян сейчас. Ему обещали доставить гражданский костюм, и он ни о чем другом не думает.

П. П. сказал, что будет навещать и «ни на минуту не выпускать из виду» меня и мою судьбу.

Дождь и какой-то с ледышками. Утром всё замерзает. Тоска. В нашем лагере американских постовых заменили поляками, которые немного понимают по-русски (хороший знак?)

**

Видел страшный сон. Страшный особенно тем, что уж один раз снился (это еще в Егере). Конец совсем одинаков: красноармеец-чекист с малиновыми петлицами бьет меня по голове прикладом — и просыпаюсь.

Приняли на свободное место в нашу каюту Богавского.

21 января, понедельник.

Ждал вчера целый день Нину. Не пришла...

Сегодня потрясающее известие по радио: будто бы в лагере Дахау выдали большевикам таких, как мы, «военных преступников». Вы-да-ли! 20 человек из них, запершись в бараке, сожгли себя заживо, чтобы не попасть палачам в руки.

Вечером известие подтвердилось...

Двадцать героев! Они обнажили перед всем миром страшную русскую трагедию: люди предпочитают огненную смерть выдаче... Но как же теперь — с нами? Значит и нас будут выдавать?

Места себе не находим в тревоге...

23 января.

Лагерь Платтлинг.

Сегодняшняя заметка в "Isar-Post" в связи со случившимся в Дахау: «Генерал Мак Нарвей заявил, что в американской зоне Германии находится около 20 тысяч бывших советских граждан, подлежащих насильственному, если потребуется, вывозу в СССР. Это дезертиры или добровольно сражавшиеся против союзников. Советские власти представили данные о каждом из этих «крингсфербрехеров» и совершенных ими преступлениях...»

**

Все как в лихорадке. Страшные события, повидимому, надвигаются...

25 января.

Два дня на положении приговоренных к казни! Два дня ждем с минуты на минуту выдачи! 1.000 советских солдат прибыло с этой целью в город. Это выйдет — как в Дахау. Всё ясно! Ясно, как рассматривают нас американцы, что собираются сделать с нами...

Сегодня под утро, когда все спали, вбежал в барак один из наших и закричал: «Братцы, вставайте! Нас утром выдают! Братцы, опасность!!» — и с тех пор кровь так и не согревается в жилах. Днем (в пополнение к советским частям) прибыло 4 роты американских солдат. Отправлять очевидно станут завтра утром. Говорят — 1.200 человек. Говорят — в первую очередь из нашего блока.

Сейчас уже ночь. Большинство спит. Половина лежат одетые. Ф. Ф. сидит и похрустывает пальцами. Боже мой! Всего несколько часов отделяют от гибели! Что делать? Господи! Отведи от наших голов этот кровавый ужас! Не допусти, Господи!..

26 января.

Известие о советских войсках оказалось ложным. На этот раз — пронеслось. Все вздохнули, но целый

день апатия и какая-то тупая боль во всем теле, как после копания бомбоубежища... Только отсрочка?

27 января.

Приезжала Нина. Прошное воскресенье у нее было дежурство. Привезла сардин, сигарет и игральные карты с красивым узором на обороте. Видела Дунина, и он обещал приехать тоже в следующее воскресенье. Я просил Нину поговорить с ним: не может ли он достать мне на всякий случай гражданскую одежду. На всякий случай... — Какой?

Официально сообщили из комендатуры, от имени коменданта лагеря г. Г-р, что в ближайшее время к нам явится комиссия для персонального опроса каждого из нас и решения всех вопросов. От этой комиссии зависит наша жизнь.

**

Говорят, мировое общественное мнение возмущено происшедшим в Дахау. Папа римский заявил протест. Наши русские друзья на свободе хлопочут, составляют просьбы, воззвания...

30 января.

Ф. Ф-ча вызывали на свиданье. Вернулся он бледный. Отозвал меня в сторону:

— «Володя, не распространяйте дальше: всех выдадут. Вопрос уже решен. Авторитетные люди были у генерала Трускотта и узнали это совершенно достоверно. Спасение одно: воздействовать на комиссию. Думайте, готовьте свое выступление...»

Известие и без нашей помощи распространилось мигом. Комиссия — месячная отсрочка выдачи, произведенная по настоянию американцев, вопреки требованиям большевиков.

Вчера прибыло человек 50 из Дахау, большинство — старые эмигранты и еще некоторые, которых отправку отставили, когда они уж сидели в машинах. Вот цифровые данные о дахауской трагедии (не знаю, верно ли): выдано 85 человек, из которых бежало 6

по дороге. Больше 150 человек покончили самоубийством или ранили себя. Раны были кошмарные, немецкие хирурги зашивали горла; одному, говорят, даже сердце зашили.

Все в ужасе. Ужас, как дым, висит в воздухе.

2 февраля.

Говорят, что приехала комиссия. Говорят — состоит из 12 человек. Есть ли среди них советские? Некоторые уверяют, что будут, но только переодетые в американскую форму.

Недавно вывезли всех немцев, которые сидели в нашем лагере: эсэсовцев, фольксдойчше и других. Венгров тоже. Большинство блоков пусто. Только наши остались (1-ый, 4-ый, 9-ый). Подготавливают!!!

Перегнулся вниз, посмотреть, спит ли Ф. Ф. Хотел спросить, как думает он о предстоящем...

Не сразу разобрал, что он делает; разобрал — осторожно подтянулся назад, чтобы он не услышал: сидит с иглой. Зашивает что-то, обернутое свинцовой бумажкой, в подкладку куртки, в уголок полы.

Что — догадаться нетрудно: лезвие, конечно. Лезвие от безопасной бритвы.

Иголку протаскивает так неумело, что даже и глядеть смешно. Нет, какой уж тут смех! Господи!..

**

Совершенно уверен, что в скором времени предстоит что-то страшное. Стараюсь, но не могу перебороть себя и не поддаваться предчувствиям... Думаю: чем я лучше других? Чем лучше — тех, из Дахау? Почему меня может пощадить судьба? Рок висит над несчастными русскими изгнанниками. Разве не трагична участь Милицы З.? А сам Заряжский, верно, умер уже от чахотки... Хотя — вот о нем суждение Ф. Ф.: «Умер? — Ручаюсь, что нет. Выкарабкается. Ему всю жизнь удача. Из «везунчиков»... Подумать: заболел и эвакуировался как раз за неделю до окружения! Ну, а если... Разве умереть от туберкулеза, в уходе,

в мягкой постели, не лучше в тысячу раз, чем в советском концлагере?»

Многие из наших утверждают, что в комиссии собраны все присланные советчиками материалы против каждого из нас и будут предъявлены нам в оправдание выдачи.

Это значит, что гибель predetermined. Она — только вопрос времени и с каждым часом ближе...

3 февраля, воскресенье.

Нина снова не была. Ф. Ф. передал мне от нее записочку (принесла ему Ара, наша общая знакомая еще по Хойбергу, очень славная и утешительная). Нина уезжает сегодня куда-то за город.

Комиссия уже прибыла. Это точно.

**

Последовал примеру Ф. Ф.: разломил надвое бритвенный ножик и зашил одну половинку в пояс брюк, другую — в рукав куртки, у самого краешка. Чтобы легко достать, даже если будут связаны руки...

**

Комиссия в первом блоке. Говорят, что советских нет; по крайней мере, на внешний вид — всё одни американцы. Комиссия держится по отношению к нам не агрессивно, снисходительно, но никаких обещаний не дает. Заполняли вчера для нее специальные анкеты.

В первый день прошло 155 чел., главным образом старых эмигрантов. Несколько американцев обмеривали лагерь и здания, видимо, чтобы составить план. К чему это?

10 февраля.

Утром ходил в церковь. Служилась панихида по погибшим в Дахау. Пели «вечную память» — и все присутствовавшие плакали. У меня мелькнула жуткая мысль, может быть, отпеваем самих себя.

Приходила Нина с Дуниным. Он возмужал, хорошо одет. Как различна судьба! Вот и Дунин одно время носил униформу, а сейчас — на свободе, на любимой работе, ни в чем не нуждается, не тревожится за будущее. А я...

Но нельзя роптать, а тем более завидовать. Дунин рассказывал об одном остовце, поехавшем в СССР в поезде с красными флагами и портретами вождей. Вся эта декорация держалась только до лагеря где-то в Польше. Там заперли за проволоку, и «родина встретила». Его жестоко били, требовали, чтобы сознался, что помогал немцам. Много было за проволокой и девушек. Девушек бьют тоже. Остовцу удалось бежать.

Может быть, это — след давнего нашего охлаждения из-за Т., но Дунин показался мне немного неприятным. Костюм достать он пообещал наверняка.

**
*

Целый день дождь, ветер, грязно и холодно. Вечером было выступление ансамбля К. Олейникова.

**
*

С завтрашнего дня ожидаем комиссию в нашем блоке.

11 февраля.

Комиссия работает у нас. Кем-то выдвинута «теория», что при ответах не следует нападать на сталинский режим, потому что это «дружественное американцам правительство». Будто бы таких особенно подозревают в симпатиях к Гитлеру... Жилин совсем подпал под влияние этих разговорчиков и заявил, что будет говорить только о голоде, который толкнул-де в РОА. Ф. Ф. даже рассердился, слушая его, и сказал, что такую версию могли распустить только советские агенты «для дураков». Обдумываю свои ответы...

**
*

Встретил подпоручика Ш., которого знал еще в Старгороде фельдфебелем. Их, человек пятнадцать, привезли из Дахау, из лазарета: пытались покончить с собой. У Ш. рука на перевязи — разрезал жилы. Ведь какой был мастер рассказывать. Одна мимика чего стоила! Теперь — лицо, как восковое. Молчит всё. Осторожненько пытался выпросить...

— Ей Богу, не хочется описывать. Что? Сколько нас было? Человек восемьсот. Ну да, так же вот, как и вы тут, ждали решения... А потом в один непрекрасный день — поляки к нам, в американской форме. Велят грузиться. Куда? — спрашиваем. — В Советский Союз! Переполох, конечно. Отказываемся. Поляки уходят, а через час заявляются обратно, уже с американскими МР, в составе до батальона... Стали выгонять из барак. Ну, тут и началось... Знаешь, в общем, дальнейшее...

Вечером я носил ему сигареты, и он всё-таки рассказал подробности. Что же это было!.. Людей волочили под руки, и они находу кололи и резали себя чем попало. Говорят, не выдерживали и сами полицейские, говорят — кричали от ужаса...

**
*

Ночь не спал. И только закрою глаза — вижу в разбитом окне, в ожерелье осколков, голову: человек пробил стекло лбом и вертит шейю, чтобы перерезать вены... Стеклянные клинья впиваются в тело, кромсают в лоскутья...

Какое преступление! Людей, виновных только в том, что они не пожелали защищать самый кровавый в истории режим и пошли против него, за свой народ, за свою родину, людей, сдавшихся на милость свободлюбивейшей нации мира — американцам, выдают на расправу палачам, лютым врагам христианской цивилизации! И это — человечность?

Запятнавшие себя невинной кровью не имеют права называться демократами!

Ф. Ф. сказал: «Что ж, от вечной Истины, Добра и Любви западная демократия далека, как и большеви-

ки. Может быть, даже дальше, т. к. большевизм отвергает Вечное, не познав Его, а Запад утверждает, что познал Его, и оскверняет Его... Не смешивайте вопросов философии с политикой, Володя...

13 февраля.

Всё подготавливаю к опросу. Хотел записать свои объяснения по поводу вступления в РОА, и гл. образ. свое отношение к сталинскому режиму, так как боюсь, что могу потеряться, как это со мной часто бывает. Начал писать записи, но ничего не вышло — слишком волнуюсь!

Вчера вечером, точнее — ночью:

«Володя, Володя! — будит меня Жилин. — Слышишь, как он хрипит? Чего это он?»

Страхиваю сон. Перегнулся, куда показывал Жилин. Через койку от меня, внизу, поместился недавно один приехавший из Дахау. Нацмен. И с его места доносятся в самом деле какие-то странные, булькающие звуки, будто горло полощут.

— Пойдем посмотрим, — говорит Жилин. — Может припадок? До смерти боюсь припадочных...

Соскочили, подошли. Человек лежит, закрывшись с головой одеялом, и дергает ногами. И тут же сразу заметили лужицу, натекающую на пол, у изголовья. Кровь! Откинули одеяло — и потемнело в глазах: голова человека плавала в крови. — Решил, что спасенья от выдачи нет, и перепилил себе перочинным ножиком под одеялом глотку... Я весь измарался кровью, перекладывая тело на носилки.

Спасти его не удалось...

15 февраля.

Проходил комиссию! Сделал ужасную, губительную ошибку! Ф. Ф. говорит, что она может повести к трагическому исходу...

Когда меня после предварительного анкетного допроса (допрашивал американский лейтенант и переводила какая-то немка) привели в комнату, где

сидела комиссия, я потерялся, чего так опасался заранее. Было здесь 8 или 9 офицеров и один переводчик в чине лейтенанта, говоривший довольно сносно по-русски. Американский полковник с усами, похожими на усы Николая 2-го, задавал вопросы. Почему-то мне вспомнились идиотские разговоры о переодетых советчиках, и еще стало подозрительно, что он записывает мои ответы раньше, чем переводчик переводит. Словом, я смяк и отвечал непростоительно глупо. Спросили:

Имел ли я право голоса в СССР?

Подвергались ли мои родители или родня репрессиям?

Подвергался ли репрессиям я сам?

Ответил, что на выборах не участвовал из-за несовершеннолетия, дальше сказал правду: что никто из моих близких, ни я сам ГПУ не арестовывался и т. д. Как я теперь вижу, из моих ответов получилось, будто я не имею основания быть недовольным советской властью. После окончания вопросов я, правда, объяснил, что отрицаю сталинскую диктатуру, что принадлежу к движению, которое стремится установить в России другой, справедливый строй. Но всё это вышло как-то неубедительно, и полковник этого не записал: в записи остались только нелепые мои ответы. В заключение я сказал, что хочу оставаться на Западе и прошу не отправлять меня в СССР, но это уже едва выслушали и ответили небрежно, что комиссия не уполномочена выносить такие решения. Я вышел.

Бор. Гавр. оставил в комиссии длинное заявление с перечнем всего пережитого им и его семьей от НКВД. Ф. Ф. говорил при опросе очень долго и много и подчеркивал, что он — бывший поручик Белой армии.

Оба утешают меня, но Ф. Ф. считает, что я должен письменно изложить то, чего не успел сказать на месте, и подать записку в комиссию с просьбой приложить к своему делу.

Записку я составил подробную и сейчас стану переводить ее на немецкий.

**
*

Прибегал из 9-го блока Саша П., по прозвищу Вьюнок (москвич тоже, еще в Берлине познакомились). Очень оживленный, и сразу видно, что держит за зубами какой-то секрет.

Не сказал, но я догадываюсь: наверно собирается драпануть. Как?..

16 февраля.

Приезжали два американца. Кажется, из разведки. Разговаривали кое-с кем по личному выбору. По-русски. Заглянули и в наш закут. Очень сочувственно выслушали мою историю, взяли составленную мной записку и торжественно обещали передать, куда следует. Потом один из них, курносенький, спросил вдруг, считаю ли я себя тоже пораженцем?

Я объяснил.

Пораженчество не ново в нашей истории, — вмешался Ф. Ф. — В первую мировую войну большевики, желая свергнуть царизм, тоже были пораженцами. Немцы в plombированном вагоне пропустили Ленина в Петроград...

— Ну, это дело давнее. Согласитесь, однако, что ваше положение несколько иное. Ваш союз с немцами очень напоминает измену, господа, — сказал американец.

— Мы не государство, а группа антибольшевиков. Союз с немцами заключили в 39 году кремлевские политики. Польшу поделили и продовольствие поставляли в Германию. Вот это была измена.

— Да, но потом дрались с Гитлером... А вы его поддерживали.

— Мы не поддерживали. Он поддерживал нас. Только плохо, к сожалению...

Американцы махнули рукой и ушли, смеясь.
А мышкам — слезки!

**
*

Читал и переводил всем сегодня из газеты о заседании УНО, где решался вопрос о нас. В нашу защиту выступала г-жа Элеонора Рузвельт. Она настаивала, чтобы всем, кто покинул родину из политических, расовых или религиозных причин, предоставлено было право убежища. Вышинский требовал провести проверку беженских лагерей, запретить в них пропаганду против стран УНО (читай: против кремлевских палачей) и против репатриации. В заключение же требовал выдачи всех «военных преступников». Требования его были отвергнуты большинством голосов.

Когда я это прочитал, все захлопали. Раздалось «ура» в честь Элеоноры Рузвельт.

— Первую стопку за ее здоровье выпью, как только вырвусь! — заявил Жилин.

17 февраля, воскресенье.

Т а с я з д е с ь ! Т а с я з д е с ь ! ! З-д-е-с-ь!!!

«Милый Володя, в следующее воскресенье у меня выходной день и я приеду к тебе.

Твоя Т.»

Эту записку привезла мне сегодня Нина, Тася здесь, совсем недалеко от меня! Она работает при кухне в туберкулезном санатории, километров 30 от Мюнхена. Нина узнала об этом от одной украинской девушки, которая тоже там судомойкой и приезжает в Мюнхен. И Нина ездила к Тасе в прошлое воскресенье, чтобы убедиться самой. И оттого не была у меня. Тася здесь! Хожу, как блаженный, хожу, как шальной, готов каждому, всем на шею броситься. От счастья...

**

Вечером долго разговаривали (К., Бор. Гавр. и я), обсуждали, что будем предпринимать, если освободят (ах, как верится теперь, что непременно освободят!). К. предложил подобрать еще человек шесть реши-

тельных людей (помимо Т. и меня), соорудить парусно-моторный бот и на нем плыть через океан в Америку. Производили всевозможные расчеты. Представляли себе живо, как мы благополучно завершаем это путешествие, и вот над приближающимся берегом видна уже статуя Свободы...

**
*

Ночь не спал. Думал. Этот мой план (пусть отчаянный, но осуществимый же, если всё так сложится...) давно сидел в мыслях. Каждый шаг был разобран. Упиралось все в один тупик, а вернее — не было стимула. Теперь тупик, кажется, исчезает, и стимул есть. И какой!.. Мечтал, рисовал себе: Нина говорила, что Тасин санаторий стоит в лесу, в одном из самых больших лесов Баварии. Что ж, в лесу всегда можно укрыться. Отрыть землянку или сложить плотный шалаш. Утеплить его мхом в несколько пластов. Питание же — это главное — обеспечено. И переждать... Вместе...

Но всё окончательно решится только после свидания с Тасей. Еще неделя...

19 февраля.

Вторник уже. Считаю дни и часы до воскресенья. Гвоздит жуткая мысль, что до этого еще что-нибудь может случиться...

Комиссия закончила работу во всем лагере. Значит, решение приближается...

Какое? Неужели выдача? Тогда уже не водой — кровью нашей подплывет Платтлинг, немецкий городок...

**
*

Ожидание... ожидание... ожидание...

Старичок приехал в рясе. Заходил к нам вместе с полковником К. Сказал: «Бьюсь, как рыба об лед, чтобы дело решено было в лучшую сторону. Будем надеяться, что Господь поможет нам».

Ф. Ф., увидя его, вскочил, как на пружине. — «Я знаком с ним, Володя. Что? Потом расскажу»... Пустился за обоими, когда уходили. Вернулся минут через десять, как однажды со свидания, — совсем убитый. Молчал долго. Потом поманил, и мы вышли из барака.

— Это владыка Николай. Митрополит из униатских, Папы Пия 12-го ставленник. Хлопочет за нас. Но безнадежно. Был у генерала, который председательствовал в комиссии... Под строжайшим секретом, Володя: половина нас всех обречена, попытаются спасти и укрыть старых эмигрантов, часть молодежи и тех, кто подвергался репрессиям за политику или веру. Прочим надеяться не на что».

Мне — тоже?..

Ф. Ф. спросил доверительно, что же целесообразнее всего делать?

Полковник ответил: «бежать». Сам Ф. Ф. уже давно пришел к такому выводу.

21 февраля, среда.

84 часа до приезда Таси!

Жилин сегодня необыкновенно много говорит и мешает думать. Это в первый раз я вижу его таким беспокойным: начинает и его понимать. Отозвал в сторону и шопотом сообщил, что на конец этой недели назначена выдача.

— Откуда знаете? Кто сказал?

Молчит. Потом стал перечислять признаки: вывезли от нас немцев, чтобы не путались в решительную минуту; составили «стратегический», как он выразился, план лагеря, чтобы было ясно, как окружать бараки, и проч. и проч. Еще передал парашу: позавчера прибыли в лагерь две машины, груженные палками для МР. Тысяча палок, на целый полк... Тех из наших, которые производили разгрузку и разболтали об этом, будто бы изолировали...

Потом вдруг привязался: почему так хлопочет и копаются в своих вещах Ф. Ф.? «Видать, задумал на-

винчивать отсюда?» Я, конечно, промолчал на этот вопрос...

21 февраля, четверг.

Стало еще более одиноко: Ф. Ф. нет больше в лагере. Еще целую неделю назад он посвятил меня в план побега, но взял честное слово, что буду молчать, и экстра — что не занесу разговора в дневник. Теперь это уже свершившееся. Всё организовано было с участием его знакомых с воли. Очень просто, хотя и очень остроумно. Но о подробностях умолчу, до освобождения (если оно наступит, освобождение... А если — то, чего мы так страшимся?) Живу — воскресеньем. Желания сузились в одно, горячее, как огонь: чтобы спокойно, ненарушенно протекли часы, оставшиеся до свидания с Т.

Видел всё того же содержания сон (в третий раз): меня преследуют советчики. На этот раз так: я мечусь по огромному пустырю, изрытому, как в Минске, и за мной носится танк с красной звездой. Задыхаюсь, прыгаю из траншеи в траншею, ползу, песок на зубах, а танк всё настигает меня, ловчится подмять под гусеницу. Где-то в конце пустыря, за проволокой — красный сарафанчик в цветочках и пронзительный плач...

Рассказал сон Бор. Гавр-чу. Он хмурится. Волнуется тоже, осунулся за последние дни.

Исчезновение Ф. Ф-ча произвело на всех крайне тяжелое впечатление. Жилин со мной не разговаривает.

**

Вспоминаю прощанье с П. П-чем. Последний разговор, когда вышел его проводить.

— Будьте мужественны, Володя. Не поддавайтесь панике. В окружении и — в душе, главным образом. Борите себя.

Помню, от слов ли этих, или от расставанья, охватило отчаяние. До слез. Захотелось всего себя

вывернуть, раскрыть, как на исповеди. Об одиночестве своем и прежде всего — о том, что ни на одну секунду не могу подавить в себе страх перед выдачей; что сам презираю себя за малодушие, за жалкую трусость...

Начал рассказывать, но П. П. перебил:

— Напрасные самоупреки, Володя, мальчик мой. Вы совсем не трус по природе. Во всяком случае — не больше, чем Ф. Ф. и тысячи других здешних, запролочных. Эта совершенно беспримерная в истории мира дрожь людей при мысли о возвращении на родину, тем и беспримерна, что она массовая. Все дрожат. Все подсоветские. И природа этой дрожи вполне своеобразна. Это — не только боязнь наказания. Это — рецидив того страха, которого все наглотались там. Страх, которым отравляют народ диктаторы, чтобы парализовать его волю к сопротивлению. вспомните, вы рассказывали мне, что уже ребенком дрожали вместе с матерью за отца...

В советчине дрожат все. Дрожит не только обыватель, ожидая доноса и «черного ворона». Дрожит знаменитый ученый, боясь, что не удастся научный опыт и обвинят во вредительстве. Дрожит чекист, когда вышибет недостаточно зубов и не добьется признания. Дрожит Вышинский, когда лжет на международной ассамблее, не успев предварительно благословиться по прямому проводу. Все дрожат... Вы подсоветский, Володя. Вы принесли с собой оттуда концентрат страха. В нормальных условиях концентрат этот, может быть, и выдохся бы. В этой обстановке отчаяния он разбухает, как в кипятке...

«Концентрат страха?» Так это?..

22 февраля, пятница.

Время тянется, время тянется, время тянется...

**
*

Жилин сменил сегодня гнев на милость. После обеда подошел к моей койке, зашептал у изголовья:

— Володька, ты хоть и с психом, но парень неплохой. Жалко мне тебя, дружок. Хочешь тикать со мной отсюда? Вместе?

— Как? — спрашиваю (уж очень стало интересно узнать его план, сравнить с моим).

— Ты говори: согласен или нет? А стратегия пока не подлежит оглашению. Уточняю еще.

— Согласен, но скажите, все-таки. Намекните хоть...

«Расскажи, расскажи, бродяга!»...

— А — ну вас!

**
*

Снова ходил — осматривал место. Проволоку. Нет, не знаю, как у Жилина, а мой проект — выполним, вполне выполним. Но — ждать!..

**
*

Забегал опять Саша Вьюнок. На этот раз подавленный! Вот как объясняется его прошлая таинственность: у них, в 9-ом блоке, отрыт был громадный канализационный колодец. Целая шахта значительной глубины. Образовалась группа отчаянных (Вьюнок в том числе), решили из этого колодца вывести подземный ход за проволоку.

Выхлопывали себе назначение на кухню. По ночам. Делились на смены: одна чистит картошку, другая копает. В двадцать метров отрыли туннель, но... вдруг явились немецкие мастера проверять канализацию — и все лопнуло! Шахту закопали. Однако американцам немцы ничего не сказали о подкопе. Вот молодцы!!

**
*

Я — как на угольях... Перечитал снова «Алые паруса!» Хорошо! Грин — романтик, «рыцарь крылатой мечты». Как он рисует! Вот, к примеру, кусочек: Ассоль видит корабль Грэй:

«Он выплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как

облака. Разбрасывая веселье, он плыл, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его кия. Взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы со всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле...»

Что, если бы у людей отняли право на мечту? — У меня, например, сейчас, когда только и живу ею...

Моя Ассоль сама явится ко мне... Осталось 36 час. 2.160 минут. 129.600 секунд. Когда мы дышим, мы тратим на вдох 2 секунды, на выдох, кажется, чуть меньше, — ну, пусть 4 секунды на то и другое. Вычислил, на сколько каждый вдох-выдох приближает свиданье. Так вот и дышу этими секундами...

Суббота, 23 февраля.

Нет, не суббота, потому что уже 3 часа ночи. Днем был дневальным, убирал в бараке, чистил. Потом приводил в порядок свой костюм, зашивал дыру на колене. Устал и заснул крепко, а сейчас вот проснулся и не знаю, что со мной. То ли это — волнение при мысли о скорой встрече, то ли — тревога. «Концентрат страха»?.. Все спят. Жилин храпит вниз. Жгу батарейку, подарок П. П., чтобы светлее писать...

Да, это — страх! Ощущение такое, что подстерегает что-то кошмарное. Завидую Жилину, Бор. Гавр. и другим. Ведь все ждут решения, может быть, рокового, и вот спят же себе, а я будто всеобщей, всех собранных здесь тысяч узников дрожью дрожу. Все-таки это трусость! Неумение овладеть волей!

Я читал в одной немецкой газете, что какой-то врач решил покончить самоубийством с помощью яда. И в то же время — произвести научный опыт для пользы человечеству: пронаблюдать и записать действие яда на организм до самой последней секунды, пока держит рука перо. Так

и сделал: положил перед собой бумагу, часы, поставил зеркало и проглотил яд. И вот осталась эта записка, через каждые пять минут по несколько строчек... Сначала обычным почерком, потом неразборчивее и совсем каракули. Вот воля!..

Мог бы я — так?

Говорят, это самый великий грех, самоубийство...

Лезвие... вот оно, зашито в обшлагае... Но, если придут брать — неужели так, сразу же..? Нет, конечно! Ждать! Ждать, покуда не выдадут, даже покуда не повезут уже советчики... А если разденут? Вздор, успею вытащить, нарочно едва нитками прихвачено. И — как? По горлу? Бр-р-р! Лучше у пульса. И потом — руку в карман или опустить книзу, чтобы не заметили... Чтобы не заметили, как вытекает жизнь. Выдержу?..

Заснуть немислимо. Подожду рассвета. Не знаю, почему, но мне страшны окна. В них заглядывает чернота ночи, и есть в ней что-то угрожающее...

У меня дрожат руки. Воображение это или — что? Я подошел к окну и осторожно открыл раму. Тихо... Где-то на углу шаркает часовой. А потом вдруг стало казаться, что вся эта тишина наполнена какими-то подавленными шумами... Или почудились мне эти шорохи, лязганье какое-то? Разбудить Бор. Гавр-ча? Нет это выйдет смешно...

Оделся и перебрался за стол... Постараюсь успокоиться...

Нет, я не ошибаюсь! Только что снова открывал окно. Сотни шагов! Это — не смена караулов. В лагере в о й с к а...

Боже! Святая пречистая Дева Мария! Иисусе Христе, ангелы-хранители! Помилуйте нас в этот страшный час. Простите прегрешения наши, вольные и не-

вольные. Спасите нас от жестокой гибели. Укрепите бедствующие души наши и несчастные, разбитые сердца... С верой, надеждой и любовью предаем себя воле Вашей...

Топот под окнами... По коридору... В дверь стучат прикладами... Это...

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Леонид Денисович Ржевский — это его литературный псевдоним — родился 8 августа 1905 г. в Москве. Там же окончил университет и аспирантуру, получив ученую степень кандидата филологических наук. В бытность свою в СССР Л. Ржевский беллетристикой занимался мало. Кроме нескольких мелких рассказов и пьес, не опубликовал ничего. Мешала навязанность тем и невозможность высказаться творчески. Работал преимущественно в научно-исследовательской области (русский язык).

Возможность писать Л. Ржевский получил только в эмиграции. Помимо ряда критических статей, главным образом посвященных советской литературе (в «Посеве», в «Гранях», в «Новом Журнале») написал работу «Язык и тоталитаризм» (издание Института по изучению истории и культуры СССР, Мюнхен, 1951 г.). Сейчас работает над новым романом, завершающим тему романа «Между двух звезд».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая:

ДУЛАГ ...НАДЦАТЫЙ 5

Часть вторая:

ДЕВУШКА ИЗ БУНКЕРА 161

Часть третья:

ДНЕВНИК ВОЛОДИ ЗАБОТИНА 319

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 409

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.



Цена: \$3.00

